



Рэй Брэдбери

ДАЛЕКО ЗА ПОЛНОЧЬ



**А не съесть ли мне
немного лета?**

Annotation

Полночь — это дверь, ведущая в волшебную даль. За ней могут скрываться история первой любви и украденный попугай Хемингуэя, самозародившееся знойным летом зло в людском обличье и заводной Бернард Шоу, воскресенье в Дублине и отпуск в Мексике у подножья грозного вулкана.

Авторский сборник зрелого Брэдли, на полпути от «Золотых яблок Солнца» к «Вождению вслепую».

- [Рэй БРЭДБЕРИ](#)
 - [* * *](#)
 - [Синяя бутылка](#)
 - [Однажды, в дни вечной весны](#)
 - [Попугай, который знал папу](#)
 - [Пылающий человек](#)
 - [Ржавчина](#)
 - [Мессия](#)
 - [Дж. Б. Шоу — Евангелие от Марка, глава V](#)
 - [Идеальное убийство](#)
 - [Наказание без преступления](#)
 - [Как-то пережить воскресенье](#)
 - [Выпить сразу: против безумия толп](#)
 - [Мгновение в лучах солнца](#)
 - [Рассказ о любви](#)
 - [Желание](#)
 - [О скитаньях вечных и о Земле](#)
 - [Секрет мудрости](#)
 - [Душка Адольф](#)
 - [Чудеса Джейми](#)
 - [Октябрьская игра](#)
 - [Пумперникель](#)
 - [Далеко за полночь](#)
 - [Сладкий дар](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)

- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)

- [42](#)
 - [43](#)
 - [44](#)
 - [45](#)
 - [46](#)
 - [47](#)
 - [48](#)
-

Рэй БРЭДБЕРИ ДАЛЕКО ЗА ПОЛНОЧЬ

Long After Midnight, 1976

Эта книга с любовью посвящается Уильяму Ф. Нолану — удивительному коллекционеру, фантастическому исследователю, дорогому другу. [\[1\]](#)

* * *

1. The Blue Bottle / Синяя бутылка
2. One Timeless Spring / Однажды, в дни вечной весны
3. The Parrot Who Met Papa / Попугай, который знал Папу
4. The Burning Man / Пылающий человек
5. A Piece of Wood / Ржавчина
6. The Messiah / Мессия
7. G.B.S.-Mark V / Дж. Б. Шоу — Евангелие от Марка, глава V
8. The Utterly Perfect Murder / Идеальное убийство
9. Punishment Without Crime / Наказание без преступления
10. Getting Through Sunday Somehow / Как-то пережить воскресенье
11. Drink Entire: Against the Madness of Crowds / Выпить сразу: против безумия толп
12. Interval in Sunlight / Мгновение в лучах солнца
13. A Story of Love / Рассказ о любви
14. The Wish / Желание
15. Forever and the Earth / О скитаньях вечных и о Земле
16. The Better Part of Wisdom / Секрет мудрости
17. Darling Adolf / Душка Адольф
18. The Miracles of Jamie / Чудеса Джейми
19. The October Game / Октябрьская Игра
20. The Pumpnickel / Пумперникель
21. Long After Midnight / Далеко за полночь
22. Have I Got a Chocolate Bar For You! / Сладкий дар

Синяя бутылка

The Blue Bottle 1950 год

Переводчики: Н. Григорьева, В. Грушецкий

От каменных солнечных часов осталось лишь мелкое белое крошево. Птицы покинули поднебесье и навеки смолкли, распластав крылья среди скал и песка. По дну мертвых морей перекатывались волны пыли. Стоило ветру уговорить их снова сыграть древнюю мистерию потопа, как они вздымали сухие валы и серые пыльные потоки заливали все окрест.

Города замерли в немоте уснувшего времени, стихли фонтаны, не плескалась вода в озерах... Только тишина и древняя память.

Марс был мертв.

Потом на границах огромного безмолвия в невообразимой дали родился звук — словно бы еле слышно стрекотало какое-то насекомое. Звук приближался, нависал над красноватыми холмами, противно зудел в пронизанном солнцем воздухе. Дрогнуло древнее шоссе, шевельнулась и пошла перешептываться пыль в давным-давно заброшенных городах.

Звук замер.

В сияющей полуденной тишине Альберт Бек и Леонард Крейг сидели в латаном-перелатаном стареньком вездеходе и разглядывали мертвый город. Город с трудом выдержал человеческий взгляд и будто сжался, ожидая крика.

— Привет!

Хрустальная башня вздрогнула и осыпалась мягким шелестящим дождем мелких обломков.

— Эй, вы там!

Еще одна... Потом башни начали рассыпаться одна за другой. Голос Бека приказывал им умирать.

Каменные химеры с огромными гранитными крыльями ныряли вниз. Короткий полет заканчивался неизменным тяжким ударом о плиты дворигов и края фонтанов. Голос приказывал им, словно цирковым животным, и они с протяжными стонами отрывались от каменных фронтонов, наклонялись, заглядывали в пустоту, вздрагивали, сопротивляясь, и рушились вниз с разинутыми пастьями, выпученными каменными глазами, оскаленными клыками. Осколки разлетались вокруг,

как шрапнель по черепице.

— Э-ге-гей!

Бек подождал. Катастрофический распад прекратился. Ни одна башня больше не упала.

— Теперь можно идти.

Крейг даже не пошевелился.

— Все за тем же?

Бек кивнул.

— Не понимаю. Ради какой-то проклятой бутылки! Зачем она вам всем так понадобилась?

Бек выбрался из машины.

— Те, кто держал ее в руках, не очень-то охотно делились впечатлениями. Известно только, что это древняя вещь. Такая же древняя, как пустыня, как здешние мертвые моря... Все предания говорят: в ней что-то есть. А человек — существо любопытное и алчное.

— Не обобщай. Ко мне это не относится, — отозвался Крейг. Его губы едва шевелились; глаза оставались полуприкрыты. Он лениво потянулся. — Я здесь просто за компанию. Все-таки лучше смотреть, как ты суетишься, чем сидеть без дела в этом пекле.

Старый вездеход Бек раскопал с месяц назад — еще до того, как Крейг вызвался сопровождать его, — среди мусора, оставшегося со времен Первого промышленного вторжения на Марс. Продолжалось оно недолго, поскольку человечество двинулось дальше, к звездам. Бек привел вездеход в порядок и с тех пор мотался на нем от одного древнего города к другому, через земли бездельников и фермеров, мечтателей и лентяев, людей, отвергнутых космосом, и тех, кто, подобно ему и Крейгу, не любил напрягаться и в конце концов обнаружил, что Марс — самое подходящее для них место.

— Пять, а может, и десять тысяч лет назад марсиане создали Синюю Бутылку, — сказал Бек. — Взяли и выдули из марсианского стекла. А потом ее теряли и находили, и опять теряли и снова находили...

Он говорил, не отрывая взгляда от колышущегося жаркого марева над мертвым городом. «Всю мою жизнь, — думал Бек, — я занимался ничем, заполнял себя пустотой. Другие, лучше меня, делали большие дела: летали к Меркурию, или к Венере, или еще дальше — за пределы Солнечной системы. Другие — не я. Все, кроме меня. Но Синяя Бутылка может разом все изменить».

Он повернулся и зашагал прочь от остывающего вездехода.

Крейг легко перемахнул через борт и небрежным шагом последовал за

ним.

— И чего ты достиг за десять лет охоты? Ты мечешься во сне, просыпаешься в испарине, носишься по планете, высунув язык. Так стремишься заполучить эту проклятую бутылку, даже не зная, что в ней? Ты дурак, Бек.

— Эй, полегче на поворотах, — проворчал Бек, сшибая камешек с дороги.

Бок о бок они вошли в разрушенный город и теперь шагали по мозаичным плитам, складывавшимся в каменный гобелен. Под ногами людей разворачивалась история сгинувших марсиан, мелькали образы диковинных животных, ветер то раздергивал пыльную кисею, то вновь накидывал ее на сцены и лики былого.

— погоди, — сказал Бек. Он сложил ладони рупором и во всю мочь крикнул: — Эй, там!

— Там-м-м, — отозвалось эхо, и снова посыпались башни. Фонтаны и каменные колонны неторопливо складывались, словно уходили в себя. С этими городами всегда так. Иногда башни, прекрасные, как симфония, могут рухнуть от единого слова. Как будто кантата Баха рассыпается на звуки прямо перед тобой.

Мгновение спустя пыль осела. Только две конструкции остались стоять.

Бек кивнул приятелю, и они двинулись на поиски.

Крейг озирался по сторонам, и на губах его играла легкая улыбка.

— Слушай, вдруг в этой бутылке сидит маленькая женщина, — сказал он, — знаешь, такая, вроде японского цветка, который раскрывается, когда его опускаешь в воду?

— Мне не нужна женщина.

— Может, и нужна. Наверное, у тебя никогда не было настоящей женщины, которая любила бы тебя по-настоящему, вот ты и надеешься отыскать ее в бутылке. — Крейг пожевал губами. — А может, там что-нибудь из твоего детства? Озеро, дерево, на которое ты любил забираться, краб какой-нибудь... и все это свернуто в такой крошечный узелок... Как звучит?

Бек смотрел вдаль.

— Иногда и мне так кажется. Что-то из прошлого... Земля. Я не знаю.

Крейг кивнул:

— Вполне возможно, что в бутылке каждый находит что-то свое. А вдруг там найдется глоток хорошего виски?

— Лучше смотри-ка повнимательнее вокруг, — посоветовал Бек.

Перед ними было семь комнат, заполненных блеском и сиянием; от пола до потолка стояли амфоры, кувшины, бутылки, урны, вазы красного, розового, желтого, фиолетового, черного стекла. Бек методично разбил все, чтобы раз и навсегда расчистить себе путь и никогда больше не разгребать эти завалы.

Покончив с одной комнатой, он собрался перейти в следующую, но остановился, не дойдя до порога. Он просто боялся идти. Боялся, что на этот раз найдет; что поиск его завершится, а жизнь снова утратит смысл. Десять лет назад, на пути от Венеры к Юпитеру, он впервые услышал о Синей Бутылке от восторженного коммивояжера и почувствовал, что обретает цель. Лихорадка поиска захватила его и с тех пор не отпускала. Если обращаться с ее внутренним жаром осторожно, то желания отыскать Синюю Бутылку может хватить надолго, до самого краешка жизни. Ну хотя бы еще лет на тридцать — конечно, если не очень усердствовать в поисках и не признаваться самому себе, что дело вовсе не в бутылке, не в том, чтобы найти ее, а в азарте поиска, охотничьей страсти, когда не знаешь к тому же, что за трофеем поджидает тебя.

Какой-то посторонний звук заставил Бека подойти к окну и выглянуть во двор. По улице к дому почти бесшумно подкатил маленький песчаный мотоцикл. Белокурый толстяк легко соскочил с мягкого сиденья и теперь озирался по сторонам.

Еще один искатель. Бек вздохнул. Их тут тысячи рыщут повсюду. Но беззащитных городков и деревушек на Марсе тоже не одна тысяча. Сотни лет не хватит, чтобы просеять их все.

— Как дела? — В дверном проеме появился Крейг.

— Да вот, не повезло... — начал было Бек, но замолчал и принялся. — Откуда этот запах?

— Какой? — Крейг огляделся.

— Пахнет словно... хорошим бурбоном.

— Так это от меня! — засмеялся Крейг.

— От тебя?

— Я только что принял. Нашел в соседней комнате. Разгребал всякий хлам, перерыл кучу бутылок, ну, знаешь, как везде, а в одной из них обнаружился бурбон.

Бек смотрел на приятеля и чувствовал, как его начинает колотить нервная дрожь.

— Откуда, черт возьми, взялся бурбону здесь, в марсианской бутылке? — Ладони у него стали влажными и похолодели. Он медленно

двинулся вперед. — Где она?

— Да я уверен...

— Проклятье! Покажи мне ее!

Он стоял в углу комнаты — небольшой сосуд из марсианского стекла, синего, как небо; легкий, почти невесомый. Бек осторожно поднял его и перенес на стол.

— Там еще половина осталась, — сказал Крейг.

— Я ничего не вижу внутри, — возразил Бек.

— Ты потряси.

Бек поднял фиал, осторожно встряхнул.

— Слышишь, плещется?

— Нет.

— А я так отчетливо слышу.

Бек снова поставил бутылку на стол. Через окна падал солнечный свет, и под его лучами на стенках изящного сосуда вспыхивали синие огоньки. Так мог бы сиять драгоценный камень на ладони. Так голубеет океанский залив под полуденным солнцем. Так сверкает капля росы поутру.

— Это она, — произнес Бек тихо. — Я знаю, что это она. Нам нечего больше искать. Мы нашли Синюю Бутылку.

Крейг явно не верил.

— Так ты ничего в ней не видишь?

— Ничего... Если только... — Бек нагнулся и заглянул в синюю стеклянную вселенную. — Если только я не открою ее и не выпущу на свободу, что бы там в ней ни было; тогда, может быть, увижу.

— Я закупорил ее как следует, — немного виноватым тоном сказал Крейг.

— Надеюсь, джентльмены простят меня, — раздался голос сзади.

Белокурый толстяк с винтовкой вошел в комнату. Он не смотрел на лица двоих людей, он смотрел только на голубую стеклянную посудину. И улыбался.

— Терпеть не могу таскать с собой винтовку, пожаловался он, — но вот приходится. Полагаю, вы не будете возражать, если я возьму эту штуку?

Бек был почти доволен. В происходящем явно чувствовалась определенная красота согласованности; он любил подобные повороты сюжета — сокровище уводят прямо из-под носа, прежде чем им успели хотя бы полюбоваться. Открывались неплохие перспективы погони, борьбы, череды удач и потерь, и все это обещало по крайней мере еще

четыре-пять лет новых поисков.

— Ну давайте же, — поторопил незнакомец. — Тащите ее сюда.

Он угрожающе шевельнул стволом винтовки. Бек протянул ему бутылку.

— Ну и ну, — покачал головой толстяк. — Даже не верится, что все так просто. Вошел, послушал чужой разговор — и вот уже Синюю Бутылку вручают тебе прямо в руки! Поразительно!

Он вышел из комнаты на залитую солнцем улицу и зашагал к мотоциклу, все еще качая головой и посмеиваясь.

Полночные города в свете двух холодных марсианских лун казались вырезанными из кости. Подскакивая и дребезжа, вездеход полз по разбитому шоссе мимо поселений с фонтанами, припорошенными вездесущей пылью и пылью с крыльев бесчисленных насекомых, мимо ажурных зданий, набитых странной утварью, уставленных звенящими металлом книгами, завешанных причудливыми картинами. Древние города давно утратили свое первоначальное назначение; теперь они стали скопищем бесполезных вещей; время обратило их мостовые в прах, и хмельные ветры, играя, перебрасывали его из долины в долину, словно пересыпали песок в гигантских песочных часах, бесконечно создавая одну пирамиду и разрушая другую. Безмолвие неохотно распахивалось на миг, пропускало вездеход и тут же смыкалось снова.

— Мы никогда не найдем его, — вздохнул Крейг. Проклятые дороги! Столько времени прошло — не мудрено, что от них остались одни ухабы да рытвины. На мотоцикле здесь куда сподручнее: по крайней мере, ямы можно объезжать. Черт!

Они круто свернули, срезая изгиб шоссе. Вездеход, словно гигантский ластик, стирал с дороги вековые напластования пыли и открывал изумруды и золото древних марсианских мозаик.

— Стоп! — сам себе скомандовал Бек и сбросил скорость. — Там что-то есть.

— Где?

Они вернулись назад на сотню ярдов.

— Вот. Смотри. Это же он.

В кювете под собственным мотоциклом лежал давешний толстяк. Глаза у него были широко открыты, и, когда Бек посветил фонариком, они невидяще блеснули.

— Где бутылка? — спросил Крейг.

Бек спустился в кювет и забрал винтовку.

— Не знаю. Исчезла.

— От чего он умер?

— Этого я тоже не знаю.

— Мотоцикл вроде в порядке. Не похоже на аварию.

Бек перевернул тело.

— Ран нет. Такое впечатление, словно он вдруг... выключился сам по себе.

— Наверное, сердечный приступ, — пожал плечами Крейг. — Заполучил бутылку и слишком возбудился. Съехал с дороги передохнуть. Надеялся, что обойдется, а сердце не справилось.

— Как-то не вяжется это с Синей Бутылкой.

— Там кто-то есть, — перебил Крейг. — Господи, сколько же здесь этих искателей...

Они всмотрелись в окружающую тьму. Далеко на синих холмах в звездной черноте смутно угадывалось движение.

— Трое. Пешком идут, — уверенно сказал Бек.

— Они, должно быть...

— Боже, ты посмотри!

С телом происходило нечто невероятное. Фигура толстяка словно плавилась у них на глазах. Лицо исчезало. Волосы засветились, как перекалившаяся вольфрамовая нить, и с шипением рассыпались. Пальцы рук вспыхнули и растаяли в пламени. Потом словно гигантский молот обрушился на стеклянную статую: тело взорвалось розовыми сполохами, превратилось в облачко дыма, и ночной ветер мгновенно развеял его над дорогой.

— Они, наверно, что-то с ним сделали, — хрипло произнес Крейг. — Это какое-то новое оружие.

— Так и раньше бывало с теми, кому удавалось найти бутылку, — сказал Бек. — Они исчезали. А бутылка переходила к другим, и те тоже исчезали. Он покачал головой. — Надо же! Взял и словно рассыпался на миллион светлячков...

— Ты поедешь за ними?

Бек вернулся к вездеходу, постоял, вслушиваясь в тишину ночных курганов, хранящих истлевшие кости, и, обращаясь к пустыне, убежденно сказал:

— Работенка та еще, но, думаю, пробьемся. Теперь я просто должен до нее добраться. — Он помолчал и снова заговорил, уже совсем тихо: — По моему, я знаю, что там, в Синей Бутылке... Наконец-то я понял. В ней то, чего я больше всего хочу. Оно ждет меня.

— Я с тобой не поеду, — заявил Крейг, подходя к машине. Бек сидел за рулем, положив руки на колени. — Не стану я гоняться за теми тремя. Я хочу просто жить, Бек. Эта бутылка для меня ничего не значит. Я не собираюсь рисковать из-за нее собственной шкурой. Но позволь пожелать тебе удачи.

— Благодарю, — сказал Бек и повел машину в дюны.

Ночь, словно холодная вода, струилась за бортом машины. Вездеход трясся по руслу древней реки, с трудом прокладывая путь между нависшими берегами. Двойные ленты лунного света окрашивали барельефы богов и животных, высеченные на скалах, в золотисто-желтые тона. На фасаде высотой с милю разворачивалась марсианская история, запечатленная в нечеловеческих лицах с широко распахнутыми пустыми глазами и зияющими провалами ртов, похожих на пещеры.

Надсадный рев мотора отгонял прочь ночные видения. Вызолоченные лунами фрагменты древних скульптур выплывали из тьмы и снова исчезали в сонной студеной глубине.

Бек думал о прошлом: обо всех ночах за прошедшие десять лет, когда он разжигал красные костры на дне древних морей и готовил простую походную пищу. И мечтал. В мечтах он всегда стремился и никогда не знал — к чему. Так было с самой ранней юности — со времен тяжелой жизни на Земле, с поры великих потрясений 2130-х, ознаменованных голодом, хаосом, бунтами, метаниями. Потом — скитания в космосе, разные планеты, одинокие годы без любви и ласки... Человек выходит из тьмы на свет, из материнского лона в мир, и как понять, чего он действительно хочет?

К чему мог стремиться тот мертвец в кювете? Может, он всегда хотел чего-то сверх? Чего-то такого, чего у него никогда не было?.. А что вообще есть у людей? Вот у него? Да почему только у него — у кого угодно? Есть ли вообще что-нибудь такое, чего стоило бы искать?

Синяя Бутылка.

Бек мгновенно затормозил, выскочил из машины и снял винтовку с предохранителя. Пригнувшись, побежал к дюнам. Недалеко на холодном песке лежали трое: земляне с задубевшими от ветра и загара лицами, в потрепанной одежде, с узловатыми большими руками. Звездный свет вспыхивал на боках Синей Бутылки, валявшейся в двух шагах от мертвецов.

На глазах у Бека тела начали таять. Трое людей исчезли, превратились в пар, в бисеринки росы. Еще мгновение — и не осталось ничего. Бек

замер и похолодел, когда почти невесомые частички праха коснулись его щек, губ...

Толстяк. Умер и исчез. Голос Крейга: «Какое-то новое оружие...»

Нет. Не оружие.

Синяя Бутылка.

Они открыли ее, стремясь обрести то, чего жаждали больше всего на свете. Все эти несчастные и страждущие на протяжении долгих одиноких лет открывали ее и находили то, чего не могли обрести на всех планетах во Вселенной. И все получили желаемое, так же как эти трое. Теперь понятно, почему бутылка так быстро переходила из рук в руки, от одного к другому, и люди, находившие ее, исчезали бесследно. Кто они, как не плевелы, отделенные от злаков, выброшенные на берега мертвых морей, вспыхнувшие легким пламенем, разлетевшиеся искорками светлячков, истаявшие облачками тумана?

«Вот оно, то, что я искал так долго», — думал Бек. Он повертел бутылку, и синие огни заиграли в лунном свете.

Так вот чего хотят в глубине души все люди? Вот оно, тайное желание, скрытое так глубоко, что мы и не догадываемся о нем? Подсознательное побуждение? Так вот искупление, о котором догадывается и к которому стремится каждый грешник?

Смерть.

Конец сомнениям, пытке, монотонности жизни, стремлениям, одиночеству, страхам — конец всему.

И что же, это относится ко всем?

Нет, не получается. Крейг, пожалуй, удачливее. Похоже, некоторым все-таки удастся жить в мире с собой, как животным. Они же не задают вопросов; они пьют из луж, когда испытывают жажду, плодятся и растят детенышей и ни на миг не усомнятся, что жизнь — благо. Таков Крейг. И еще горстка ему подобных. Счастливые животные в огромной резервации, в руке Господней. Они остаются безмятежными, живя среди миллиардов невротиков. Наверное, они тоже захотят смерти — потом, когда придет время. Не сейчас. Потом.

Бек открыл бутылку. «Как просто, — подумал он, — и как истинно. Оказывается, именно этого я всегда и хотел, этого и ничего больше. Ничего».

Открытая бутылка в свете звезд казалась голубой. Бек поднес бутылку к губам и полной грудью вдохнул наполнявший ее воздух.

«Наконец-то», — подумал он.

И расслабился. Он чувствовал, как его тело становится удивительно

прохладным и теплым одновременно. Он знал, что плавно падает сквозь звезды во тьму, радостную, как вино. Он плавал в белом вине, синем вине, красном вине. Свечи горели у него на груди, величественные огненные колеса медленно вращались где-то глубоко внутри. Вот руки покинули тело. Он с восторгом чувствовал, как уплывают ноги. Он смеялся. Он закрыл глаза и смеялся.

Впервые в жизни он был так счастлив.

Синяя Бутылка упала на холодный песок.

На рассвете Крейг, насвистывая, шел по дюнам. В первых розоватых лучах на чистом белом песке блеснула бутылка синего марсианского стекла. Он поднял ее, и воздух вокруг взорвался едва слышным яростным шепотом. Оранжевые, красные, пурпурные светлячки мелькнули в воздухе и унеслись прочь.

Стало очень тихо.

— Черт меня побери! — Крейг посмотрел на мертвые здания близкого города. — Эй, Бек!

Изящная башня рассыпалась в прах.

— Бек, твоё сокровище! Мне оно не нужно. Иди и возьми ее!

— ...возьми-ии, — отозвалось эхо, и рухнула еще одна башня.

Крейг ждал.

Вот он, заветный клад. Бутылочка — тут как тут, а Бека не видеть и не слышать.

Он встряхнул синий сосуд. Внутри отчетливо булькнуло.

— Да, сэр! Точь-в-точь как тогда. Ей-богу, не меньше пинты бурбона!

Крейг открыл бутылку, сделал несколько хороших глотков и отер губы, без всякого почтения сунув синюю склянку под мышку.

— Столько суеты из-за пинты виски... Пожалуй, подожду Бека и отдам ему его разлюбезную посудину. Ну а пока, чтобы ждать не скучно было, не хотите ли еще глоточек, мистер Крейг? Вот и прекрасно. На здоровье!

В мертвой тишине далеко разносился единственный звук — мелодичное бульканье, с которым жидкость обычно переливается из одного сосуда в другой. Синяя Бутылка вспыхивала на солнце.

Крейг счастливо засмеялся, с шумом перевел дух и снова припал к бутылке.

Однажды, в дни вечной весны

One Timeless Spring 1946 год

Переводчик: О.Акимова

В те дни, много-много лет назад, я думал, что мои мама и папа хотят меня отравить. И даже теперь, двадцать лет спустя, я не уверен в обратном. Кто его знает.

Все это припомнилось мне по той простой причине, что я рылся в сундуке, стоящем на чердаке. Сегодня утром я отомкнул медные застёжки, поднял крышку, и старинный запах нафталина окутал теннисные ракетки без струн, поношенные кеды, сломанные игрушки, ржавые роликовые коньки. Когда я глазами повзрослевшего человека увидел все эти игровые принадлежности, мне почудилось, будто всего какой-нибудь час назад я ворвался в дом с тенистых улиц, весь взмыленный, с криком «Тай-тай, налетай!», не успевшим замереть на моих устах.

В те времена я был странноватым и смешным парнишкой, у которого в голове постоянно бродили необычные идеи; мысли об отравлении и страх были всего лишь частью моего тогдашнего бытия. Мне было только двенадцать, когда я начал делать записи в пятицентовом линованном блокнотике. И даже сейчас, этими вечными весенними рассветами, когда я пишу эти строки, я ощущаю в своих пальцах тот огрызок карандаша.

На мгновение я перестал писать, в задумчивости мусоля карандаш. Я сидел на рассвете бесконечного ясного дня в своей комнате наверху, босоногий, с коротко остриженными «ежином» волосами, в задумчивости разглядывая обои в розочках.

«До этой недели я не знал, что болен, — написал я. — Я болен уже давно. С тех пор, как мне исполнилось десять. Сейчас мне двенадцать».

Я морщился, нещадно кусая губы и близоруко всматриваясь в блокнот. «Мама и папа сделали меня больным. Учителя в школе тоже приложили руку к этой... — Я помедлил. Затем написал: — ...моей болезни! Единственные, кого я не боюсь, это другие дети. Изабель Скелтон, Уиллард Бауэрс и Кларисса Меллин; они еще не совсем больны. Но вот я по-настоящему безнадежен...»

Я отложил карандаш. Подошел к зеркалу в ванной, чтобы посмотреть на себя. Мать крикнула мне снизу, чтобы я шел завтракать. Я прижался к

зеркалу, часто-часто дыша, так что на стекле осталось большое туманное пятно. Я увидел, как мое лицо... изменяется.

Его форма. Даже глаза. Поры на носу. Мои уши. Лоб. Волосы. Все, что так долго было мной, начало превращаться во что-то другое. («Дуглас, иди завтракать, в школу опоздаешь!») Пока я наспех принимал душ, я видел под собой свое уплывающее тело. Я был внутри него. Никуда не денешься. В то время как оно выделявало что хотело, а его перемещали и перемешивали!

Тогда я принялся напевать и громко насвистывать, чтобы не думать об этом, пока отец, барабанив в дверь, не приказал мне замолкнуть и идти есть.

Я сел завтракать. На столе были желтая коробочка с хлопьями, прохладно-белое молоко в кувшине, сверкающие ложки и ножи, яичница с беконом на деревянном блюде; папа читал газету, мама крутилась на кухне. Я вдохнул запахи. И почувствовал, как у меня жалобно заныло в желудке.

— Что случилось, сынок? — мельком взглянул на меня папа. — Ты не голоден?

— Нет, сэр.

— По утрам парень должен быть голодным, — сказал отец.

— А ну-ка давай ешь, — сказала мне мать. — Давай-давай, поживее.

Я посмотрел на яичницу. Яд. Взглянул на масло. Яд. И молоко в кувшине — такое белое, жирное и ядовитое, а хлопья в зеленой миске с розовыми цветочками — такие поджаристые, хрустящие и аппетитные.

Яд, все это яд! Мысли бегали в моей голове, как муравьи на пикнике. Я закусил губу.

— М-м-м-м? — произнес папа, удивленно глядя на меня. — Что ты сказал?

— Ничего, — ответил я. — Только то, что я не голоден.

Я не мог сказать им, что болен и что это еда делает меня больным. Как я мог сказать, что именно печенья, кексы, каши, супы и овощи сделали со мной *это*? Не мог, и мне оставалось сидеть, глотая пустую слюну, слушая, как мое сердце начинает колотиться.

— Ладно, выпей хотя бы молока и иди, — сдалась мать. — Пап, выдай-ка ему деньги на обед в школе. Апельсиновый сок, мясное и молоко. Никаких конфет.

Насчет конфет могла бы и не предупреждать. Они — самый злейший из адов. Никогда в жизни я к ним больше не притронусь!

Я перевязал книги ремнем и направился к двери.

— Дуглас, ты забыл поцеловать меня, — сказала мама.

— Ах да, — вспомнил я и нехотя чмокнул ее.

— Что это с тобой? — спросила она.

— Ничего, — ответил я. — Счастливо. Пока, пап.

Все попрощались. И я, погруженный в глубокую-глубокую — словно крик, теряющийся в глубине холодного колодца, — задумчивость, пошел в школу.

Я сбежал вниз по склону лощины и, раскачавшись на виноградной лозе, полетел прочь; земля убегала из-под ног, я вдохнул прохладный утренний воздух, душистый и звенящий, и громко расхохотался, и ветер унес мои мысли. Оттолкнувшись от высокого берега, я перекувырнулся через голову и покатился вниз, а вокруг меня щебетали птицы, и белочка, словно рыжая пушинка, подхваченная ветром, прыгала по стволу дерева. Вниз по тропинке небольшой лавиной скатывалась остальная кричащая детвора. «Ааааа-иииии-йййееее!» Гроыхая ранцами, перепрыгивая с камня на камень, они проворно опускали руки в воду, пытаясь поймать речных раков. Раки бросались врассыпную, поднимая мельчайшие брызги. А мы все хохотали и веселились.

Над нами по зеленому деревянному мосту прошла девочка. Звали ее Кларисса Меллин. Мы дружно заулюлюкали ей вслед; иди-иди, сказали ей мы, нам не хотелось принимать ее в свою компанию, иди-иди! Но тут мой голос сорвался и замолк, я тихо смотрел ей вслед. И не мог оторвать глаз.

Издалека в утреннем воздухе до нас донесся школьный звонок.

Мы двинулись по летним тропинкам, проложенным нами за многие годы. Трава здесь была вытоптана; здесь мы знали каждую ямку, каждый бугорок, каждое деревце, каждую виноградную лозу, каждый кустик. Здесь, высоко над сверкающей речкой, после уроков мы строили хижинки на деревьях и прыгали голышом в воду, спускались далеко вниз по склону лощины, куда одиноко сбегала река, чтобы раствориться в голубых просторах озера Мичиган, среди каменоломен, сырмятен и доков.

И вот когда мы, запыхавшись, неслись к школе, я остановился, снова охваченный страхом. «Ну же, вперед», — сказал я себе.

Прозвенел последний звонок. Дети убежали. Я взглянул на поросшие вьюнком школьные стены. Услышал непрерывное звонкое жужжание голосов внутри. Услышал позвякивание маленьких учительских колокольчиков и резкие голоса учителей.

Яд, думал я. И учителя тоже! Они хотят, чтобы я стал больным! Они учат, как болеть все тяжелее и тяжелее! И еще... и еще, как *радоваться* своей болезни!

— Доброе утро, Дуглас.

Я услышал стук высоких каблуков по цементной дорожке. За моей

спиной стояла мисс Адамс, директриса, в своем пенсне на широком, бледном лице под коротко стриженными темными волосами.

— Входи скорее, — сказала она, крепко схватив меня за плечо. — Ты опоздал. Поторопись.

И она повела меня — раз-два, раз-два, раз-два — по ступеням наверх, вверх по лестнице навстречу моей гибели...

Мистер Джордан был тучный, лысеющий, зеленоглазый человек с серьезным взглядом, имевший привычку слегка покачиваться на пятках перед своими схемами и чертежами. Сегодня он вывесил большой рисунок человеческого тела с полностью содранной кожей. На рисунке были видны зеленые, синие, розовые и желтые вены, капилляры, мускулы, сухожилия, внутренние органы, легкие, кости и жировые ткани.

Мистер Джордан раскачивался перед этой схемой.

— Между нормальной репродукцией клетки и раковой существует огромное сходство. Рак — это просто нормальная функция, вышедшая из-под контроля. Перепроизводство клеточного материала...

Я поднял руку.

— А как еда... то есть... что заставляет тело расти?

— Хороший вопрос, Дуглас. — Он постучал по рисунку. — Еда, попадающая внутрь тела, расщепляется, ассимилируется и...

Я слушал, зная, что именно мистер Джордан пытается со мной сделать. Мое детство было в моем мозгу, словно отпечаток ископаемого животного на застывшей мягкой глине. А мистер Джордан пытался его сровнять, стереть. В конце концов все мои надежды и грезы, все это должно было исчезнуть. Моя мать изменяла мое тело с помощью еды, мистер Джордан воздействовал на мой мозг с помощью слов.

Тогда я перестал слушать и начал рисовать что-то на бумаге. Я напевал про себя песенки, выдумывал собственный, никому другому не понятный язык. Весь остаток дня я ничего не слышал. Я сопротивлялся атаке, это было мое противоядие.

Но после уроков я все-таки забежал в лавку миссис Сингер и купил конфету. Не смог удержаться. Съев ее, я написал на обратной стороне обертки: "Это последняя конфета, которую я съел. Больше никогда, даже на субботнем утреннике, когда на экране появятся Том Микс и Тони^[2], я не буду есть конфеты".

Я взглянул на конфеты, которые грудями лежали на полках. Оранжевые обертки с голубыми буквами и надписью «Шоколад». Желто-фиолетовые с мелкими синими надписями. Я ощутил, как конфета внутри меня заставляет расти мои клетки. Каждый день миссис Сингер продает

сотни конфет. Она что, тоже в заговоре? Известно ли ей, что она делает с детьми при помощи этих конфет? Может, она завидует, что они такие юные? Может, она хочет, чтобы они постарели? Я готов был убить ее!

— Что ты делаешь?

Пока я писал на обороте конфетной бумажки, сзади ко мне подошел Билл Арно. С ним была Кларисса Меллин. Она посмотрела на меня своими голубыми глазами и ничего не сказала.

Я спрятал бумажку.

— Ничего, — сказал я.

Мы зашагали вместе. Когда мы увидели детей, играющих в классики, пинающих консервную банку и гоняющих шарики на утоптанной земле, я повернулся к Биллу и сказал:

— В следующем году или годом позже мы уже не сможем все это делать.

Билл только засмеялся и ответил:

— Ну конечно же сможем. Кто нам запретит?

— Они, — произнес я.

— Кто это они? — удивился Билл.

— Не важно, — сказал я. — Подожди и увидишь.

— Ой, — отмахнулся Билл. — Ну ты чудной.

— Да ты не понимаешь! — закричал я. — Вот ты играешь, бегаешь, ешь, и все это время они водят тебя за нос, а сами заставляют тебя думать иначе, вести себя иначе, ходить иначе. И в один прекрасный день ты перестанешь играть и у тебя будет ворох забот!

На лице у меня проступил горячий румянец, кулаки сжались. Я был бледен от гнева. Билл со смехом отвернулся и пошел прочь. «Кто поймает — молодец!», — пропел кто-то, зашвыривая мяч через крышу дома.

Можно продержаться весь день без завтрака и обеда, а как насчет ужина? Когда за ужином я опустился на свой стул, мой желудок громко заурчал. Я вцепился в колени, глядя только на них. Не буду есть, говорил я себе. Я им покажу. Я буду бороться.

Папа прикинулся тактичным.

— Пусть остается без ужина, — сказал он матери, увидев мое пренебрежение к еде. И, подмигнув, добавил: — Потом поест.

Весь вечер я играл на теплых кирпичных улицах нашего городишки, с грохотом пиная консервные банки и лазая по деревьям в сгущающихся сумерках.

Когда в десять я пришел на кухню, я понял, что все напрасно. На

дверце холодильника висела записка: «Угощайся. Папа».

Я открыл холодильник, и на меня дохнуло легким холодом, смешанным с запахом замороженной еды. Внутри оказались остатки аппетитнейшего цыпленка. Корешки сельдерея были уложены, словно вязанки дров. В зарослях петрушки спела клубника.

Руки мои замелькали. Они двигались так быстро, что мне казалось, будто их у меня целая дюжина. Как на изображениях восточных богинь, которым поклоняются в храмах. В одной руке помидор. Другая хватает банан. Третья тянется к клубнике! Четвертая, пятая, шестая руки, застигнутые на полпути, держали — каждая, — кто кусок сыра, кто оливку, кто редис!

Полчаса спустя я сел на колени перед унитазом и быстро поднял сиденье. Затем без промедления открыл рот и засунул ложку далеко-далеко вглубь, запихивая ее все дальше и дальше внутрь судорожно давящейся глотки...

Лежа в постели, я содрогался, ощущая во рту остатки кисловатого привкуса и радуясь, что все же избавился от еды, которую так бездумно проглотил. Я ненавидел самого себя за эту слабость. Я лежал — дрожащий, опустошенный, снова голодный, но теперь уже слишком больной, чтобы есть...

Утром я был очень слаб и явно бледен, так что мать даже заметила по этому поводу:

— Если к понедельнику тебе не станет лучше, — сказала она, — пойдем к доктору!

Была суббота. День, когда можно кричать во всю глотку и никаких тебе серебряных учительских колокольчиков, которые могли бы прервать этот крик; день, когда во мраке длинного зала кинотеатра «Элит» на бледном экране двигались гигантские бесцветные тени, а дети были просто детьми, а не растущими организмами.

Я увидел, что никого нет. Утром, вместо того чтобы пойти слоняться вдоль Северной прибрежной линии железной дороги, где горячее солнце бурлило на длинных металлических параллелях, я проторчал дома, пребывая в ужасной нерешительности. И к тому времени, когда я все-таки добрался до лоцины, был уже почти вечер и здесь никого не было; все ребята побежали в город смотреть кино и сосать лимонные леденцы.

В лоцине было так одиноко, она казалась такой нехоженой, такой древней и заросшей, что мне стало не по себе. Никогда не видел, чтобы здесь было так тихо. Виноградные лианы спокойно свисали с деревьев,

ручей скакал по камешкам, и птицы щебетали в вышине.

Я пошел по секретной тропе, прячась за кустами, то останавливаясь, то продолжая свой путь.

Кларисса Меллин шла по мосту как раз в тот момент, когда подошел я. Она возвращалась домой из города, неся под мышкой какие-то маленькие свертки. Мы смущенно поздоровались друг с другом.

— Что ты сейчас делаешь? — спросила она.

— Так, гуляю, — сказал я.

— Совсем один?

— Да-а-а. Остальные парни в городе.

Она помедлила в нерешительности, а затем спросила:

— Можно мне с тобой погулять?

— Думаю, да, — ответил я. — Пошли.

И мы пошли через лощину. Она гудела, как огромная динамо-машина. Казалось, все в ней замерло на месте, вокруг стояла тишина. Летали стрекозы, то проваливаясь в воздушные ямы, то паря над сверкающими водами ручья.

Когда мы шли по тропе, рука Клариссы столкнулась с моей. Я вдыхал влажный запах лощины и приятный, незнакомый запах Клариссы рядом со мной.

Мы пришли к тому месту, где тропы пересекались.

— В прошлом году мы построили хижину вон там, на дереве, — сказал я, указывая наверх.

— Где? — Кларисса подошла вплотную ко мне, чтобы проследить за направлением моего пальца. Не вижу.

— Вон там, — сказал я дрогнувшим голосом, показывая еще раз.

Очень спокойно она обвила рукой мою шею. Я был так удивлен и ошарашен, что чуть не закричал. И тут ее губы, дрожа, прикоснулись к моим, а мои руки сжали ее в своих объятиях, внутри меня все дрожало и пело.

Тишина была похожа на зеленый взрыв. Вода в ложе ручья продолжала бурлить. У меня перехватило дыхание.

Я знал: все кончено. Я погиб. С этого момента начнутся тесное общение, еда, зубрежка языков, алгебры и логики, беготня и волнения, поцелуи, объятия и весь этот водоворот чувств, который захлестнет меня и утащит на дно. Я знал: теперь я погиб навечно, и не испытывал по этому поводу никаких чувств. Но я испытывал другие чувства, я плакал и смеялся одновременно, и тут ничего нельзя было поделать, только обнимать ее и любить всем моим исполненным решимости, бунтующим телом и разумом.

Я мог бы продолжать свою войну против матери, отца, школы, еды, того, что написано в книгах, но я не мог бороться против этого сладкого вкуса на своих губах, этого тепла в моих объятиях и этого нового запаха в моих ноздрях.

— Кларисса, Кларисса, — кричал я, сжимая ее в своих руках, ничего не видящими глазами глядя через ее плечо и шепча ей: Кларисса!

Попугай, который знал папу

The Parrot Who Met Papa 1972 год

Переводчик: О.Акимова

О похищении, разумеется, раструбили на весь мир.

Понадобилось несколько дней, чтобы эта новость во всей ее значимости прокатилась от Кубы до Соединенных Штатов, до парижского Левого берега^[3] и наконец докатилась до маленькой кафешки в Памплоне, где спиртное было отменным, а погода почему-то всегда стояла прекрасная.

Но как только смысл этой новости дошел до всех по-настоящему, народ начал обрывать телефоны: из Мадрида звонили в Нью-Йорк, а из Нью-Йорка пытались докричаться до Гаваны, чтобы только проверить — ну, пожалуйста! — проверить эту чудовищную новость.

И вот прозвонилась какая-то женщина из Венеции, которая сообщила приглушенным голосом, что в этот самый момент она находится в баре «У Гарри» в полной депрессии: то, что произошло, ужасно, культурному наследию грозит огромная, непоправимая опасность...

Не прошло и часа, как мне позвонил один писатель-бейсболист, который прежде был большим другом Папы, а теперь по полгода жил то в Мадриде, то в Найроби. Он был в слезах или, судя по голосу, очень близок к тому.

— Скажи мне, — спросил он с другого конца света, — что произошло? Каковы факты?

Ну что ж, факты были таковы: в Гаване, на Кубе, примерно в четырнадцати километрах от принадлежавшей Папе виллы Финка-Вигия, есть бар, куда он обычно заходил выпить. Тот самый бар, где в честь него называли специальный напиток; не тот утонченно-изысканный ресторан, в котором он обычно встречался с вульгарными звездами от литературы типа К-К-Кеннета Тайнена^[4] или, м-м-м-м... Тенниси У-Уильямса^[5] (как сказал бы мистер Тайнен). Нет, это не «Флоридита»; это незамысловатое заведение с простыми деревянными столами, опилками на полу и огромным, похожим на пыльное облако зеркалом позади барной стойки. Папа приходил сюда, когда вокруг «Флоридиты» кружило слишком много туристов, желающих посмотреть на мистера Хемингуэя. И то, что там произошло, не могло не стать сенсацией, даже большей сенсацией, чем то, что он сказал Фицджеральду о богатых,^[6] и большей сенсацией, нежели

история о том, как он дал пощечину Максу Истмену в тот далекий день в кабинете Чарли Скрибнера.^[7] Новость эта касалась одного старогостарого попугая.

Эта почтенная птица жила в клетке прямо на стойке в баре «Куба либре». Попугай «занимал этот пост» приблизительно двадцать девять лет, а значит, старик был здесь почти столько же, сколько Папа жил на Кубе.

И что еще больше придает вес сему грандиозному факту: все время, пока Папа жил в Финка-Вигия, он был знаком с попугаем и разговаривал с ним, а попугай разговаривал с Папой. Шли годы, и люди начали поговаривать, что Хемингуэй стал говорить как попугай, другие же утверждали, напротив, что попугай научился разговаривать как он! Обычно Папа выстраивал на прилавке стаканы с выпивкой, садился рядом с клеткой и завязывал с птицей интереснейший разговор, какой только вам приходилось слышать, и так продолжалось четыре ночи подряд. К концу второго года этот попугай знал о Хэме, Томасе Вулфе и Шервуде Андерсоне больше, чем Гертруда Стайн.^[8] На самом деле, попугай знал даже, кто такая Гертруда Стайн. Стоило лишь сказать «Гертруда», и попугай тут же говорил:

— Голуби с травы, увы.^[9]

Иногда, по большой просьбе, попугай мог выдать: «Были этот старик, и этот мальчик, и эта лодка, и это море, и эта большая рыба в море...» А потом неторопливо заедал это крекером.

Так вот, однажды воскресным вечером эта легендарная пернатая живность, этот попугай, эта странная птица исчезла из «Куба либре» вместе с клеткой и всем остальным.

И вот почему мой телефон разрывался от звонков. Вот почему один из крупных журналов добился специального разрешения от Госдепартамента и отправил меня самолетом на Кубу с заданием разыскать хотя бы клетку, что-либо похожее на останки птицы или кого-нибудь, напоминающего похитителя. Они хотели получить от меня легкую, милую статеечку, как они выразились, «с подтекстом». И, честно говоря, мне было любопытно. Я много слышал об этой птице. Так что некоторым странным образом я был заинтересован.

Я вылез из самолета, прилетевшего из Мехико-сити, и, поймав такси, отправился напрямик через всю Гавану в это странное маленькое кафе.

Я едва нашел это место. Стоило мне переступить порог, невысокий смуглый человечек вскочил со стула и закричал:

— Нет, нет! Уходите! Мы закрыты!

Он побежал навешивать замок на дверь, показывая, что действительно хочет прикрыть свое заведение. Все столики были пусты, и в кафе никого не было. Вероятно, он просто проветривал бар, когда я вошел.

— Я по поводу попугая, — сказал я.

— Нет, нет, — вскричал он, и глаза его увлажнились. — Я не буду ничего говорить. Хватит. Если б я не был католиком, я покончил бы с собой. Бедный Папа. Бедный Эль-Кордоба!

— Эль-Кордоба? — прошептал я.

— Так звали, — с ненавистью произнес он, — попугая!

— Ах да, — быстро поправился я. — Эль-Кордоба. Я пришел, чтобы спасти его.

При этих словах он остановился и заморгал. По лицу его пробежала тень, затем оно снова прояснилось и опять помрачнело.

— Это невозможно! Как вам это удастся? Нет, нет. Это никому не под силу! Кто вы такой?

— Я друг Папы и этой птицы, — быстро ответил я. — И чем дольше мы с вами разговариваем, тем дальше уходит преступник. Вы хотите, чтобы Эль-Кордоба к вечеру вернулся домой? Тогда налейте-ка нам несколько стаканчиков Папиного любимого и рассказывайте.

Моя прямота сработала. Не прошло и пары минут, как мы уже попивали фирменный Папин напиток, сидя в баре рядом с тем местом, где раньше стояла птичья клетка. Маленький человечек, которого звали Антонио, то и дело вытирал опустевшее место, а затем той же тряпкой промокал глаза. Осушив первый стакан, я пригубил из второго и сказал:

— Это не обычное похищение.

— И не говорите! — воскликнул Антонио. — Люди со всего света приезжали, чтобы увидеть этого попугая, поговорить с Эль-Кордобой, послушать его, да что там! — поговорить с голосом Папы. Чтоб его похитители в ад провалились и горели в этом аду, да, в аду!

— И будут гореть, — заверил я его. — А кого вы подозреваете?

— Всех. И никого.

— Похититель, — сказал я, на мгновение закрывая глаза, чтобы прочувствовать вкус напитка, — наверняка человек образованный, читающий. Я думаю, это очевидный факт, не так ли? Кто-нибудь подобный заходил сюда в последние несколько дней?

— Образованный. Образованных не было. Сеньор, последние десять, последние двадцать лет здесь бывали только иностранцы, которые всегда спрашивали Папу. Когда Папа был здесь, они встречались с ним. Когда Папы не было, они встречались с Эль-Кордобой, великим Эль-Кордобой.

Так что тут были одни иностранцы, одни иностранцы.

— Припомните, Антонио, — продолжал я, взяв его за дрожащий локоть. — Не просто образованный, читающий, но кто-то, кто в последние несколько дней показался вам — как бы это сказать? — странным. Необычным. Кто-то настолько странный, *miu eccentrico*^[10], что вы запомнили его лучше всех остальных. Человек, который...

— *Madre de Dios!*^[11] — воскликнул Антонио, вскакивая на ноги. Его взгляд устремился куда-то в глубь памяти. Он обхватил голову руками, как будто она вот-вот взорвется. — Спасибо, *senor. Si, si!*^[12] Был такой! Клянусь Христом, был вчера тут такой! Он был очень маленького роста. И говорил вот так: тоненьким голоском — и-и-и-и-и-и-и-и. Как *michacha*^[13] в школьной пьесе. Или как канарейка, проглоченная ведьмой! На нем еще был синий вельветовый костюм и широкий желтый галстук.

— Да, да! — Теперь уже я вскочил с места и чуть ли не заорал. — Продолжайте!

— И у него еще было такое маленькое и очень круглое лицо, *senor*, а волосы — желтые и подстрижены на лбу вот так — вжик! А губы у него такие тонкие, очень красные, как карамель, да? Он... он был похож на... да, на *tinесо*^[14], вроде того, что можно выиграть на карнавале.

— Пряничный мальчик!

— *Si!* Да, на Кони-Айленде, когда я был еще ребенком, — пряничный мальчик! А ростом он был вот такой, смотрите, мне по локоть. Не карлик, нет... но... а возраст? Кровь Христова, да кто его знает? Лицо без морщин, ну... тридцать, сорок, пятьдесят. А на ногах у него...

— Зеленые башмачки! — вскричал я.

— *Que?*^[15]

— Обувь, ботинки!

— *Si.* — Он ошеломленно заморгал. — Откуда вы знаете?

Я воскликнул: — Шелли Капон!

— Точно, так его и звали! А его друзья, которые были с ним, *senor*, все смеялись... нет, хихикали. Как монашки, которые играют в баскетбол по вечерам возле церкви. О, *senor*, вы думаете, что они, что он...

— Я не думаю, Антонио, я *знаю*. Шелли Капон, он один из всех писателей в мире ненавидел Папу. Нет сомнений, это он похитил Эль-Кордобу. Кстати, разве не ходили слухи о том, что эта птица сохранила в своей памяти последний, самый великий и не перенесенный на бумагу роман Папы?

— Да, *senor*, ходили такие слухи. Но я не пишу книги, я держу бар. Я

приношу крекеры для птицы. Я...

— А мне, Антонио, принеси, пожалуйста, телефон. — Вы знаете, где птица, *senor*?

— У меня есть подозрение, большое подозрение. *Gracias*.^[16]

Я набрал номер «Гавана либре», крупнейшего в городе отеля. — Шелли Капона, пожалуйста. В телефоне что-то зажужжало и щелкнуло.

В полумиллионе миль отсюда карлик-марсианин поднял трубку, а затем раздался его голос, похожий на переливы флейты и колокольчиков:

— Капон слушает.

— Черт тебя дерь, если это не так! — сказал я. После чего вскочил и выбежал из бара «Куба либре».

Пока я мчался на такси обратно в Гавану, я вспоминал Шелли, каким я знал его раньше. Окруженный вихрем друзей, он кочевал из отеля в отель, черпал суп из чужих тарелок, стрелял деньги из бумажника, выхваченного прямо на твоих глазах у тебя из кармана, с наслаждением пересчитывал листья салата в тарелке и исчезал, оставив у тебя на ковре кроличьи горошки. Милашка Шелли Капон.

Через десять минут такси без тормозов вытряхнуло меня у дверей какой-то невообразимой дыры на окраине города.

Все так же бегом я промчался через холл, ненадолго задержался у стойки администратора, затем поспешил наверх и встал как вкопанный перед номером Шелли. Дверь конвульсивно содрогалась, словно больное сердце. Я приложил ухо к двери. Из-за нее доносились дикие стоны и крики, будто там была целая стая птиц, попавших в ураган, который срывал с них перья. Я коснулся двери рукой. Теперь она, казалось, дрожала, как огромный стиральный автомат, перетряхивающий в своем нутре целую психоделическую рок-группу и еще кучу грязного белья в придачу. От этих звуков у меня даже трусы начали сползать по ногам.

Я постучался. Никакого ответа. Я толкнул дверь. Она отворилась. Я вошел и застал жуткую сцену, какую не стал бы писать даже Босх.

По всей загаженной гостиной валялись куклы в человеческий рост с полуоткрытыми глазами, с дымящимися сигаретами в прокуренных вялых пальцах, с пустыми бокалами из-под виски в руках, и все это под оглушительный вой радиоприемника, отбивавшего гулкие ритмы музыки, передаваемой, вероятно, из какого-то американского сумасшедшего дома. Комната являла собой сцену настоящего побоища. Мне представилось, что каких-нибудь десять секунд назад здесь проехался здоровенный грязный локомотив. Разбросанные во все стороны жертвы теперь лежали вверх

тормашками в разных углах комнаты и взывали о помощи.

Посреди этого месива восседал — прямой и чистенький, одетый в хороший вельветовый пиджак, ярко-оранжевый галстук-бабочку и бутылочного цвета башмачки — не кто иной, как Шелли Капон. Который без тени удивления помахал мне рукой со стаканом и крикнул:

— Я *знал*, что это ты мне звонил. У меня абсолютные телепатические способности! Добро пожаловать, Раймундо!

Он всегда звал меня Раймундо. Имя Рэй было слишком плоско и обыденно. Раймундо делало меня доном, владельцем какой-нибудь животноводческой фермы с огромным стадом быков. Я не возражал — пусть будет Раймундо.

— Садись, Раймундо! Не так... развались в какой-нибудь *интересной* позе.

— Прости, — сказал я в самой дэшил-хэмметовской манере, ^[17] на какую только был способен, заострив подбородок и бросая холодно-стальной взгляд. Нет времени.

Я начал расхаживать по комнате среди его друзей: Гнойного, Рыхлого, Курчавого, Тихони-Безобидного и еще какого-то актера, который, насколько я помню, на вопрос о том, как он собирается играть роль в фильме, однажды сказал: «Сыграю, как трепетная лань».

Я выключил радио. В ответ на это многие из присутствующих зашевелились; тогда я вырвал радиоприемник с корнем из стены. Некоторые приподнялись и сели. Я поднял фрамугу окна и вышвырнул приемник вон. Тут они все закричали, как будто я только что спустил их собственных матерей в лифтовую шахту.

Радиоприемник с надлежащим звуком хлопнулся о бетонную дорожку внизу. С блаженной улыбкой на лице я обернулся к собравшимся. Многие из них уже вскочили на ноги и покачиваясь направлялись в мою сторону, несмело угрожая. Я вытащил из кармана двадцатидолларовую бумажку, не глядя сунул ее кому-то из них и сказал: «Пойди купи новый». Тот грузно помчался вон из комнаты. Дверь со стуком захлопнулась. Я услышал, как он скатился по ступеням вниз, как будто гнался за своей утренней дозой.

— Ладно, Шелли, — сказал я, — где он?

— О чем ты, дорогуша? — спросил он, широко раскрыв невинные глаза.

— Ты знаешь о чем, — сказал я, в упор глядя на стакан в его тонкой руке.

Это был напиток Папы, особая смесь папайи, лайма, лимона и рома, какую готовили только в «Куба либре». И, словно желая уничтожить улику,

он быстро допил его до дна.

Я направился к стене, в которой были три двери, и коснулся одной из них.

— Это туалет, милый.

Я положил руку на вторую дверь.

— Неходи туда. Ты пожалеешь, что увидел это.

Я не стал входить.

Тогда я протянул руку к третьей двери.

— Ну что ж, дорогой, входи, — раздраженно сказал Шелли.

Я открыл дверь.

За ней оказалась небольшая комнатка с простежкой кроватью и столиком у окна.

На столе стояла птичья клетка, накрытая платком. Из-под платка слышался шорох перьев и царапанье клюва о железные прутья.

Шелли Капон подошел и скромно встал рядом со мной, поглядывая на клетку и держа в своих миниатюрных пальцах новую порцию напитка.

— Как жаль, что ты пришел сегодня не в семь вечера, — произнес он.

— Почему в семь?

— А потому, Раймундо, что к тому времени мы бы как раз разделались с нашей дичью в соусе карри, нашпигованной диким рисом. Интересно, много ли белого мяса под перьями у попугая или совсем ничего?

— Ты сделал бы это?! — вскричал я.

И посмотрел на него.

— Ты бы сделал, — сказал я, отвечая сам себе.

Я постоял еще немного у двери. Затем медленно прошел через небольшую комнату и остановился возле клетки с накинутым на нее платком. Я увидел одно-единственное слово, вышитое поверх платка: МАМА.

Я бросил взгляд на Шелли. Тот пожал плечами и стыдливо потупился. Я протянул руку к платку. Шелли вдруг сказал:

— Нет. Прежде чем снимешь его... спроси о чем-нибудь.

— О чем, например?

— О Ди Маджо^[18]. Спроси о Ди Маджо.

Тут словно маленькая десятиваттная лампочка щелкнула у меня в мозгу. Я кивнул. Наклонившись к спрятанной под платком клетке, я прошептал:

— Ди Маджо, тысяча девятьсот тридцать девятый.

Живой компьютер словно задумался на минутку. Под словом МАМА зашуршали перья, клюв застучал о прутья клетки. Затем тоненький голосок

произнес:

— Полных пробежек тридцать. Отбитых в среднем — триста восемьдесят один.

Я был ошеломлен. Но затем шепнул:

— Бейб Рут^[19], тысяча девятьсот двадцать девятый.

Снова пауза, шорох перьев, стук клюва и:

— Полных пробежек шестьдесят. Отбитых в среднем — триста пятьдесят шесть. Мазила.

— Боже мой, — сказал я.

— Боже мой, — эхом отозвался Шелли Капон.

— Это он, попугай, который знал Папу.

— Он самый.

Я снял платок.

Не знаю, что я ожидал увидеть под вышитой тканью. Быть может, миниатюрного охотника в лесных сапогах, куртке и широкополой шляпе. А может, симпатичного крохотного рыболова с бородой и в свитере с воротником, сидящего на деревянной жердочке. Что-нибудь маленькое, что-нибудь литературное, что-нибудь человекоподобное, что-нибудь фантастическое, но только не попугая.

Но там был всего лишь попугай.

И даже не самый красивый из попугаев. Вид у него был такой, будто он годами не спал по ночам; одна из тех неряшливых птиц, которая никогда не чистит перышки и не полирует свой клюв. У него был зеленовато-черный порыжевший окрас, тускло-желтый горбатый нос и круги под глазами, как у скрытого пьяницы. Такие обычно, ковыляя, выпархивают из бара в три утра. Отбросы попугайного общества.

Шелли Капон словно угадал мои мысли.

— Если накрыть клетку платком, — сказал он, впечатление сильнее.

Я положил платок обратно на решетку.

Мысли мелькали в моей голове. Потом потекли совсем медленно. Я наклонился к клетке и прошептал:

— Норман Мейлер^[20].

— Не мог вспомнить алфавит, — произнес голос из-под платка.

— Гертруда Стайн, — сказал я.

— Страдала крипторхизмом^[21], — отозвался голос.

— Боже мой, — выдохнул я.

И отступил назад. Я смотрел на покрытую платком клетку. Затем подмигнул Шелли Капону.

— Ты отдаешь себе отчет, что это такое, Капон?
— Золотая жила, дорогой Раймундо! — довольно просиял он.
— Целый монетный двор! — поправил его я.
— Бесконечные возможности для шантажа!
— И причины для убийства! — добавил я.
— Ты представь, — фыркнул Шелли в стакан, представь, сколько бы отвалило одно только издательство Мейлера за то, чтобы эта пташка заткнулась!

Я снова обратился к клетке:

— Френсис Скотт Фицджеральд.

Молчание.

— Попробуй «Скотти», — предложил Шелли.

— А-а-а-а, — произнес голос внутри клетки. — Не плохой удар слева, но напористости не хватает. Приятный соперник, хотя...

— Фолкнер^[22], — сказал я.

— Средние результаты по очкам хорошие, всегда играл только в одиночном разряде.

— Стейнбек^[23]! — В конце сезона финишировал последним.

— Эзра Паунд^[24]!

— В тридцать втором перешел в низшую лигу.

— Думаю... мне не помешает... выпить бокальчик этого напитка.

Кто-то вложил мне в руку стакан. Я залпом осушил его и кивнул. Зажмурившись, я почувствовал, как мир завращался вокруг меня, потом открыл глаза и увидел Шелли Капона, классического сукина сына на все времена.

— Тут есть кое-что еще более фантастическое, — сказал он. — Ты слышал едва ли половину.

— Врешь, — ответил я. — Что еще тут может быть?

Он загадочно улыбнулся — только Шелли Капон в целом свете умеет так загадочно, так злодейски улыбаться.

— Вот как все было, — начал он. — Помнишь, в последние годы, когда Папа жил здесь, у него были серьезные трудности с тем, чтобы переносить свои опусы на бумагу? Так вот, после «Островов в океане» он задумал еще один роман, но, похоже, почему-то так и не смог его записать... О да, роман уже был у него в голове — весь сюжет, и многие слышали, как он упоминал об этом, — но, похоже, он просто его не записал. Зато он ходил в «Куба либре», выпивал стакан за стаканом и подолгу разговаривал с попугаем. Раймундо, на протяжении всех этих

долгих пьяных ночей Папа рассказывал Эль-Кордобе сюжет своей последней книги. И со временем, постепенно птица его запомнила.

— Его прощальная книга! — воскликнул я. — Самый-самый последний роман Хемингуэя! Не написанный, но записанный в мозгу попугая! Господи Иисусе!

Шелли качал головой, глядя на меня с улыбкой падшего херувима.

— Сколько ты хочешь за эту птицу?

— Дорогой мой, милый Раймундо, — Шелли Капон помешал мизинчиком в своем стакане. — Неужели ты думаешь, что я продам эту птицу?

— Однажды ты продал свою мать, затем снова выкрал ее и продал опять под другим именем. Брось, Шелли. Ты напал на кое-что стоящее. — Я задумчиво наклонился над покрытой платком клеткой. — Сколько телеграмм ты разослал за последние четыре-пять часов?

— Да ты что! Ты меня пугаешь!

— Сколько международных телефонных звонков за счет абонента ты сделал после завтрака?

Шелли Капон издал глубокий печальный вздох и вытащил из кармана своего вельветового пиджака смятую копию телеграммы. Я взял ее и прочел:

ДРУЗЬЯ ПАПЫ ВСТРЕЧАЮТСЯ ГАВАНЕ ЗПТ ПРЕДАТЬСЯ ВОСПОМИНАНИЯМ НАД ПТИЦЕЙ И БУТЫЛКОЙ ТЧК ЗАЯВКИ НА ТОРГИ ВЫСЫЛАЙТЕ ТЕЛЕГРАММОЙ ЗПТ ИЛИ НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАХВАТИТЬ ЧЕКОВУЮ КНИЖКУ И ОТКРЫТЬ СОЗНАНИЕ ТЧК ПЕРВЫЙ ПРИШЕЛ ПЕРВЫЙ КУПИЛ ТЧК ЧАСТИ ФИЛЕЙНЫЕ ЦЕНЫ ЮБИЛЕЙНЫЕ ТЧК МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИЗДАНИЯ ЗПТ КНИГИ ЗПТ ЖУРНАЛЫ ЗПТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ЗПТ ПРАВА НА ЭКРАНИЗАЦИЮ ТИРЕ ВСЕ ПОДОЙДЕТ ТЧК С ЛЮБОВЬЮ ТЧК ШЕЛЛИ САМИ-ЗНАЕТЕ-КАКОЙ ТЧК

Боже мой, снова подумал я, роняя на пол телеграмму, в то время как Шелли протягивал мне список адресатов, которым она была разослана:

«Тайм». «Лайф». «Ньюсуик». «Скрибнер». «Саймон-энд-Шустер». «Нью-Йорк таймс». «Крисчен сайенс монитор». Лондонская «Таймс». «Монд». «Пари-матч». Один из Рокфеллеров. Кое-кто из Кеннеди. Си-би-эс. Эн-би-си. «Метро-Голдвин-Майер». «Уорнер бразерс». «20-й век Фокс». И так далее, и так далее, и так далее. Чем дальше я читал этот длинный список, тем глубже погружался в меланхолию.

Шелли Капон швырнул на столик перед клеткой пригоршню ответных телеграмм. Я быстро пролистал их.

Все, буквально все в этот самый момент летели сюда. Самолеты слетались со всех концов света. Через каких-нибудь два, четыре, самое большее шесть часов Куба будет кишеть агентами, газетчиками, придурками и законченными дураками, плюс тайные похитители из контрразведки и белокурые старлетки, мечтающие появиться на обложках журналов с птицей на плече.

Я прикинул, что у меня в запасе, может быть, еще есть полчаса, в течение которых надо что-то предпринять, не знаю что.

Шелли слегка подтолкнул меня локтем.

— Кто тебя прислал, дорогой? Знаешь, ты ведь пришел *самым* первым. Назови хорошую цену и все, ты свободен, может быть. Разумеется, я должен рассмотреть и другие предложения. Но возможно, здесь скоро станет таклюдно и шумно. Я начну паниковать из-за содеянного. Возможно, мне захочется продать подешевле и свалить побыстрее. Ведь, сам подумай, может возникнуть проблема с вывозом этой птицы из страны, верно? А тем временем Кастро может объявить попугая национальным памятником, или произведением искусства, или... да, черт возьми, Раймундо, *кто* тебя прислал?

— Кое-кто, но теперь уже никто, — в задумчивости ответил я. — Я приехал от имени другого лица. Но уеду отсюда сам по себе. Во всяком случае, отныне есть только я и птица. Я читал книги Папы всю свою жизнь. И теперь я знаю: я приехал только потому, что должен был приехать.

— Господи, да он альтруист!

— Прости, что обидел тебя, Шелли.

Раздался телефонный звонок. Шелли взял трубку. Со счастливым видом, поболтав немного, он велел кому-то ждать его внизу, повесил трубку и, приподняв бровь, бросил мне:

— Люди из Эн-би-си ждут в холле. Они хотят записать прямо здесь часовое интервью с Эль-Кордобой. Говорят о шестизначной сумме.

Мои плечи так и опустились. Телефон снова зазвонил. На этот раз я сам, к своему собственному удивлению, поднял трубку. Шелли взвыл. Но я сказал:

— Алло? Да?

— *Senor*, — послышался чей-то голос. — Здесь *senor* Хобвелл из «Тайм», он говорит, из журнала.

Я тут же представил себе лицо попугая на обложке ближайшего еженедельного номера и сразу за ней — шесть страниц текста.

— Скажите, пусть подождет, — и повесил трубку.

— «Ньюсуик»? — попробовал угадать Шелли.

— Нет, второй, — ответил я.

— «Там, наверху, в тени холмов, снег был прекрасен», — произнес голос из клетки, накрытой платком.

— Заткнись, — спокойно и устало сказал я. — Заткнись же ты, черт побери.

В дверном проеме за нашими спинами появились две фигуры. Друзья Шелли Капона начали подходить и бродили по комнате. Их все прибывало, и я почувствовал, как меня пробирает дрожь и бросает в пот.

Я начал почему-то подниматься на ноги. Мое тело собиралось что-то сделать, я сам не знал что. Я посмотрел на свои руки. Внезапно правая рука потянулась в сторону. Она опрокинула клетку, открыла настежь решетчатую дверцу и рывком схватила попугая.

— Нет!

Раздался общий изумленный вопль, словно оглушительная волна накатила на берег. Своим действием я как будто дал всем присутствующим в поддых. Каждый охнул, сделал шаг вперед и вознамерился завопить, но я уже вытащил попугая из клетки. Я держал его за горло.

— Нет! Нет! — подскочил ко мне Шелли.

Я пнул его в голень. Он с криком опустился на пол.

— Не двигаться! — сказал я и чуть не рассмеялся, услышав из собственных уст это избитое клише. — Вы когда-нибудь видели, как убивают курицу? У этого попугая тонкая шейка. Одно движение — и я откручу ему голову. Всем стоять на месте.

Все замерли.

— Сукин сын, — проговорил Шелли Капон, сидя на полу.

На мгновение мне показалось, что все вот-вот ринутся на меня. Я представил, как меня избивают, гонятся за мной по пляжу с криками, а потом каннибалы окружают меня и съедают, в духе Тенниси Уильямса, вместе с ботинками и всем остальным. Мне стало жаль своих обглоданных косточек, которые найдут на главной площади Гаваны завтра на рассвете.

Но они не набросились на меня, не избивали, не убили. Покуда мои пальцы сжимали шею попугая, который знал Папу, я мог стоять так хоть вечность.

Всем сердцем, всей душой и всеми потрохами мне хотелось свернуть этой птице шею и швырнуть ее бездыханное тело в эти бледно-песчаные лица. Мне хотелось закрыть дверь в прошлое и навсегда уничтожить запечатленную память о Папе, раз уж ей суждено стать игрушкой в руках таких безмозглых детишек.

Но я не смог этого сделать по двум причинам. Первая — это то, что

один мертвый попугай будет значить — один мертвый гусь, то есть я. И кроме того, в глубине души я ужасно тосковал о Папе. Я просто не мог навсегда заглушить его голос, который был запечатлен, который я держал в своих руках, по-прежнему живой, как на старом фонографе Эдисона. Я не мог его убить.

Если бы эти великовозрастные детишки об этом знали, они кучей накинулись бы на меня, как саранча. Но они этого не знали. Думаю, это не читалось на моем лице.

— Все назад! — закричал я.

Это напоминало ту блистательную финальную сцену в «Призраке оперы», когда Лон Чейни,^[25] убегая от погони по ночному Парижу, оборачивается к преследующей его толпе, поднимает руку, сжатую в кулак, словно в нем бомба, и толпа на одно прекрасное мгновение останавливается, боясь приблизиться. Расхохотавшись, он разжимает кулак, показывая, что рука пуста, а затем срывается в реку, навстречу смерти... Только я совсем не собирался показывать им, что у меня в руке пусто. И крепко сжимал ее на тощей шее Эль-Кордобы.

— Расступитесь, дайте пройти к двери!

Они расступились.

— Ни шага, ни вдоха. Если кто-нибудь хотя бы упадет в обморок, птице конец, и никаких авторских прав, никаких фильмов, никаких фотографий. Шелли, принеси мне клетку и платок.

Шелли Капон осторожно пробрался ко мне и передал клетку вместе с платком.

— Всем отойти! — скомандовал я.

Все отскочили на шаг назад.

— А теперь слушайте, — сказал я. — Когда я уйду и спрячусь в надежном месте, каждый из вас, по одному, будет приглашен и получит шанс еще раз встретиться здесь с другом Папы и заработать на громких заголовках.

Я лгал. Я слышал ложь в своих словах. И надеялся, что никто больше этого не услышит. Я заговорил более поспешно, чтобы скрыть свою ложь:

— Теперь я уйду. Смотрите. Видите? Я держу попугая за горло. Он будет жив, пока мы с вами будем играть в «море волнуется». Итак, пошли. Море волнуется — три. Замри! Я на полпути к двери.

Я прошел между ними, они даже не пошевелились.

— Замри, — говорил я, а сердце мое было готово выскочить из груди. — Я у двери. Спокойно. Никаких резких движений. Клетка в одной руке. Птица в другой...

— «Львы бежали по желтому песку пляжа», — сказал попугай, его горло задергалось у меня в пальцах.

— О господи, — запричитал Шелли, сидя на коленях возле стола. Слезы побежали по его щекам. Может быть, тут была не только нажива. Может, для него попугай тоже был частичкой Папы. В призывно-молящем жесте он протянул руки ко мне, к попугаю, к клетке. — Господи, господи, — плакал он.

— «У причала лежал лишь остов огромной рыбы, и кости скелета ярко белели в лучах утреннего солнца», — проговорила птица.

— Ох, — тихо вздохнул кто-то.

Я не стал медлить, чтобы посмотреть, плачет ли кто-нибудь еще. Я вышел вон. Закрыв дверь. Бросился к лифту. Словно по волшебству, он оказался на моем этаже, внутри ждал полусонный лифтер. Никто даже не попытался преследовать меня. Думаю, они знали, что это бесполезно.

Пока мы ехали вниз, я посадил попугая в клетку и накрыл ее платком с надписью МАМА. Лифт спускался вниз медленно, целую вечность. Я думал об этой вечности впереди и о том, где я могу спрятать попугая, укрыть его в тепле от любой непогоды, кормить его надлежащим образом, чтобы один раз в день приходиться к нему и разговаривать через платок, и никто больше его не увидит, ни газеты, ни журналы, ни кинокамеры, ни Шелли Капон, ни даже Антонио из «Куба либре». Так пройдут дни или недели, и на меня нападет внезапный страх: а что, если попугай потерял дар речи? И тогда я проснусь посреди ночи, шаркая подойду к клетке, встану возле нее и скажу:

— Италия, тысяча девятьсот восемнадцатый?..

И тогда из-под слова МАМА донесется знакомый голос:

— «В ту зиму снег тонкой белой пылью спускался с предгорий...»

— Африка, тысяча девятьсот тридцать второй.

— «Мы достали ружья и их смазали, ружья были светло-синие и блестящие и покоились у нас в руках, и мы ждали в высокой траве и улыбались...»

— Куба. Гольфстрим.

— «Эта рыба всплыла и подпрыгнула до самого солнца. Все, что я когда-либо думал о рыбе, было в этой рыбе. Все, что я когда-либо думал о прыжке, было в этом прыжке. Они вместили в себя всю мою жизнь. Это был день солнца и воды и жизни. Мне хотелось удержать все это в руках. Мне хотелось, чтобы это не кончилось никогда. И однако, когда рыба упала и вода, белая, а потом зеленая, над ней сомкнулась, все кончилось, кончилось...»

Тем временем мы спустились в холл, двери лифта открылись, я вышел, держа в руках клетку с надписью МАМА, и быстро направился через холл гостиницы к стоянке такси.

Оставалось самое сложное и самое опасное. Я знал, что к тому времени, когда я приеду в аэропорт, гвардия и милиция Кастро уже будут подняты по тревоге. Я не сомневался: Шелли Капон наверняка сообщил им, что национальное достояние уплывает за границу. Он даже может уступить Кастро часть доходов от «Книги месяца» и права на экранизацию. Мне нужно придумать план, чтобы просочиться через таможеню.

Впрочем, я ведь писатель и быстро нашел выход из положения. Я попросил такси остановиться и успел купить ваксы для обуви. После чего принялся наносить грим на Эль-Кордобу. Я выкрасил его в черный цвет с ног до головы.

— Слушай, — шепотом сказал я, наклонившись к клетке, пока мы ехали по Гаване. — Nevermore^[26].

Я повторил это слово несколько раз, чтобы попугай запомнил. Вероятно, оно было новым для его слуха, ведь Папа, насколько я предполагал, никогда бы не стал цитировать соперника средней весовой категории, которого он к тому же отправил в нокаут много лет назад. Пока слово записывалось, под платком царило молчание.

Наконец я услышал ответное:

— Nevermore, — произнесенное таким знакомым, родным тенорком Папы, — nevermore, — звучало оно.

Пылающий человек

The Burning Man 1975 год

Переводчик: О.Акимова

Старый трясущийся «фордик» ехал по дороге, зарываясь носом в желтые хлопья пыли, которые еще с час будут кружить, прежде чем снова осесть среди той особенной дремоты, которая окутывает все вокруг в самый разгар июля. Где-то далеко их ожидало озеро, прохладно-голубой бриллиант, купающийся в сочно-зеленой траве, но до него действительно было еще далеко, и Нева с Дугом тряслись в своей консервной банке, каждый винтик которой раскалился докрасна, на заднем сиденье в термосе бултыхался лимонад, а на коленях Дуга медленно закишали сэндвичи с круто поперченной ветчиной. И мальчик, и его тетя жадно вдыхали горячий воздух, который еще более раскалился от их разговоров.

— Я пожиратель огня, — сказал Дуглас. — Я словно огонь глотаю. Черт, да где же оно, наконец, это озеро!

Вдруг впереди на обочине показался человек.

Рубашка его была расстегнута на груди, обнажая загорелое тело, волосы выцвели настолько, что были похожи на колосья спелой июльской пшеницы, ослепительно-голубые глаза сверкали в сеточке лучистых морщинок. Он вяло махнул рукой, изнывая от жары.

Нева резко нажала на педаль тормоза. Яростно взметнувшиеся клубы пыли на мгновение заслонили фигуру человека. Когда золотистая пыль рассеялась, его желтые, словно кошачьи, глаза злобно сверкнули, бросая вызов палящему солнцу и обжигающему ветру.

Он в упор посмотрел на Дугласа.

Дуглас нервно отвел взгляд.

Ибо через поле, заросшее высокой желтой травой, выжженной и высушенной за восемь недель засухи, тянулся след этого человека. В том месте, где человек прокладывал себе путь в сторону дороги, виднелась тропа из примятой травы. Тропа эта уходила так далеко, насколько хватало глаз, к сухим болотам и пересохшему руслу речки, в котором не было ничего, кроме раскалившейся на солнце гальки, пышущих жаром камней и плавящегося песка.

— Черт бы меня побрал, вы все-таки остановились! — сердито прокричал человек.

— Черт бы меня побрал, да, — крикнула ему в ответ Нева. — Куда вам нужно?

— Куда-нибудь. — Человек легко, как кошка, под прыгнул и плюхнулся на заднее сиденье. — Поехали. Надо от него удрать! Я имел в виду, от солнца, конечно! — Он указал вперед. — Жми на газ! Или мы все сойдем с ума!

Нева нажала на газ. Машина взметнула гравий и легко заскользила по нетронутой раскаленно-белой пыли, лишь иногда снисходя до того, чтобы отбросить с дороги какой-нибудь камешек или клюнуть носом в булыжник. Громящая таратайка уверенно неслась вперед. Несмотря на это, человек крикнул:

— Выжми из нее семьдесят, восемьдесят, черт тебя дери, девяносто!

Нева метнула в нахального льва — сидящего сзади непрошеного гостя — искрометный критический взгляд, выясняя, достаточно ли этого, чтобы гость заткнул свою пасть. Пасть заткнулась.

Ну конечно, именно так Дуглас и представлял себе этого зверя. Не чужаком, нет, не заправским автостопером, а непрошеным гостем. Всего через пару минут после того, как этот тип со звериной гривой и звериным дыханием запрыгнул в пылающую жаром машину, ему удалось настроить против себя всех — саму атмосферу, автомобиль, Дуга и его почтенную, обливающуюся потом тетушку. Пригнувшись к рулю, она бережно вела машину сквозь непрекращающиеся знойные бури и вихри гравия.

Тем временем расположившееся на заднем сиденье существо с огромной львиной гривой и леденцово-мятными желтыми глазами облизнуло губы и, глядя в зеркало заднего вида, уставилось прямо на Дуга. Оно подмигнуло. Дуглас попытался подмигнуть ему в ответ, но веко почему-то никак не хотело закрываться.

— Вы когда-нибудь задумывались... — прокричал мужчина.

— Что? — крикнула в ответ Нева.

— Вы когда-нибудь задумывались, — еще громче заорал мужчина, склоняясь вперед, чтобы оказаться между ними, — от чего именно вы сходите с ума: из-за погоды или потому что вы и так сумасшедшие?

Это был неожиданный вопрос, от которого они сразу похолодели, несмотря на то что вокруг было жарко, как в доменной печи.

— Я не совсем понимаю, — сказала Нева.

— Никто не понимает! — От мужчины воняло, как из львиной клетки. Его тонкие руки угрожающе свисали между ними, нервно завязывая и развязывая невидимую струну. Он дергался так, будто у него под мышками были гнезда горящих волос. — В такие дни, как этот, все демоны ада,

живущие в вашей голове, срываются с цепи. Люцифер родился в такой день, как этот, в такой вот пустыне, — сказал мужчина. — Когда повсюду были лишь огонь, пламя и дым, — продолжал он. — И все раскалилось до такой степени, что невозможно дотронуться, и даже люди не хотели, чтобы к ним прикасались.

Он толкнул под локоть тетушку, ткнул локтем мальчика.

Оба отскочили подальше.

— Видите? — Мужчина улыбнулся. — В такой день, как этот, начинаешь задумываться о многом. Он снова улыбнулся. — Разве не в такое лето семнадцатилетние кузнечики обычно налетают тучами, опустошая все, как чума? Просто потому, что их становится очень много?

— Не знаю! — Нева гнала машину, не оборачиваясь.

— Да, это именно такое лето. Чума совсем близко, за поворотом. Я думаю так быстро, что от мелькания мыслей у меня болят глазные белки, голова раскалывается. Я, наверное, сейчас взорвусь, как шаровая молния, от этих тупых, бессвязных мыслей. Ой-ой-ой...

Нева сглотнула поднявшийся к горлу комок. Дуг задержал дыхание.

Внезапно их объял ужас. А мужчина просто болтал ни о чем, глядя на жаркое мерцание зеленых деревьев, пламенеющих по обеим сторонам дороги, вдыхая густую горячую пыль, клубившуюся вокруг жестяного кузова машины, и голосом, звучавшим ни громко, ни тихо, но ровно и спокойно, рассказывал свою жизнь:

— Да, господа хорошие, мир богаче, чем люди могут постичь. Если есть семнадцатилетние кузнечики, почему не быть семнадцатилетним людям? Вы когда-нибудь об этом задумывались?

— Никогда, — отозвался кто-то.

«Может, это я», — подумал Дуг, ведь губы его только что чуть заметно шевельнулись, будто мышка прощмыгнула.

— А как насчет двадцатичетырехлетних людей или пятидесятилетних? Я хочу сказать, мы так привыкли, что люди растут, женятся, рожают детей, и никогда не задумываемся: а может, есть и другие способы появляться на свет, быть может, как саранча, — раз в несколько лет, кто знает, однажды жарким днем в разгар лета!

— А кто знает? — пробежала еще одна мышка. Губы Дуга задрожали.

— А кто может сказать, что в мире нет генетического зла? — спросил мужчина, обращаясь к солнцу, не мигая глядя на него в упор.

— Какого-какого зла? — переспросила Нева.

— Генетического, мэм. То есть которое в крови. Люди, рождающиеся во зле, вырастающие во зле, умирающие во зле, и так без изменений из

поколения в поколение.

— Ух ты! — воскликнул Дуглас. — Вы имеете в виду людей, которые начинают с подлостей и продолжают в том же духе?

— Ты ухватил самую суть, парень. Почему бы нет? Если есть люди, которых все считают ангелами от первого вдоха до последней исповеди, почему бы не быть таким, кто все триста шестьдесят пять дней в году, с января по декабрь, являет собой воплощенное зло?

— Никогда об этом не думал, — снова прошелестела мышка. — Подумай, — сказал мужчина.

— Подумай.

Секунд пять они задумчиво молчали.

— Так вот, — снова заговорил мужчина, покосившись одним глазом на прохладное озеро, показавшееся впереди, в пяти милях отсюда, а другим, закрытым, созерцая темные уголки своего мозга и роящиеся в них угольно-черные мысли о сути явлений, — послушай. А что, если невыносимый зной — я имею в виду настоящее пекло, такое, как выдалось в нынешний месяц, в нынешнюю неделю, в такой день, как сегодня, — просто-напросто выпарил из грязного речного русла такого вот Мерзкого Человека? Сорок семь лет он лежал, погребенный в этой грязи, словно чертова личинка, ожидая часа своего рождения. И вот он встряхнулся ото сна, посмотрел во круг, распрямился во весь рост, выкарабкался из раскаленной грязи на волю и сказал: «А не съесть ли мне немного лета?»

— Как это так?

— Съесть немного лета, парень, немного лета, мэм. Просто проглотить его целиком. Посмотрите-ка на эти деревья: чем не ужин? Взгляните-ка на это пшеничное поле: чем не пир? А эти подсолнухи у дороги, черт возьми, — это же завтрак. А толевая крыша вон того дома как раз на обед. А озеро, вон там, впереди, Иосафат, — столовое вино, осуши до дна!

— Ладно, я тоже пить хочу, — сказал Дуг.

— Он хочет пить! Черт возьми, парень, да твоя жажда и близко не стоит с ощущением человека — представим себе такого, попробуем о нем поговорить, — который тридцать лет провел в раскаленной грязи и родился лишь затем, чтобы через день умереть! Пить он хочет! Господи боже! Ты просто невинный теленок.

— Ну ладно, ладно, — согласился Дуг.

— Ладно, — повторил человек. — И не только жажда мучит его, но и голод. Голод. Посмотри вокруг. Он мог бы съесть не только деревья, а потом цветы, вспыхивающие вдоль дороги, но и разгоряченных собак с вывалившимися языками. Вон там одна. А вон — другая! И всех котов в

округе. Тут как раз парочка пробежала! А потом — о, вот тут-то и начинается самый смак — почему бы ему — ну-ка посмотрим, что ты на это скажешь, — не полакомиться человечинкой? Я имею в виду — людишками. Жареными, пареными, вареными и недоваренными людишками. Загорелыми красотками. Старыми и молодыми. Старушечьими шляпками, потом самими старушками, шарфиками юных леди, потом самими юными леди, плавками юношей, а потом, ей-богу, и самими юношами, их локтями, лодыжками, ушками, пальчиками и бровками! Эти бровки, черт дери, мужчины, женщины, мальчики, девочки, собаки — все идет в меню, натачивай зубки, облизывай губки: пир продолжается!

— Хватит! — выкрикнул кто-то.

«Точно не я, — подумал Дуг. — Я ничего не сказал».

— Прекрати! — раздался крик.

Это была Нева.

Он увидел, как ее колено, словно по наитию, взметнулось вверх и с твердостью окончательного решения опустилось вниз.

Ее пятка топнула об пол — бац!

Машина резко остановилась. Нева открыла дверь и, махая, крича, снова махая и снова крича, с пеной у рта, одной рукой схватила человека за рубашку и с треском рванула.

— Вон! Убирайся вон!

— Прямо сейчас, мэ? — удивился человек.

— Сейчас же, сейчас же, вон, вон, вон отсюда!

— Но мэ!..

— Убирайся, или я тебя прикончу на месте! — в бешенстве орала Нева. — У меня в багажнике целая стопка Библий, а под рулем — пистолет с серебряными пулями. А под сиденьем — ящик с распятиями. А к колесной оси примотан осиновый кол и молоток. У меня святая вода в карбюраторе, освященная сегодня рано утром еще до того, как она закипела, в трех церквях по дороге: в католической церкви Святого Матфея, баптистской церкви Гринтауна и в епископальной церкви города Сиона. Тебе хватит одного пшика. Вслед за нами едет преподобный епископ Келли из Чикаго, он уже в миле отсюда и с минуты на минуту будет здесь. А там, у озера, находится отец Руни из Милуоки, а у Дуга, у Дуга в заднем кармане как раз сейчас лежит ветка волчьего корня и два куска мандрагоры. Убирайся, вон, вон отсюда!

— Ладно, мэ, — закричал мужчина. — Уже убрался!

Он действительно убрался.

Носом в землю, пропахав дорожную пыль.

Нева со всего размаху захлопнула дверцу машины.

Оставшийся позади мужчина поднялся на ноги и проорал им вслед:

— Ты просто чокнутая. Дура. Чокнутая. Дура.

— Я чокнутая? Я дура? — переспросила Нева и рассмеялась. — Дурачок!

— ...чокнутая... дура... — Голос затих вдали.

Дуглас посмотрел назад и увидел, как мужчина потряс кулаком, потом сорвал с себя рубашку, швырнул ее наземь и, подпрыгнув, стал топтать ее босыми ногами, поднимая огромные тучи раскаленной до бела пыли.

Машина взревела, рванула с места, стремительно набирая обороты, и, громыхая, не разбирая дороги помчалась вперед, унося прочь тетушку, разъяренно вцепившуюся в горячее рулевое колесо, пока маленькая фигурка потного болтуна не испарилась в знойном воздухе высохших болот. Наконец Дуг смог перевести дух:

— Нева, я никогда не слышал, чтобы ты так разговаривала.

— И никогда не услышишь, Дуг.

— То, что ты сказала, это правда?

— Ни единого слова.

— То есть ты наврала? Наврала?

— Я наврала. — Нева подмигнула. — А он, как ты думаешь, он тоже врал?

— Не знаю.

— Дуг, а вот я знаю, что иногда нужна ложь, чтобы уничтожить другую ложь. По крайней мере, в данном случае. Но это не должно войти в привычку.

— Нет, мэм, — Мальчик рассмеялся. — Скажи еще про мандрагору. И про волчий корень у меня в кармане. И еще про пистолет с серебряными пулями, ну скажи.

Она повторила. И они оба дружно рассмеялись.

С гиканьем и криками они ехали вдаль на своей громыхающей развалюхе, переваливаясь через ухабы и ямы, она говорила, он слушал, и их смеющиеся глаза превращались в крохотные щелочки, они хохотали, ржали до упаду, покатывались со смеху.

Они смеялись и смеялись, пока не добрались наконец до воды, натянули купальники и, широко улыбаясь, вошли в озеро.

Солнце было по-прежнему в зените и палило вовсю, поэтому они еще минут пять счастливо плескались по-собачьи, прежде чем по-настоящему окунуться в мятно-прохладные волны.

Лишь в сумерки, когда солнце внезапно скрылось и от деревьев залегли огромные тени, они вспомнили, что пора возвращаться в город, причем той самой пустынной дорогой, через все эти темные места и мимо того самого высохшего болота.

Они стояли у машины и смотрели на уходящую вдаль дорогу. Дуг напряженно сглотнул:

— С нами ведь ничего не случится по дороге домой?

— Ничего.

— Залезай!

Они забрались на свои сиденья, Нева пнула стартер, словно дохлого пса, и они поехали.

Они ехали вдоль сливово-лиловых деревьев, среди бархатисто-багровых холмов.

И ничего не происходило.

Они ехали по грубому щебню безлюдной дороги, наливавшейся спело-фиолетовым цветом, вдыхали тепловато-прохладный воздух, словно запах сирени, и выжидающе переглядывались.

И ничего не происходило.

В конце концов Нева начала что-то напевать себе под нос.

На дороге никого не было.

И вдруг появился человек.

Нева рассмеялась. Дуглас прищурился, всматриваясь, и рассмеялся вслед за ней.

Это был маленький мальчик, лет, наверное, девяти, в светло-ванильном летнем костюмчике, белых теннисках и белом галстуке, с обветрившимся на солнце лицом и облупившимся носом. Он стоял на обочине и ждал. Мальчик взмахнул рукой.

Нева остановила машину.

— Вы едете в город? — весело спросил мальчуган. — Я потерялся. Мы с ребятами были на пикнике, все уехали, а меня забыли. Я так рад, что вы мне подвернулись. Тут страшно, просто жуть.

— Залезай!

Мальчуган запрыгнул в машину, и они отправились: мальчик на заднем сиденье, а впереди Дуг и Нева, которые с усмешкой посматривали на него и наконец совсем успокоились.

Долгое время мальчуган у них за спиной сидел молча, напряженно выпрямившись, весь такой чистенький, опрятненький, свеженький и новенький в своем светлом костюмчике.

И они ехали по пустынной дороге под совсем стемневшими небесами,

в которых проглядывали редкие звездочки, и ветер становился все прохладнее.

Наконец мальчик заговорил, он что-то произнес — что именно, Дуг не расслышал, но увидел, как Нева застыла на месте, а лицо ее побелело как снег, из которого был словно выткан костюм мальчугана.

— Что? — спросил Дуг, оборачиваясь.

Мальчик смотрел на него в упор, не мигая, а его губы двигались сами по себе, будто отдельно от его лица.

Мотор поперхнулся и заглох.

Машина замедлила ход и встала намертво.

Дуг видел, как Нева давит на педаль газа и дергает стартер. Но главное, в этой установившейся незыблемой тишине он слышал голос маленького мальчика:

— Кто-нибудь из вас задумывался когда-нибудь... — Мальчик перевел дыхание и закончил: — Существует ли на свете такая штука, как генетическое зло?

Ржавчина

A Piece of Wood 1952 год

Переводчик: О.Акимова

— Садитесь, молодой человек, — сказал полковник.

— Благодарю вас. — Вошедший сел.

— Я слышал о вас кое-что, — заговорил дружеским тоном полковник. — В сущности, ничего особенного. Говорят, что вы нервничаете и что вам ничего не удается. Я слышу это уже несколько месяцев и теперь решил поговорить с вами. Я думал также о том, не захочется ли вам переменить место службы. Может быть, вы хотите уехать за море и служить в каком-нибудь дальнем военном округе? Не надоело ли вам работать в канцелярии? Может быть, вам хочется на фронт?

— Кажется, нет, — ответил молодой сержант.

— Так чего вы, собственно, хотите?

Сержант пожал плечами и поглядел на свои руки.

— Я хочу жить без войн. Хочу узнать, что за ночь каким-то образом пушки во всем мире превратились в ржавчину, что бактерии в оболочках бомб стали безвредными, что танки провалились сквозь шоссе и, подобно доисторическим чудовищам, лежат в ямах, заполненных асфальтом. Вот мое желание.

— Это естественное желание каждого из нас, — произнес полковник. — Но сейчас оставьте эти идеалистические разговоры и скажите нам, куда мы должны вас послать. Можете выбрать западный или северный округ. — Он постучал пальцем по карте, разложенной на столе.

Сержант продолжал говорить, шевеля руками, приподнимая их и разглядывая пальцы:

— Что делали бы вы, начальство, что делали бы мы, солдаты, что делал бы весь мир, если бы все мы завтра проснулись и пушки стали ненужными?

Полковнику было теперь ясно, что с сержантом нужно обращаться осторожно. Он спокойно улыбнулся:

— Это интересный вопрос. Я люблю поболтать о таких теориях. По-моему, тогда возникла бы настоящая паника. Каждый народ подумал бы, что он один во всем мире лишился оружия, и обвинил бы в этом несчастье своих врагов. Начались бы массовые самоубийства, акции мгновенно упали

бы, разыгралось бы множество трагедий.

— А потом? — спросил сержант. — Потом, когда все поняли бы, что это правда, что оружия нет больше ни у кого, что больше никого не нужно бояться, что все мы равны и можем начать жизнь заново... Что было бы тогда?

— Все принялись бы опять поскорее вооружаться.

— А если бы им можно было в этом помешать?

— Тогда стали бы драться кулаками. На границах сходились бы толпы людей, вооруженных боксерскими перчатками со стальными вкладками; отнимите у них перчатки, и они пустят в ход ногти, и зубы, и ноги. Запретите им и это, и они станут плевать друг в друга. А если вырезать им языки и заткнуть рты, они наполнят воздух такой ненавистью, что птицы попадают мертвыми с телеграфных проводов и все мухи и комары осыплются на землю.

— Значит, вы думаете, что в этом вообще не было бы смысла, — продолжал сержант.

— Конечно не было бы! Ведь это все равно что черепаху вытащить из панциря. Цивилизация задохнулась бы и умерла от шока.

Молодой человек покачал головой:

— Вы просто хотите убедить себя и меня, ведь работа у вас спокойная и удобная.

— Пусть даже это на девяносто процентов цинизм и только на десять — разумная оценка положения. Бросьте вы свою ржавчину и забудьте о ней.

Сержант быстро поднял голову:

— Откуда вы знаете, что она у меня есть?

— Что у вас есть?

— Ну, эта ржавчина.

— О чем вы говорите?

— Вы знаете, что я могу это сделать. Если бы я захотел, я мог бы начать сегодня же.

Полковник засмеялся:

— Я думаю, вы шутите?

— Нет, я говорю вполне серьезно. Я давно уже хотел поговорить с вами. Я рад, что вы сами позвали меня. Я работаю над этим изобретением уже довольно давно. Мечтал о нем целые годы. Оно основано на строении определенных атомов. Если бы вы изучали их, вы бы знали, что атомы оружейной стали расположены в определенном порядке. Я искал фактор, который нарушил бы их равновесие. Может быть, вы знаете, что я изучал

физику и металлургию... Мне пришло в голову, что в воздухе всегда присутствует вещество, вызывающее ржавчину: водяной пар. Нужно было найти способ вызывать у стали «нервный шок». И тогда водяные пары принялись бы за свое дело. Разумеется, я имею в виду не всякий металлический предмет. Наша цивилизация основана на стали, и большинство ее творений мне не хотелось бы разрушать. Я хотел бы вывести из строя пушки, ружья, снаряды, танки, боевые самолеты, военные корабли. Если бы понадобилось, я бы заставил свой прибор действовать на медь, бронзу, алюминий. Попросту прошел бы около любого оружия, и этого было бы довольно, чтобы оно рассыпалось в прах.

Полковник наклонился над столом и некоторое время разглядывал сержанта. Потом вынул из кармана авторучку с колпачком из ружейного патрона и начал заполнять бланк.

— Я хочу, чтобы сегодня после полудня вы сходили к доктору Мэтьюзу. Пусть он обследует вас. Я не утверждаю, что вы серьезно больны, но мне кажется, что врачебная помощь вам необходима.

— Вы думаете, я обманываю вас, — произнес сержант. — Нет, я говорю правду. Мой прибор так мал, что поместился бы в спичечном коробке. Радиус его действия — девятьсот миль. Я мог бы настроить его на определенный вид стали и за несколько дней объехать всю Америку. Остальные государства не могли бы воспользоваться этим, так как я уничтожил бы любую военную технику, посланную против нас. Потом я уехал бы в Европу. За один месяц я избавил бы мир от страшилища войны. Не знаю в точности, как мне удалось это изобретение. Оно просто невероятно. Совершенно так же невероятно, как атомная бомба. Вот уже месяц я жду и размышляю. Я тоже думал о том, что случится, если сорвать панцирь с черепахи, как вы выразились. А теперь я решился. Беседа с вами помогла мне выяснить все, что нужно. Когда-то никто не представлял себе летательных машин, никто не думал, что атом может быть губительным оружием, и многие сомневаются в том, что когда-нибудь на Земле воцарится мир. Но мир воцарится, уверяю вас.

— Этот бланк вы отдадите доктору Мэтьюзу, — подчеркнуто произнес полковник.

Сержант встал.

— Значит, вы не отправите меня в другой военный округ?

— Нет, пока нет. Пусть решает доктор Мэтьюз.

— Я уже решил, — сказал молодой человек. — Через несколько минут я уйду из лагеря. У меня отпускная. Спасибо за то, что вы потратили на меня столько драгоценного времени.

— Послушайте, сержант, не принимайте этого так близко к сердцу. Вам не нужно уходить. Никто вас не обидит.

— Это верно, потому что никто мне не поверит. Прощайте. — Сержант открыл дверь канцелярии и вышел.

Дверь закрылась, и полковник остался один. С минуту он стоял в нерешительности. Потом вздохнул и провел ладонью по лицу.

Зазвонил телефон. Полковник рассеянно взял трубку.

— Это вы, доктор? Я хочу поговорить с вами. Да, я послал его к вам. Посмотрите, в чем тут дело, почему он так ведет себя. Как вы думаете, доктор? Вероятно, ему нужно немного отдохнуть, у него странные иллюзии. Да-да, неприятно. По-моему, сказались шестнадцать лет войны.

Голос в трубке отвечал ему. Полковник слушал и кивал головой.

— Минутку, я запишу... — Он поискал авторучку. — Подождите у телефона, пожалуйста. Я ищу кое-что...

Он ощупал карманы.

— Ручка только что была тут. Подождите...

Он отложил трубку, оглядел стол, посмотрел в ящик. Потом окаменел. Медленно сунул руку в карман и пошарил в нем. Двумя пальцами вытащил щепотку чего-то. На промокательную бумагу на столе высыпалось немного желтовато-красной ржавчины.

Некоторое время полковник сидел, глядя перед собой. Потом взял телефонную трубку.

— Мэтьюз, — сказал он, — положите трубку. — Он услышал щелчок и набрал другой номер. — Алло, часовой! Каждую минуту мимо вас может пройти человек, которого вы, наверное, знаете: Холлис. Остановите его. Если понадобится, застрелите его, ни о чем не спрашивая. Убейте этого негодяя, поняли? Говорит полковник. Да... убейте его... вы слышите?

— Но... простите... — возразил удивленный голос на другом конце провода. — Я не могу... просто не могу!

— Что вы хотите сказать, черт побери? Как так не можете?

— Потому что...

Голос прервался. В трубке слышалось взволнованное дыхание часового. Полковник потряс трубкой.

— Внимание, к оружию!

— Я никого не смогу застрелить, — ответил часовой.

Полковник тяжело сел.

Он ничего не видел и не слышал, но знал, что там, за этими стенами, ангары превращаются в мягкую красную ржавчину, что самолеты рассыпаются в бурую, уносимую ветерком пыль, что танки медленно

погружаются в расплавленный асфальт дорог, как доисторические чудовища некогда проваливались в ямы — именно так, как говорил этот молодой человек. Грузовики превращаются в облачка оранжевой краски, и от них остаются только резиновые шины, бесцельно катящиеся по дорогам.

— Сэр... — заговорил часовой, увидевший все это. — Клянусь вам...

— Слушайте, слушайте меня! — закричал полковник. — Идите за ним, задержите его руками, задушите его, бейте кулаками, ногами, забейте насмерть, но вы должны остановить его! Я сейчас буду у вас! — и бросил трубку.

По привычке он выдвинул нижний ящик стола, чтобы взять револьвер. Кожаная кобура была наполнена бурой ржавчиной. Полковник с проклятием отскочил от стола.

Пробегая по канцелярии, он схватил стул. «Деревянный, — подумалось ему, — старое доброе дерево, старый добрый бук». Дважды ударил им о стену и разломал. Потом схватил одну из ножек, крепко сжал в кулаке. Он был почти лиловым от гнева и ловил воздух раскрытым ртом. Для пробы сильно ударил ножкой стола по руке — годится, черт побери!

С диким воплем он выбежал и хлопнул дверью.

Мессия

The Messiah 1971 год

Переводчик: О.Акимова

— Всем нам в молодости приходила в голову такая странная мысль, — сказал епископ Келли.

Остальные сидящие за столом зашептались и закивали.

— Нет такого христианина, — продолжал епископ, — которому бы однажды ночью не подумалось: а вдруг я — это Он? Вдруг это оно — долгожданное второе пришествие, мое пришествие? А что, если, что, если... о Господи, что, если я и есть Иисус? Вот было бы здорово!

Католические пасторы, протестантские священники и единственный раввин тихонько засмеялись, вспоминая каждый свою юность, свои собственные безумные мечты и свою тогдашнюю наивность.

— А что же, — спросил молодой священник, отец Нивен, — еврейские мальчики воображают себя Моисеями?

— Нет, нет, дорогой друг, — ответил рабби Ниттлер. — Мессиями! Мессиями!

Все опять негромко посмеялись.

— Ах да, конечно, — на лице отца Нивена заиграл молодой румянец, — какой я дурак. Христос ведь не был Мессией, так? И ваш народ все еще ждет Его пришествия. Странно. Как все неоднозначно.

— Куда уж неоднозначней. — Епископ Келли поднялся и повел всех на террасу, откуда открывался вид на марсианские холмы, древние марсианские города, старинные автострады, песчаные реки и Землю в шестидесяти миллионах миль отсюда, которая ярко светилась на этом чужом небосклоне.

— Разве мы когда-нибудь, в своих самых безумных мечтах, — произнес преподобный отец Смит, — воображали себе, что однажды у каждого из нас будет своя баптистская молельня, или часовня Святой Марии, или синагога Священной горы Синай здесь, на Марсе?

Все без исключения помотали головами.

Внезапно их тихое спокойствие нарушил еще один вклинившийся между ними голос. Пока они стояли у балюстрады, отец Нивен настроил транзистор, чтобы узнать точное время. Из нового марсиано-американского небольшого поселения, которое находилось среди простиравшейся внизу

пустыни, передавали новости. Вот что они услышали:

— ...как говорят, в окрестностях города. Это первое сообщение о марсианине, появившемся в нашей общине в нынешнем году. Мы настоятельно советуем гражданам с уважением относиться к любым подобным гостям. Если...

Отец Нивен выключил приемник.

— Наша неуловимая паства, — вздохнул преподобный Смит. — Должен признаться, я приехал на Марс не только для того, чтобы работать с христианами, но в надежде пригласить хоть одного марсианина на воскресный ужин, узнать о его богословских Учениях, о его нуждах.

— Мы до сих пор слишком в новинку для них, — произнес отец Липскомб. — Думаю, в ближайший год-два они поймут, что мы не какие-то там дикари, охотники за шкурами. И все же любопытство трудно обуздать. В конце концов, фотографии, полученные с «Маринера», не обнаружили здесь никакой жизни. И тем не менее жизнь здесь есть, весьма загадочная и наполовину напоминающая нашу, человеческую.

— Наполовину, ваше преосвященство? — Раввин оторвал от чашки с кофе задумчивый взгляд. Сдается мне, в них больше человеческого, чем в нас самих. Они ведь позволили нам сюда прийти. Они спрятались среди холмов и появляются среди нас лишь изредка, как мы предполагаем, принимая обличье землян...

— Так вы действительно считаете, что они владеют телепатией и гипнозом и могут разгуливать по нашим городам, одурачивая нас своими масками и образами, а мы ни сном ни духом?

— Именно так.

— В таком случае, — сказал епископ, раздавая бокалы с бренди и мятным ликером, — у нас сегодня настоящий вечер разочарований. Марсиане, которым мы, Просвещенные, могли бы принести Спасение, куда-то попрятались...

Тут многие улыбнулись.

— ...а второе пришествие Христа откладывается на несколько тысяч лет. Господи, сколько же нам еще ждать?

— Что касается меня, — вмешался молодой отец Нивен, — я никогда не желал быть Христом второго пришествия. Мне только всегда страстно хотелось повстречаться с Ним. С тех пор как мне исполнилось восемь, я не переставал думать об этом. Должно быть, это и послужило главной причиной, по которой я стал священником.

— Чтобы внутренне быть готовым на случай, если Он все же когда-нибудь явится? — любезно намекнул раввин.

Молодой священник усмехнулся и кивнул. Остальные почувствовали необоримое желание подойти к нему и дружески прикоснуться, ибо в каждом из них он затронул какие-то неуловимо тонкие и приятные струны. Они испытали мощный прилив вселенской любви.

— С вашего позволения, рабби, господа, — произнес епископ Келли, поднимая свой бокал. — За первое пришествие Мессии или второе пришествие Христа. Пусть они окажутся не просто старинными глупыми выдумками.

Они выпили и помолчали.

Епископ сморкнулся и вытер глаза.

Остаток вечера для священников, преподобных и раввина был ничем не отличим от многих других таких же вечеров. Они сели играть в карты и затеяли было спор по поводу святого Фомы Аквинского, но вскоре христиане не выдержали напора просвещенной логики рабби Ниттлера. Обозвав его иезуитом, они выпили на ночь по стаканчику и прослушали последние новости по радио:

«...есть опасения, что этот марсианин может почувствовать себя в нашем обществе, как в ловушке. Любой, кто встретит его, должен отвернуться, чтобы дать марсианину пройти. Похоже, он пришел из любопытства. Для беспокойства нет причин. На этом мы завершаем наш...»

Направляясь к выходу, священнослужители, святые отцы и раввин говорили о переводах Ветхого и Нового Заветов, которые они сделали на разные языки. И тут молодой отец Нивен снова всех удивил:

— А вы знаете, что однажды меня попросили написать сценарий по мотивам Евангелий? Для фильма нужно было придумать финал!

— Но житие Христа, вне всякого сомнения, имеет лишь один финал! — возразил епископ.

— Однако, ваше святейшество, четыре Евангелия рассказывают о нем в четырех различных вариантах. Я сравнивал. И пришел в полный восторг. Почему? Потому что заново открыл для себя то, что почти забыл. Тайная Вечера на самом деле не была последней!

— Господи свят, а какой же еще?

— Ваше святейшество, она была первой из нескольких. Первой из нескольких! Помните, после распятия и погребения Христа Симон-Петр с другими учениками отправились порыбачить в Галилейское море?

— Помню.

— И в сети попало небывалое количество рыбы?

— Да.

— А увидев на берегу Галилеи бледный свет, они причалили и подошли к тому месту, где, как им показалось, лежали раскаленные до бела угли, на которых жарилась свежепойманная рыба?

— Верно, ведь верно же, — сказал преподобный Смит.

— И в этом мягком свечении тлеющих углей, помните, они ощутили присутствие некоего духа и воззвали к нему?

— Да, точно.

— Не получив ответа, Симон-Петр снова прошептал: «Кто здесь?» И тогда неузнанный ими дух над галилейским берегом протянул руку в огонь, и на ладони они увидели рану в том месте, куда вошел гвоздь, незаживающий стигмат, помните?.. Они хотели было бежать, но дух заговорил и сказал: «Возьми эту рыбу и накорми ею братьев своих». И Симон-Петр взял рыбу, которая жарилась на раскаленных добела углях, и накормил апостолов. И тогда призрачный дух Христа сказал: «Возьмите мое слово и распространите его среди народов всего мира и проповедуйте им прощение греха». А потом Христос оставил их. В своем сценарии я написал, что Он идет вдоль берега Галилеи в направлении горизонта. Ведь когда кто-то удаляется в сторону горизонта, кажется, будто он поднимается ввысь, не так ли? Ибо на расстоянии земля словно возвышается. И Он уходил вдаль по берегу, пока не превратился маленькую точку, далеко-далеко. А потом совсем исчез из виду... И по мере того, как солнце вставало над древним миром, тысячи отпечатков Его ног, оставшиеся на песке вдоль берега, стирались дуновением рассветного бриза и пропадали бесследно... И апостолы оставляют рассыпающийся искрами пепел догорающего костра и уходят, храня на губах вкус подлинной, окончательной и истинной Тайной Вечери. И по моему сценарию камера поднимается вверх и с высоты смотрит, как апостолы уходят, кто на север, кто на юг, кто на восток, чтобы рассказать миру то, что нужно рассказать о Сыне Человеческом. И ветер утренней зари стирает с песка расходящиеся во все стороны, будто спицы гигантского колеса, отпечатки их ног. Встает новый день. КОНЕЦ ФИЛЬМА.

Молодой священник стоял посреди своих друзей, щеки его горели ярким румянцем, глаза были закрыты. Внезапно он открыл глаза, словно вспомнив, где находится:

— Простите.

— За что простить? — вскричал епископ, отирая веки тыльной стороной ладони и часто моргая. — За то ли, что вы дважды за вечер заставили меня прослезиться? Вы что, стесняетесь в присутствии вашей

собственной любви к Христу? Да ведь вы вернули мне Слово Божье, мне! — который, казалось, знает Слово Божье уже тысячу лет! О дорогой мой молодой человек с юным сердцем, вы дали моей душе глоток свежей воды. Ужин с рыбой на берегу Галилеи и есть истинная Тайная Вечеря. Bravo. Вы заслуживаете того, чтобы встретиться с Ним. Второе пришествие, честное слово, должно предназначаться вам.

— Я недостоин! — возразил отец Нивен.

— Как и все мы! Но если бы было возможно меняться душами, я бы одолжил кому-нибудь свою, чтобы тут же позаимствовать вашу, чистенькую и незапятнанную. Поднимем еще один тост, господа? За отца Нивена! А теперь спокойной ночи, уже поздно, спокойной всем ночи.

Все выпили и разошлись; раввин и протестантские священники спустились в долину к своим приходам, а католические святые отцы остались на пороге, стоя на холодном ветру, чтобы бросить последний взгляд на эту странную планету Марс.

Наступила полночь, затем час, два, а в три, пронзительно-холодным марсианским утром отец Нивен заворочался в своей постели. С тихим шепотом всколыхнулось пламя свечей. Трепещущая листва забила в окошко.

Внезапно он сел в своей кровати, с каким-то испугом вспомнив приснившийся сон, в котором за ним гналась кричащая толпа. Он прислушался.

И услышал, как где-то далеко внизу хлопнула входная дверь.

Накинув домашний халат, отец Нивен спустился по темной лестнице своего пасторского жилища вниз и прошел через церковь, где все еще горели около дюжины свечей, выхватывавших из темноты редкие пятна света.

Он по очереди проверил все двери, думая: «Какая глупость — запирать церкви! Что здесь можно своровать?» И все же крадучись продолжил свой путь в этой спящей тьме...

...и обнаружил, что главная дверь церкви не заперта и тихонько хлопает на ветру.

Он, дрожа, закрыл дверь.

Послышался шорох убегающих ног.

Отец Нивен резко обернулся.

Церковь была безлюдна. Колеблющиеся огоньки свечей ложились то в одну сторону, то в другую. Слышался только древний запах воска и тлеющего ладана — материй, оставшихся от ярмарки ушедших эпох и

истории; иных рассветов, иных закатов.

Скользнув взглядом по распятию над главным алтарем, отец Нивен вдруг остановился и похолодел.

Во мраке слышался звук падающих капель воды.

Он медленно обернулся к баптистерию, расположенному в глубине церкви.

Там не горело ни одной свечи, и все же...

Из небольшого углубления, где стояла купель со святой водой, лился бледный свет.

— Епископ Келли? — едва слышно позвал отец Нивен.

Медленно входя в придел церкви, он вдруг похолодел еще больше и остановился, ибо...

Еще одна капля упала, ударилась о поверхность воды и растворилась в ней.

Как будто где-то протекал кран. Но никаких кранов здесь не было. Лишь сама купель, в которую неторопливо, с промежутком в три удара сердца, падали капля за каплей.

Где-то в заповедном уголке сердце отца Нивена что-то шепнуло ему, бешено забилось, потом замедлило бег и почти остановилось. И внезапно отца Нивена прошиб жуткий пот. Он чувствовал, что не способен пошевелиться, но надо было идти: шаг за шагом, он подошел к сводчатому проему баптистерия.

В темноте этого укромного местечка действительно виднелось бледное свечение.

Нет, это был не свет. А фигура. Чей-то силуэт.

Он возвышался позади купели. Звуки падающей воды прекратились.

Отец Нивен в ослеплении стоял, онемев, словно язык прилип к гортани, с широко раскрытыми безумными глазами. Наконец видение обернулось к нему, и он осмелился крикнуть:

— Кто!

Одно-единственное слово, эхо которого раскатилось по всем уголкам церкви, заставив бешено заплясать огоньки свечей, взметнув пропитанную ладаном пыль и заставив сердце самого отца Нивена сжаться от страха, мгновенно вернувшись к нему криком: Кто!

Единственный свет внутри баптистерия исходил от белых одежд стоящей лицом к нему фигуры. И этого света было достаточно, чтобы он увидел невероятное.

Отец Нивен увидел, как фигура пошевелилась. Она простерла бледную длань над купелью.

Рука повисла в воздухе, словно нехотя, словно она жила отдельно от стоящего позади нее призрака, словно кто-то взял ее и насильно протянул вперед, чтобы показать перепуганному и зачарованному отцу Нивену то, что находилось в центре этой открытой белой ладони.

Там была рана с рваными краями, круглая дырка, из которой постепенно, капля за каплей, вытекала кровь, медленно капая в церковную купель.

Капельки крови ударялись о поверхность святой воды, окрашивая ее в багряный цвет, и расплывались медленной рябью.

На какое-то мгновение рука застыла в воздухе перед глазами ошеломленного, ослепленного и прозревшего священника.

Будто подкошенный ураганным порывом ветра, священник, издав крик то ли отчаяния, то ли озарения, рухнул на колени, одной рукой прикрывая глаза, а другой отгоняя от себя призрак.

— Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, этого не может быть!

Словно какой-то ужасный садист зубной врач накинулся на него и одним движением, без наркоза вырвал целиком, как кровоточащий кусок сырого мяса, душу из тела. Он почувствовал себя пойманным в капкан, жизнь его рванулась прочь, но ее корни, слава богу, оказались глубоки!

— Нет, нет, нет, нет!

И все же — да.

Он снова взглянул сквозь сплетение пальцев.

Фигура была еще там.

И страшная кровавая ладонь, дрожа и роняя капли, простиралась над купелью.

— Довольно!

Рука отодвинулась назад и исчезла. Дух остановился в ожидании.

Лик Его был добрым и знакомым. А эти необычные, прекрасные, глубокие и пронизательные глаза были как раз такими, какими он всегда их себе представлял. Мягко очерченные губы, бледное лицо в обрамлении струящихся локонов волос и бороды. Человек был облачен в простые одежды, истрепанные прибрежными и пустынными ветрами Галилеи.

Огромным усилием воли священник сдержал готовые пролиться слезы, умерил мечущееся в своей груди изумление, сомнение, потрясение — все эти бессмысленные чувства, которые всколыхнулись в его душе, грозя вырваться наружу. Он задрожал.

И тут он увидел, что Видение, Дух, Человек, Призрак-или-Кто-Бы-Он-Ни-Был тоже дрожит.

«Нет, — подумал священник. — Этого не может быть! Он боится?»

Боится... меня?»

Теперь уже Дух затрясся — подобно ему, будто зеркальный образ его собственных конвульсий, — словно в агонии, широко раскрыл рот, зажмурился и простонал:

— О, пожалуйста, отпусти меня!

Тут молодой священник еще шире открыл глаза и выдохнул. В голове его мелькнуло: «Но ведь ты свободен. Никто здесь тебя не держит!»

И в то же мгновение раздалось:

— Держит! — вскричал Призрак. — Ты держишь меня! Пожалуйста! Отведи свой взгляд! Чем дольше ты смотришь на меня, тем больше я становлюсь этим! Я не тот, каким кажусь!

«Но ведь, — подумал священник, — я ничего не сказал! Мои губы не шевелились! Откуда этот Дух узнал мои мысли?»

— Мне известно все, о чем ты думаешь, — сказал дрожащий и бледный Призрак, отступая во мрак баптистерия. — Каждая фраза, каждое слово. Я не собирался приходить сюда. Я отважился войти в город. И вдруг превратился во множество вещей для множества разных людей. Я побежал. Они — за мной. Я спрятался здесь. Дверь была открыта. Я вошел. И тут, и тут — ох, — и тут я оказался в ловушке.

«Нет», — подумал священник.

— Да, — плаксиво сказал Дух. — Ты меня поймал.

Медленно, кряхтя под еще более тяжким и ужасным бременем прозрения, священник подтянулся, схватившись за край купели, и, качаясь, встал на ноги. Наконец он осмелился выдавить из себя вопрос:

— Ты не тот... каким кажешься?

— Не тот, — ответил Призрак. — Извини.

«Я сейчас сойду с ума», — подумал священник.

— Не надо, — сказал Призрак, — иначе я тоже сойду с ума.

— Я не могу отпустить тебя — о Господи, — раз уж ты явился после всех этих лет, всех моих мечтаний, — разве не видишь, это для меня слишком. Две тысячи лет все человечество ждало твоего возвращения! И я, я — тот, кто встретил тебя, кто видит тебя...

— Ты встретился лишь со своим собственным мечтаньем. Ты видишь только то, что тебе нужно видеть. Без всего этого... — фигура прикоснулась к своим одеждам на груди, — я выгляжу совсем иначе.

— Что же мне делать?! — воззвал священник, глядя теперь уже то на небеса, то на призрака, который вздрогнул от его крика. — Что?

— Отведи взгляд. В это мгновение я выбегу за дверь и скроюсь.

— Вот так... просто?

— Прошу тебя, — сказал Человек.

Священник, дрожа, сделал несколько вдохов.

— О, если б это мгновение могло длиться хотя бы час.

— Ты что, хочешь убить меня?

— Нет, что ты!

— Если ты насильно удержишь меня в этой форме еще немного, моя смерть будет на твоей совести.

Священник прикусил кулак, и дрожь сожаления пронизала его с ног до головы.

— Так значит, ты... ты марсианин?

— Он самый.

— И я сделал это с тобой моими собственными мыслями?

— Невольно. Когда ты спустился по лестнице вниз, твоя давняя мечта охватила меня и преобразовала. Мои ладони до сих пор кровоточат от ран, которые ты достал из тайных закоулков своего разума.

Священник в изумлении покачал головой.

— Еще секунду... подожди.

Он напряженно и жадно взгляделся в темноту, из которой проступал светлый лик Духа. Лик этот был прекрасен. А эти руки — какая неопишуемая нежность была в этих руках.

Священник кивнул, его обуяла такая грусть, словно меньше часа назад он прошел через настоящую Голгофу. И час истек. И гаснущие угли рассыпались по песку у Галилейского моря.

— А если... если я отпущу тебя...

— Отпусти, отпусти меня!

— Если я отпущу тебя, ты обещаешь...

— Что?

— Ты обещаешь мне возвращаться?

— Возвращаться? — вскричала фигура в темноте.

— Один раз в год, это все, что я прошу, приходить один раз в год сюда, к этой самой купели, в этот же самый ночной час...

— Приходить?..

— Обещай мне! О, я должен снова пережить этот момент. Ты не представляешь, как для меня это важно! Обещай мне, или я тебя не отпущу!

— Я...

— Обещай мне! Поклянись!

— Я обещаю, — сказал бледный призрак во мраке. — Я клянусь.

— Спасибо, о спасибо.

— В какой день года отныне я должен являться?

Теперь уже слезы текли по щекам молодого священника. Он с трудом вспомнил, что хотел сказать, а произнося эти слова, он едва мог их расслышать:

— На Пасху, о Господи, да, на Пасху через год!

— Пожалуйста, не плачь, — сказала фигура. — Я приду. На Пасху, говоришь? Мне известен ваш календарь. Да. А теперь... — Израненная бледная рука простерлась в тихой мольбе. — Можно мне уйти?

Священник до хруста стиснул зубы, сдерживая рвущийся из груди крик горестного отчаяния.

— Благослови меня и уходи.

— Вот так? — спросил голос.

Рука, простершаяся из темноты, прикоснулась к нему с невыразимой нежностью.

— Скорее! — вскричал священник, зажмуривая глаза и крепко прижимая к груди кулаки, чтобы не дать себе схватить эту руку. — Уходи, пока я не пленил тебя навеки. Беги, беги!

Бледная рука в последний раз коснулась его чела. Послышался тихий топот убегающих босых ног.

Дверь распахнулась в звездное небо; и захлопнулась вновь.

И еще долго гулкое эхо носилось по церкви, отдаваясь в каждом алтаре, в каждой алькове и улетаая ввысь незрячим метанием одинокой птицы, ищущей и обретающей освобождение под высокими сводами. Наконец церковь перестала содрогаться, и священник возложил на себя руки, словно говоря самому себе, как дальше себя вести, как дышать; хранить спокойствие, молчание, мужество...

В конце концов он спотыкаясь подошел к двери и протянул к ней руку, желая распахнуть ее во всю ширь, выглянуть на дорогу, которая в этот час, наверное, была пустынна, и, возможно, увидеть исчезающую вдали белую фигуру. Он не стал открывать дверь.

Он пошел вокруг церкви, радуясь предстоящей работе, завершая ритуал запираания дверей. Немалый путь, чтобы обойти все двери. Немалый путь до следующей Пасхи.

Священник остановился у купели и увидел в ней лишь чистую воду, без всяких следов крови. Он погрузил в нее руку и смочил ею лоб, виски, щеки и веки.

Затем медленно вошел в придел и пал ниц перед алтарем, дав волю горьким и безутешным рыданиям. Он слышал, как его печаль то взмывает в агонии, то вновь возвращается из-под сводов башни, где висел молчаливый

колокол.

Ему было о чем плакать.

О себе.

О человеке, который только что был здесь.

О том, как долго еще ждать, пока вновь откатят камень и найдут могилу пустой.

Пока Симон, названный Петром, снова увидит над марсианским берегом дух и самого себя, Симона-Петра.

Но более всего он плакал оттого, что — увы, увы, — оттого, что... никогда в жизни он не сможет поведать об этой ночи никому...

Дж. Б. Шоу — Евангелие от Марка, глава V

G.B.S. — Mark V 1976 год [\[27\]](#)

Переводчик: О.Акимова

— Чарли! Куда ты?

Окликнули его проходящие мимо члены космического экипажа.

Чарльз Уиллис не ответил.

По вакуумной трубе он направился вниз, сквозь приветливое гудение в недрах корабля. Он падал вниз, размышляя: «Вот он, великий час».

— Чак! Куда ты направляешься? — окликнул кто-то.

На встречу с тем, кто мертв и в то же время жив, холоден, но тепло приветлив, вечно недосыгаем, но каким-то образом всегда оказывается рядом.

— Идиот! Дурак!

Эхом отозвалось вслед. Он улыбнулся.

Затем он увидел Клайва, своего лучшего друга, который плыл ему навстречу. Он отвел глаза, но Клайв пропел ему по радионаушнику, напоминающему морскую раковину:

— Нам надо поговорить!

— Позже! — крикнул Уиллис.

— Я знаю, куда ты идешь. Дуралей!

И Клайв пронесся мимо него вверх, а Уиллис, с дрожью в руках, мягко продолжил свое падение вниз

Ботинки его коснулись поверхности. В тот же миг он вновь пережил ощущение наслаждения.

Он двинулся мимо скрытых механизмов ракеты. «Боже, — думал он, — безумцы. Мы в глубоком космосе, сто дней, как оставили Землю, и в этот самый момент большинство членов экипажа лихорадочно накручивают диски своих афродизиакальных аниматронов, которые ласкают и убаюкивают их в тесных раковинах рейферных кроватей. А я, что я делаю? — думал он. — А вот что».

Уиллис подошел и заглянул в тесную складскую каморку.

Там в вечной полутьме сидел старик.

— Сэр, — произнес Уиллис и смолк в ожидании.

— Шоу, — прошептал тот, — Мистер Джордж Бернад Шои.

Глаза старика широко распахнулись, словно его только что осенила Мысль.

Обхватив свои костлявые коленки, он издал резкий хохочущий вскрик.

— Ей-богу, принимаю ее целиком и полностью!

— Принимаете что, мистер Шоу?

Мистер Шоу бросил на Чарльза Уиллиса искрометный взгляд своих голубых глаз.

— Вселенную! Она думает, следовательно, я существую! Поэтому не лучше ли мне принять ее? Садись.

Уиллис сел в затененной части комнаты, сжимая руками колени, испытывая внутри уютное блаженство оттого, что он снова находится здесь.

— Мой юный Уиллис, должен ли я прочесть твои мысли и поведать тебе о том, к каким выводам ты пришел со времени нашего последнего разговора?

— Вы умеете читать мысли, мистер Шоу?

— Слава Господу, нет. Было бы, наверное, ужасно если б я был не только иероглифической табличкой, роботом Джорджа Бернарда Шоу, но умел еще и сканировать ваши мозговые шишки и озвучивать ваши сны? Это было бы невыносимо.

— Но вы уже читаете мысли, мистер Шоу.

— *Touche!*^[28] Ладно, итак. — Старик поскреб тонкими пальцами свою рыжеватую бородку и легонько ткнул Уиллиса под ребро. — Как вышло, что ты единственный на борту этого корабля, кто навещает меня?

— Видите ли, сэр...

На щеках молодого человека расцвел непрощенный яркий румянец.

— Да, да, понимаю, — произнес Шоу. — Все пчелки-самцы, доверху заполнившие этот космический улей, сидят каждый в своей сотовой ячейке со своими сиропными, надутыми, сладкоголосыми и шустроглазыми куклами, со своими распрекрасными женщинами-марионетками.

— И по большей части тупыми.

— М-да. Но так было не всегда. Во время моего прошлого путешествия Капитан пожелал сыграть со мной в «скрэбл», используя только имена персонажей, понятий и идей из моих пьес. Итак, странный юноша, почему же ты околачиваешься здесь в компании этого отвратительного старого эго? У тебя нет потребности проводить время в приятном и спокойном обществе там, наверху?

— Нам еще долго лететь, мистер Шоу, два года в один конец, за орбиту

Плутона, потом обратно. У меня полно времени для общества наверху. А для вашего общества времени никогда не бывает достаточно. У меня фантазии козла, но задатки святого.

— Хорошо сказано! — Старик легко вскочил на ноги и зашагал по комнате, тыча бородой то в сторону Альфы Центавра, то в сторону туманности Ориона. — Так что у нас сегодня в меню, Уиллис? Стоит ли мне для затравки прочесть тебе из святого Иоанна? Или?..

— Чак?..

Уиллис резко вскинул голову. Радиоракушка шептала ему на ухо:

— Уиллис! Это Клайв. Опоздаешь к обеду. Я знаю, где ты. Спускаюсь.

Чак...

Уиллис ударил себя по уху. Голос прервался.

— Быстрее, мистер Шоу! Вы можете... ну, в общем... бегать?

— Может ли Икар упасть, поднявшись к солнцу? Драпай! А я буду задавать тебе темп на этих ходульных ногах!

Они побежали.

Вместо воздушной трубы они стали подниматься наверх по винтовой лестнице и, оглянувшись на вершине платформы, увидели, как тень Клайва как раз метнулась в ту могилу, где Шоу умер только для того, чтобы снова пробудиться.

— Уиллис! — донесся крик Клайва.

— К черту его, — произнес Уиллис.

Шоу просиял улыбкой.

— Черт? Отлично с ним знаком. Идем. Я провожу тебя!

И с хохотом вскочив в трубу невесомости, они стали падать вверх.

Это было место звезд.

То есть это было единственное место на всем корабле, куда при желании можно было прийти и по-настоящему взглянуть на Вселенную и на миллиарды и миллиарды звезд, которые потоком лились навстречу и этот поток никогда не иссякал, словно взбесившиеся молочные реки, выливающиеся из божественных молочных бидонов. Восхитительные страшилки, или, с другой стороны, если хотите, следы божественного недомогания Господа Иеговы, погрузившегося в сон, до тошноты уставшего от своего Творения и порождающего динозавровы миры, вращающиеся вокруг сатанинских солнц.

— Все это в голове, — заметил мистер Шоу, скосив глаза на своего юного спутника.

— Мистер Шоу! Так вы умеете читать мысли?

— Чепуха. Я просто читаю лица. Твое лицо — незамутненное стекло. Стоило мне взглянуть на него, и я увидел страдания Иова, Моисея и Неопалимую Купину. Подойди. Давай заглянем в Бездну и по смотрим, к чему пришел Господь за те десять миллиардов лет с тех пор, как Он вошел в противоречие с Самим Собой и породил Бесконечность.

Они стояли, наблюдая Вселенную, пересчитывая звезды до миллиарда и дальше.

— О, — простонал молодой человек внезапно, и слезы полились из его глаз. — Как бы мне хотелось жить в то время, когда были живы вы, сэр. Как бы мне хотелось по-настоящему быть знакомым с вами.

— Этот Шоу лучше, — возразил старик, — одна начинка, никаких оберток. Бревно для утопающего лучше человека. Хватайся за него и выплывешь.

Вокруг простирался Космос — безбрежный, как первая мысль Бога, глубокий, как Его первый вдох.

Они стояли — один высокий, другой коротенький — у сканирующего окна, из которого открывался великолепный вид на огромную туманность Андромеды, и на чем бы они ни пожелали сосредоточить свой взгляд, стоило лишь прикоснуться к кнопке, которая увеличивает Изображение, и «высосать» крупный план.

Вдосталь напившись звездами, молодой человек испустил вздох.

— Мистер Шоу?.. Скажите это. Вы знаете, что я хочу услышать.

— Разве, мой мальчик? — Глаза мистера Шоу блеснули.

Весь Космос был вокруг них, вся Вселенная, вся эта ночь небесного Бытия, все звезды и все межзвездное пространство, и корабль, бесшумно летящий своим курсом, и члены экипажа, занятые работой, играми или тискающие своих амурных кукол, — но эти двое были одни, наедине со своей беседой, эти двое стояли, глядя на Тайну Мироздания и говоря то, что должно быть сказано.

— Скажите это, мистер Шоу.

— Ну что ж...

Мистер Шоу остановил взгляд на одной из звезд, что находилась в двадцати световых годах.

— Что мы такое? — спросил он. — Мы, мы — чудесное сочетание силы и материи, переплавляющей самое себя в воображение и волю. Невероятно. Жизненная Сила, экспериментирующая с формами. Ты — одна форма. Я — другая. Вселенная во всеуслышание заявила о себе: я живая. Мы — один из ее позывных. Мироздание возвращается в свой первозданный хаос. Мы надоели ему, представляя себя в своих снах то тем,

то этим. Пустота заполнена сновидениями; десять миллиардов и миллиардов и миллиардов бомбардировок светом и материей, у которых нет осознания самих себя, которые движутся, но спят и пребывают в движении лишь для того, чтобы в конце концов образовался живой глаз и они могли пробудиться и увидеть себя. Среди всей этой груды шелухи и невежества мы есть слепая сила, которая, подобно Лазарю, на ощупь пытается выйти из могилы глубиной в миллиард световых лет. Мы сами призываем себя. Мы говорим: О Жизненная Сила Лазаря, воистину выйди наружу. И тогда Вселенная, круговорот смертей, на ощупь протягивает руку сквозь Время, дабы ощутить собственную плоть и узнать, что эта плоть наша. Наши руки встречаются в одном прикосновении, и мы находим друг друга удивительными, поскольку мы — Единое целое.

Мистер Шоу оглянулся бросить взгляд на своего юного друга.

— Вот то, что ты просил. Доволен?

— О да! Я...

Молодой человек запнулся.

У них за спиной в дверном проеме смотровой комнаты стоял Клайв. За ним слышалась музыка, пульсация которой доносилась из дальних жилых комнат, где члены команды вместе со своими огромными куклами играли в любовные игры.

— Так, — сказал Клайв, — что тут происходит?..

— Тут? — прервал его Шоу, веселясь. — Всего лишь слияние двух энергий, стремящихся отгадать кое-какие загадки. Сей хитроумный агрегат, — он ткнул себя в грудь, — говорит, исходя из заложенных в его компьютер восторженных эмоций. А вон та генетическая конструкция, — он кивнул на своего юного друга, — отвечает, исходя из своих незрелых, прекрасных и истинных порывов. Что получается в результате данного сложения? Сущий ад, который мы намазываем на булку и поедаем с чаем за ужином.

Клайв перевел взгляд на Уиллиса.

— Черт, вы просто спятили. Слышал бы ты, какой хохот стоял сегодня за обедом! Ты и этот старик — голубки — болтаете и болтаете! — говорили про вас. Просто болтаете и болтаете! Слушай, идиот, через десять минут у тебя дежурство. Так что будь на месте! Боже!

Дверной проем снова опустел. Клайв ушел.

Медленно-медленно Уиллис и мистер Шоу поплыли вниз по трубе в сторону складской каморки, скрытой под огромными машинными узлами.

Старик вновь уселся на пол.

— Мистер Шоу, — Уиллис потряс головой, не громко всхлипнув, —

Черт. Отчего мне кажется, что вы живее, чем все, кого я когда-либо знал?

— Оттого, мой дорогой юный друг, — мягко ответил старик, — что Идеи согревают твою душу, верно? Я ходячий памятник идей, витиеватых сплетений мысли, электрических философских бредней и чудес. Ты любишь идеи. Я — их вместилище. Ты любишь сны в движении. Я движусь. Ты любишь поболтать о том о сем. Я самый совершенный собеседник для такой болтовни. Ты и я, мы вместе пережевываем Альфу Центавра и выплевываем общепризнанные мифы. Мы вгрызаемся в хвост кометы Галлея и рвем на куски туманность Конская голова, пока она не возопит о пощаде во весь свой чудовищный голос и не отдастся во власть нашего творения. Ты любишь библиотеки. Я — хранилище книг. Пощекочи мои ребра, и из меня посыплются мелвилловские Белый кит, Призрачный фонтан^[29] и все остальное. Дерни меня за ухо, и мой язык выстроит для тебя Платоново государство, в котором ты можешь укрыться и жить.^[30] Ты любишь игрушки. Я — Игрушка, удивительная кукла, компьютеризированный...

— ...друг, — тихо подсказал Уиллис.

Мистер Шоу бросил на него взгляд, в котором было больше тепла, нежели пламени.

— Друг, — произнес он.

Уиллис повернулся, чтобы уйти, но затем остановился и оглянулся на эту странную фигуру старика, прислонившегося к темной стене складской каморки.

— Мне... мне страшно уходить. Я так боюсь, что что-нибудь с вами случится.

— Я выживу, — с саркастической ухмылкой ответил Шоу, — но только в том случае, если ты предупредишь капитана, что к нам приближается большой метеоритный дождь. Мы должны изменить курс на несколько сот тысяч миль. Договорились?

— Договорились.

Но Уиллис по-прежнему медлил.

— Мистер Шоу, — сказал он наконец. — Что... что вы делаете, пока все остальные спят?

— Что делаю? Господь с тобой. Слушаю свой внутренний камертон. А затем сочиняю симфонии, которые звучат в моих ушах.

Уиллис ушел.

В темноте, в одиночестве старик склонил голову. И ласковый рой полных пчел начал свое медово-сладкое негромкое жужжание.

Четыре часа спустя Уиллис, сменившись с дежурства, прокрался в свою спальную комнатку.

В полумраке его поджидал чей-то рот.

Это был рот Клайва. Он лизнул его в губы и прошептал:

— Все говорят. О том, что ты, как последний дурак, бегаешь к этому двухсотлетнему интеллектуальному мастодонту, ты, ты, ты. Господи, завтра же отправишься к психологу, пусть просветит рентгеном твои глупые мозги!

— Это лучше, чем заниматься тем, чем вы, ребята, занимаетесь каждую ночь, — сказал Уиллис.

— Мы занимаемся тем, что в нашей натуре.

— Тогда почему бы вам не позволить мне заниматься тем, что в *моей* натуре?

— Потому что это неестественно. — Язык облизал его губы и метнулся в его рот. — Мы все скучаем по тебе. Сегодня вечером мы сложили в кучу все свои большие игрушки посреди пустой комнаты и...

— Я не хочу этого слушать!

— Ну что ж, тогда, — сказал рот, — мне стоит всего лишь быстренько сбегать вниз и рассказать все это старому джентльмену, твоему приятелю...

— Не смей даже приближаться к нему!

— Я вынужден, — шелестели во тьме его губы. Ты не можешь все время стоять возле него на страже. Очень скоро, однажды ночью, когда ты будешь спать, кто-то может... поковыряться в нем, а? Взболтать его электронные яйца, так что он начнет петь водевили, вместо того чтобы читать святого Иоанна? Да, точно. Представь. Путь еще долгий. Команда скучает. Реальный прикол, я б отдал миллион, чтобы посмотреть, как ты будешь кипятиться. Берегись, Чарли. Лучше иди играть вместе с нами.

Уиллис, закрыв глаза, дал волю своему гневу.

— Любой, кто осмелится тронуть мистера Шоу, да поможет мне Бог, будет убит!

Он в ярости повернулся на бок, закусив кулак.

В полутьме он чувствовал, как рот Клайва продолжает двигаться.

— Убит? Ладно, ладно. Жаль. Спокойной ночи.

Час спустя Уиллис заглотил пару пилюль и провалился в сон.

В ночи ему снилось, что благого святого Иоанна жгут на костре и в разгар казни какая-то некрасивая девушка обратилась к старику, на манер греческих стойков опутанного веревками и виноградными лианами. Борода

старика была огненно-рыжей, хотя огонь до нее еще не добрался, а его ясные голубые глаза были неистово устремлены в Вечность, презирая пламя.

— Отрекись! — взывал ее голос. — Покайся и отрекись! Отрекись!

— Мне не в чем каяться, а значит, нет необходимости в отречении, — спокойно ответил старик.

Языки пламени набросились на его тело, словно стая обезумевших мышей, спасающихся от пожара.

— Мистер Шоу! — вскрикнул Уиллис.

Он проснулся и подскочил на кровати.

Мистер Шоу.

В комнате было тихо. Клайв спал в своей кровати.

На лице его играла улыбка.

Увидев эту улыбку, Уиллис с криком отскочил назад. Он оделся. И побежал.

Он падал, словно осенний лист, в аэротрубе, с каждым нескончаемым мгновением становясь старше и тяжелее.

В складской камере, где «спал» старик, было гораздо тише, чем обычно.

Уиллис наклонился. Рука его задрожала. Наконец он прикоснулся к старику.

— Сэр?..

Тот остался неподвижен. Борода его не ошетибилась. И глаза не загорелись голубым огнем. И губы не взрогнули, произнося дружеские проклятия...

— О мистер Шоу, — произнес Уиллис. — Значит, вы мертвы, господа, вы действительно мертвы?

Старик был мертв, если можно так сказать о машине, которая перестала говорить, генерировать электрические заряды мысли, двигаться. Его фантазии и философские высказывания, словно снег, застыли на его сомкнутых губах.

Уиллис поворачивал тело так и эдак, пытая отыскать какой-нибудь надрез, рану или кровоподтек на коже.

Он думал о предстоящих годах, долгих годах пути, когда не будет рядом мистера Шоу, с которым можно вести беседы, просто поболтать, посмеяться. Женщины, лежащие на складских полках, да, женщины в койках поздними вечерами, хохочущие своими странными, записанными на пленку голосами совершающие свои странные механические движения и произносящие те же глупые слова, которые произносились среди тысяч

ночей, в тысячах миров.

— О мистер Шоу, — прошептал он наконец. Кто это с вами сделал?

«Тупица, — прошелестел голос в памяти мистера Шоу. — Ты знаешь кто».

«Я знаю», — подумал Уиллис.

Он прошептал имя и выбежал прочь.

— Черт тебя подери, ты убил его!

Уиллис сорвал простыни с Клайва, и в тот же миг Клайв, как робот, широко распахнул глаза. Улыбка на его губах осталась неизменной.

— Нельзя убить то, что никогда не было живым, — сказал он.

— Сукин сын!

Он ударил Клайва по зубам, и Клайв вскочил на ноги, хохоча как припадочный, утирая кровь с губы.

— Что ты с ним сделал? — кричал Уиллис.

— Ничего особенного, просто...

Но тут их разговор был прерван.

— По местам! — раздалась команда. — Угроза столкновения по курсу! Зазвонили сигнальные колокола. Завыли сирены.

Не завершив своего гневного разбирательства, Уиллис и Клайв с проклятиями повернулись к стене комнаты, чтобы извлечь оттуда спасательные скафандры и шлемы.

— Черт, проклятье, ах ты ж ч... Посреди своего последнего ругательства Клайв вдруг задохнулся. Он исчез сквозь внезапно образовавшуюся дыру в боку корабля.

Метеорит влетел и вылетел за миллиардную долю секунды. Вылетая, он прихватил с собой весь воздух из корабля, выпустив его сквозь дыру размером с небольшой автомобиль.

«Боже мой, — подумал Уиллис, — он сгинул навсегда».

Уиллиса спасла оказавшаяся рядом лестница, о которую его расплющил стремительный поток воздуха, вылетающего в космическое пространство. Какое-то мгновение он не мог ни пошевелиться, ни вздохнуть. Затем поток иссяк, из корабля вышел весь воздух. Времени оставалось только на то, чтобы отрегулировать давление в скафандре и шлеме и растерянно осмотреться по сторонам, глядя на потерявший курс корабль, обстреливаемый, как в звездных войнах. Повсюду с дикими криками бегали, или скорее проплывали, люди.

«Шоу, — промелькнула шальная мысль, и Уиллис расхохотался. — Шоу».

Последний метеор из этого метеоритного потока врезался в двигательный отсек ракеты и разнес корабль в клочья. Шоу, шоу, ох, шоу, — думал Уиллис.

Он увидел, как космический корабль, словно лопнувший шар, улетает вдаль, так как все содержавшиеся в нем газы лишь способствовали еще большему разрушению. Вместе с обломками и осколками из него вылетело множество обезумевших людей, вышвырнутых из школы, из жизни, из всего на свете, чтобы никогда больше не встретиться вновь и даже не попрощаться, эта отставка оказалась для них такой внезапной, а их смерть и одиночество стали для них столь мгновенным сюрпризом.

«Прощайте», — подумал Уиллис.

Но попрощаться было уже не с кем. В его наушниках не было слышно ни стоны, ни жалобы. Из всей команды он был последним, окончательным и единственным оставшимся в живых благодаря своему скафандру, шлему, чудом уцелевшему кислороду. Но для чего? Чтобы остаться в одиночестве? В свободном падении?

В одиночестве. В свободном падении.

«О мистер Шоу, о сэр», — думал он.

— А вот и я, легок на помине, — прошептал чей-то голос.

Невероятно, но...

Дрейфуя и вращаясь, во мгле, словно гонимая дыханием Господа, плыла, подчиняясь его прихоти, старая кукла с огненно-рыжей бородой и сверкающими голубыми глазами.

Уиллис инстинктивно раскрыл объятия.

И принял в них милого старика, улыбающегося и тяжело дышащего или, по своему обыкновению, притворяющегося, будто он тяжело дышит.

— Так, так, Уиллис! Ничего себе вечеринка, а?

— Мистер Шоу! Вы же были мертвы!

— Чепуха! Кое-кто погнул во мне кое-какие проводки. От удара все встало на свое место. Разрыв находится здесь, под подбородком. Злодей ударил меня ножом вот сюда. Так что, если я снова умру, дай мне хорошенько в челюсть, и соединение восстановится, хорошо?

— Да, сэр!

— Сколько провизии у тебя с собой на данный момент, Уиллис?

— Достаточно, чтобы протянуть двести дней в космосе.

— Надо же, отлично, отлично! А самовосполняемого запаса кислорода тоже на двести дней?

— Да, сэр. А как долго протянут ваши батареи, мистер Шоу?

— Десять тысяч лет! — счастливо пропел старик. Да, да, клянусь,

честное слово! Я оснащен солнечными батареями, которые будут накапливать божественный вселенский свет, пока мои микросхемы не износятся.

— Значит, вы переговорите меня, мистер Шоу, и будете болтать еще долго после того, как я перестану есть и дышать.

— Отсюда вывод: ты должен обедать разговорами и дышать причастиями вместо воздуха. Но прежде всего нам следует подумать о спасении. Каковы наши шансы?

— Космические корабли здесь точно пролетают. Кроме того, у меня есть радиопередатчик, посылающий сигналы...

— Который даже сейчас кричит во мгле: я здесь вместе со стариной Шоу, верно?

«Я здесь вместе со стариной Шоу», — подумал Уиллис, и вдруг ему стало тепло посреди этой вечной зимы.

— Что ж, тогда в ожидании спасения, Чарльз Уиллис, что мы будем делать дальше?

— Дальше? Ну...

Они падали в космическом пространстве совсем одни, но не одинокие, объятые страхом и наслаждением, внезапно притихшие.

— Скажите это, мистер Шоу.

— Что именно?

— Вы знаете. Скажите это еще раз.

— Что ж, ладно. — Они лениво кружили, держась друг за друга. — Разве жизнь не является чудом? Да, это материя и сила, но материя и сила, переплавляющая самое себя в разум и волю.

— И это *то*, чем являемся мы, сэръ?

— Да, это мы, ставлю десять тысяч новехоньких оловянных дудок, это мы. Я могу *продолжать*, юный Уиллис?

— Пожалуйста, сэръ, — рассмеялся Уиллис. — Я хочу, чтобы вы продолжали!

Старик говорил, а молодой человек слушал, потом молодой человек говорил, а старик бурно возражал, и они плыли, исчезая за горизонтом Мироздания, питаясь и разговаривая, разговаривая и питаясь: молодой человек жевал питательные шарики, старик поглощал свет солнечными батареями своих глаз, и в миг, когда они скрылись из виду, они отчаянно жестикулировали, беседуя, перебивали друг друга и размахивали руками, пока их голоса не растворились в потоке Времени, и Солнечная система перевернулась во сне на другой бок и накрыла их одеялом, сотканным из тьмы и света, и кто знает, пролетал ли мимо них спасательный корабль под

именем «Рейчел» в поисках своих заблудших детей и нашел ли он их, — кто знает, да и кто на самом деле хочет это узнать?

Идеальное убийство

The Utterly Perfect Murder 1971 год

Переводчик: О.Акимова

Идея убить его была так совершенно продуманна, так невероятно приятна, что я проехал в полубезумном состоянии через всю Америку.

Эта идея отчего-то пришла мне в голову в мой сорок восьмой день рождения. Почему она не пришла ко мне, когда мне было тридцать или сорок, я не знаю. Возможно, это были счастливые годы, и я плыл сквозь них, не замечая времени, не наблюдая часов, не обращая внимания на появляющийся иней на висках и львиный взгляд в зеркале...

Как бы то ни было, в свой сорок восьмой день рождения, ночью, лежа в постели с женой, в то время как во всех остальных, залитых лунным светом, тихих комнатах дома спали мои дети, я подумал:

Сейчас я встану, пойду и убью Ральфа Андерхилла.

Ральф Андерхилл! — вскричал я. — Да кто, черт возьми, он такой?

Убить его тридцать шесть лет спустя? За что?

Ну как же, — подумал я, — за то, что он сделал со мной, когда мне было двенадцать.

Через час, услышав шум, проснулась моя жена.

— Дуг? — позвала она. — Что ты делаешь?

— Собираю вещи, — сказал я. — Для поездки.

— А-а-а-а, — пробормотала она, перевернулась на другой бок и заснула.

— По вагонам! Все по вагонам! — разносились по железнодорожной платформе крики проводников.

Поезд вздрогнул и с грохотом тронулся.

— До встречи! — крикнул я, вскакивая на подножку.

— Когда-нибудь, — отозвалась моя жена, — лучше бы ты полетел!

Лететь? — думал я, — и лишить себя удовольствия размышлять об убийстве, пересекая равнины? Лишить себя удовольствия смазать пистолет, зарядить его и думать о том, каким будет лицо Ральфа Андерхилла, когда я появлюсь тридцать шесть лет спустя, чтобы свести с ним старые счеты? Лететь? Ну нет, лучше уж с рюкзаком на спине идти пешком через всю страну, останавливаясь на ночлег, разводить костер, поджаривая на нем

свою желчь и горькую слюну, и вновь глотать свою застарелую, иссохшую, но все еще живую вражду и потирать так и не зажившие синяки. Лететь?!

Поезд тронулся. Моя жена пропала из виду.

Я начал свой путь в Прошлом.

На вторую ночь, пересекая Канзас, мы попали в ужасную грозу. До четырех утра я не спал, слушая рев ветра и раскаты грома. В самый разгар бури я увидел свое лицо, негативный снимок на темном фоне холодного оконного стекла, и подумал:

Куда едет этот безумец?

Убивать Ральфа Андерхилла!

Зачем? Просто так!

Ты помнишь, как он ударил меня по руке? Синяки. У меня все было в синяках, обе руки; темно-синие, крапчато-черные и странно-желтые синяки. Ударить и убежать, это был Ральф, ударить и убежать...

И тем не менее... ты любил его?

Да, как любят друг друга мальчишки, когда им по восемь, по десять, по двенадцать лет, весь мир невинен, а мальчишки — это зло по ту сторону зла, ибо они не ведают, что творят, и все равно творят. Так что где-то в глубине души я нуждался в том, чтобы меня били. Мы были прекрасными друзьями, которые нуждались друг в друге. Я — чтобы меня били. Он — чтобы бить. Мои шрамы были эмблемой и символом нашей любви.

Что еще заставляет тебя желать смерти Ральфа через столько лет?

Поезд резко засвистел. Мимо проплывал ночной пейзаж.

И я вспомнил, как однажды весной я пришел в школу в новеньком модном твидовом костюмчике, а Ральф, ударив, повалил меня на землю, извалял в снегу и свежей бурой грязи. Ральф хохотал, а я, пристыженный, по уши грязный, боясь предстоящей порки, пошел домой переодеваться в чистое.

Да! А что еще?

Помнишь глиняные фигурки из радио-шоу про Тарзана, которые ты мечтал собрать? Фигурки Тарзана, обезьяны Калы и льва Нумы всего за двадцать пять центов каждая?! Да, да! Потрясные! Даже сейчас в моей памяти звучит этот крик человека-обезьяны, летящего с диким воплем на лианах через джунгли далеко-далеко! Но у кого были эти двадцать пять центов в разгар Великой депрессии? Ни у кого.

Только у Ральфа Андерхилла.

И однажды Ральф спросил тебя, не хочешь ли ты одну из фигурок.

Хочу! — закричал ты. — Да! Да!

Это было как раз на той неделе, когда брат в странном приступе

любви, смешанной с презрением, подарил тебе свою старую, но дорогую бейсбольную перчатку.

— Ладно, — сказал Ральф, — я отдам тебе моего лишнего Тарзана, если ты отдашь мне эту бейсбольную перчатку.

Сумасшедший! — подумал я. — Фигурка стоит двадцать пять центов. А перчатка — два доллара! Никаких торгов! Ни-ни!

И все же я прибежал к дому Ральфа с перчаткой и отдал ему, а он с еще более презрительной ухмылкой, чем у моего братца, вручил мне фигурку Тарзана, и я, прыгая от радости, помчался домой.

Две недели мой брат не догадывался о своей бейсбольной перчатке и фигурке, а когда узнал, то во время загородной прогулки бросил меня одного неизвестно где, в отместку за то, что я был таким дубиной. «Фигурки Тарзана! Бейсбольные перчатки! — прокричал он. — Это последнее, что ты от меня получил в своей жизни!»

И где-то на проселочной дороге я просто лег на землю и заплакал, мне хотелось умереть, но я не знал, как изрыгнуть из себя тот последний вздох, который был моей несчастной душой.

Слышались приглушенные раскаты грома.

Капли дождя застучали в холодные окна пулмановского вагона.

Что еще? Неужели это весь список?

Нет. Есть еще одно, оно страшнее, чем все остальное.

За все те годы, когда на Четвертое июля^[31] ты прибежал к дому Ральфа, чтобы в шесть утра кинуть горсть камешков в его затуманенное росой окно или в конце июля или августа позвать его смотреть, как на рассвете в холодной утренней голубизне вокзала разгружается бродячий цирк, — за все годы он, Ральф, ни разу не прибежал к твоему дому.

Ни разу за все эти годы ни он, ни кто-либо другой не доказал своей дружбы, придя к тебе. Никто не постучался в дверь. Ни разу высоко подброшенная горсть конфетти, песка и камешков не стукнула тихонько, не звякнула об окно твоей спальни.

И ты всегда знал: в тот день, когда ты переставишь приходить к дому Ральфа, чтобы позвать его на заре, вашей дружбе придет конец.

Однажды ты решил проверить. Ты пропал на целую неделю. Но Ральф ни разу не пришел к тебе. Словно ты умер и никто не пришел на твои похороны.

Когда вы снова увиделись с Ральфом в школе, он не выказал никакого удивления, не задал вопроса, не проявил даже малейшего любопытства. Где ты пропадал, Дуг? Мне некого было поколотить. Куда ты запропастился,

Дуг? Мне некого было помучить!

Сложи все эти грехи вместе. Но особенно обрати внимание на этот последний:

Он ни разу не пришел ко мне. Ни разу не пропел у моей утренней постели, не кинул рисовую горсть камешков в чистые стекла моего окна, чтобы позвать меня окунуться в сладость летних дней.

И вот за это, Ральф Андерхилл, — подумал я, сидя в четыре утра, когда стихла гроза, в вагоне поезда, и слезы вдруг навернулись на глаза, — вот за это последнее и решающее преступление завтра вечером я тебя убью.

Убью, — думал я, — через тридцать шесть лет. Господи, да я еще безумнее Ахава.

Поезд издал долгий жалобный крик. Мы неслись по равнине, как механическая фигура греческой Судьбы, влекомая черной железью римской Фурии.

Говорят, в Прошлое вернуться невозможно.

Это ложь.

Если тебе повезет и ты рассчитаешь все правильно, ты прибудешь туда на закате, когда старый город наполнен лучами золотистого света.

Я вышел из поезда и зашагал через Гринтаун, затем остановился перед зданием суда, горевшим в огне закатного солнца. Каждое деревце было увешано разноцветными золотыми дублонами. Каждая крыша, карниз и лепнина сияли, словно чистейшая медь и старинное золото.

Я сел на скамейку в сквере перед зданием суда в окружении собак и стариков и сидел, пока не зашло солнце и Гринтаун не погрузился во тьму. Я хотел насладиться смертью Ральфа Андерхилла.

Никто и никогда за всю историю не совершал подобного преступления.

Выжду момент, убью и уйду: чужой среди чужих.

Ну кто, найдя тело Ральфа Андерхилла на пороге его дома, осмелится предположить, что какой-то двенадцатилетний мальчик, приехавший сюда на поезде, как на машине времени, и движимый чудовищным презрением к самому себе, совершил выстрел из Прошлого? Невозможно представить. Меня спасет мое чистейшее безумие.

Наконец в половине девятого этого прохладного октябрьского вечера я направился за лощину, на другой конец города.

Я совершенно не сомневался, что Ральф живет по-прежнему там же.

В конце концов люди, бывает, переезжают...

Я свернул на Парк-стрит, прошагал двести ярдов до одинокого

фонарного столба и посмотрел на другую сторону улицы. Принадлежавший Ральфу Андерхиллу белый, двухэтажный, в викторианском стиле дом словно ждал меня.

И я чувствовал: Ральф там.

Он там, сорокавосемилетний, а я — здесь, тоже сорокавосемилетний, переполненный застарелой, истасканной и самопожирающей решимости.

Я шагнул в тень, открыл чемодан, положил пистолет в правый карман пальто, закрыл чемодан и спрятал его в кустах, откуда потом возьму его, спущусь в лощину и пойду через город к поезду.

Перейдя улицу, я остановился перед его домом: это был тот самый дом, перед которым я стоял тридцать шесть лет назад. Вот окна, в которые я с любовью и самоотречением швырял весенние букеты камешков. Вот дорожки со следами сгоревших фейерверков, оставшимися от тех далеких праздников Четвертого июля, когда мы с Ральфом взрывали к чертям все подряд, выкрикивая поздравления.

Я поднялся на крыльцо и увидел на почтовом ящике мелкими буквами: АНДЕРХИЛЛ.

А что, если откроет жена?

Нет, подумал я, он сам, неумолимо, как в греческой трагедии, собственноручно откроет дверь, получит пулю и почти с радостью примет смерть за свои старые преступления и грешки поменьше, которые как-то сами собой переросли в преступления.

Я позвонил.

Интересно, узнает ли он меня через столько лет? За мгновение перед тем, как сделаешь первый выстрел, назови ему свое имя. Пусть он знает, кто это.

Тишина.

Я снова позвонил.

Скрипнула дверная ручка.

Слыша, как колотится мое сердце, я потрогал в кармане пистолет, но не вынул его.

Дверь открылась.

На пороге стоял Ральф Андерхилл.

Он заморгал, уставившись на меня.

— Ральф? — произнес я.

— Да-а-а? — вопросительно протянул он.

Не более пяти секунд простояли мы так, лицом к лицу. Но, боже мой, как много всего произошло за эти краткие пять секунд.

Я увидел Ральфа Андерхилла.

Увидел его ясно.

А ведь я не видал его с тех пор, как мне исполнилось двенадцать.

В те времена он, как гора, возвышался надо мной, что давало ему возможность колотить меня, бить и измываться.

Теперь это был маленький старичок.

Во мне пять футов одиннадцать дюймов росту.

Но Ральф Андерхилл остался почти таким же, каким был в свои двенадцать лет.

Человек, стоявший передо мной, был не выше пяти футов двух дюймов.

Теперь я возвышался над ним, как гора.

Я ахнул. Вгляделся. И увидел еще кое-что.

Мне было сорок восемь.

Но в свои сорок восемь Ральф Андерхилл растерял половину волос, а те, что остались, были седые и совсем редкие. Он выглядел на шестьдесят, а то и на шестьдесят пять.

У меня прекрасное здоровье.

А Ральф Андерхилл был бледен как воск.

На его лице читалось: уж он-то хорошо знает, что такое болезнь. Словно он вернулся из какой-то страны, где никогда не светит солнце. Вид у него был опущенный и изможденный. От его дыхания веяло запахом могильных цветов.

И тут, когда я все это увидел, буря прошедшей ночи, словно собрав воедино все свои громы и молнии, обрушилась на меня одним слепящим ударом. Мы словно стояли в эпицентре взрыва.

Так вот ради чего я пришел сюда? — подумал я. — Значит, вот она, истина. Ради этого страшного мгновения. Не для того, чтобы вытащить пистолет. Не для того, чтобы убить. Нет. А чтобы просто...

Увидеть Ральфа Андерхилла таким, каков он теперь.

Вот и все.

Чтобы просто побыть здесь, постоять и посмотреть, каким он стал.

Ральф Андерхилл в каком-то немом удивлении поднял руку. Губы его задрожали. Он непрестанно окидывал меня взглядом с ног до головы, разумом пытаясь осознать, что за великан стоит в проеме двери. Наконец послышался его голос — такой тихий и слабый:

— Дуг?..

Я отступил на шаг.

— Дуг? — выдохнул он, — это ты?

Этого я не ожидал. Люди не должны помнить! Не могут! Через столько

лет? Зачем ему ломать себе голову, припоминать, узнавать, называть по имени?

И тут мне пришла в голову безумная мысль, что после того, как я покинул город, вся жизнь Ральфа Андерхилла пошла кувырком. Я был ядром его мироздания, тем, кого можно было пинать, бить, колошматить, награждать синяками. Вся его жизнь сломалась лишь из-за того, что в один прекрасный день тридцать шесть лет назад я просто взял и ушел.

Бред! И все же в моем мозгу бешено, словно крохотная мышка, вертелась мысль, кричавшая мне — Ральф был нужен тебе, но еще больше ты был нужен ему! И ты совершил единственный непростительный, жестокий поступок! Ты исчез.

— Дуг? — снова произнес он, поскольку я все еще молча стоял на крыльце, опустив руки. — Это ты?

Вот он, миг, ради которого я сюда приехал.

Где-то глубоко внутри я всегда знал, что не воспользуюсь своим оружием. Да, я принес его с собой, но меня уже опередили Время, возраст и череда маленьких и оттого более страшных смертей...

Бах.

Шесть выстрелов в сердце.

Но не из пистолета. Лишь мои губы прошептали звуки пистолетных выстрелов. И с каждым выстрелом лицо Ральфа Андерхилла старилось на десять лет. Когда я произнес свой последний выстрел, ему было уже сто десять.

— Бах, — шептал я. — Бах. Бах. Бах. Бах. Бах.

Его тело вздрагивало от каждого выстрела.

— Ты убит. Господи, Ральф, ты убит.

Я повернулся, спустился с крыльца и уже вышел на улицу, когда он окликнул меня:

— Дуг, это ты?

Я не ответил и зашагал прочь.

— Ответь мне! — слабым голосом кричал он. Дуг! Дуг Сполдинг, это ты? Кто это? Кто вы?

Я подхватил чемодан и скрылся в ночи, наполненной песнями сверчков, и в темноте ложины, перешел через мост, поднялся по лестнице и зашагал дальше.

— Кто это? — в последний раз донесся до меня его рыдающий голос.

Отойдя уже далеко, я оглянулся.

Во всем доме Ральфа Андерхилла горел свет. Как будто после моего ухода он обошел все комнаты и зажег все лампы.

По другую сторону лощины я остановился на лужайке перед домом, в котором когда-то родился.

Затем поднял несколько камешков и сделал то, чего не делал никто за всю мою жизнь.

Я швырнул эти камешки в окно, за которым я просыпался каждое утро в течение первых моих двенадцати лет. Я выкрикнул свое имя. Я позвал самого себя, как друга, выйти играть среди бесконечного лета, которого уже нет.

Я стоял и ждал ровно столько, чтобы тот другой, юный я спустился вниз и присоединился ко мне.

А потом быстро, опережая рассвет, мы выбежали из Гринтауна и, благодарение Богу, понеслись обратно, назад в Настоящее, чтобы не расставаться с ним до конца моих дней.

Наказание без преступления

Punishment Without Crime 1950 год

Переводчик: О.Акимова

— Вы хотите убить свою жену? — спросил темноволосый человек, сидевший за письменным столом.

— Да. То есть нет... не совсем так. Я хотел бы...

— Фамилия, имя?

— Ее или мои?

— Ваши.

— Джордж Хилл.

— Адрес?

— Одиннадцать, Саут Сент-Джеймс, Гленвью.

Человек бесстрастно записывал.

— Имя вашей жены?

— Кэтрин.

— Возраст?

— Тридцать один.

Вопросы сыпались один за другим. Цвет волос, глаз, кожи, любимые духи, какая она на ощупь, размер одежды...

— У вас есть ее стереофотоснимок? А пленка с записью голоса? Ага, я вижу, вы принесли. Хорошо. Теперь...

Прошел целый час. Джорджа Хилла уже давно прошиб пот.

— Все. — Темноволосый человек встал и строго посмотрел на Джорджа. — Вы не передумали?

— Нет.

— Вы знаете, что это противозаконно?

— Да.

— И что мы не несем никакой ответственности за возможные последствия?

— Ради бога, — крикнул Джордж, — кончайте скорей! Вон уже сколько вы меня держите. Делайте скорее!

Человек еле заметно улыбнулся:

— На изготовление куклы-копии вашей жены потребуется три часа. А вы пока вздремните — это вас немного успокоит. Третья зеркальная комната, слева по коридору, свободна.

Джордж медленно, как оглушенный, побрел в зеркальную комнату. Он лег на синюю бархатную кушетку, и давление его тела заставило вращаться зеркала на потолке. Нежный голос запел: «Спи... спи... спи...»:

— Кэтрин, я не хотел идти сюда. Это ты заставила меня... Господи, я не хочу тут оставаться. Хочу домой... Не хочу убивать тебя... — сонно бормотал Джордж.

Зеркала бесшумно вращались и сверкали.

Он уснул.

Он видел во сне, что ему снова сорок один год, он и Кэти бегают по зеленому склону холма, они прилетели на пикник и их вертолет стоит неподалеку. Ветер развеивает золотые волосы Кэти, она смеется. Они с Кэти целуются и держат друг друга за руки и ничего не едят. Они читают стихи; только и делают, что читают стихи.

Потом другие картины. Полет, быстрая смена красок. Они летят над Грецией, Италией, Швейцарией — той ясной, долгой осенью 1997 года! Летят и летят без остановок!

И вдруг — кошмар. Кэти и Леонард Фелпс. Джордж вскрикнул во сне. Как это случилось? Откуда вдруг взялся Фелпс? Почему он вторгся в их мир? Почему жизнь не может быть простой и доброй? Неужели все это из-за разницы в возрасте? Джорджу под пятьдесят, а Кэти молода, так молода! Почему, почему?..

Эта сцена навсегда осталась в его памяти. Леонард Фелпс и Кэти в парке, за городом. Джордж появился из-за поворота дорожки как раз в тот момент, когда они целовались.

Ярость. Драка. Попытка убить Фелпса.

А потом еще дни и еще кошмары...

Джордж проснулся в слезах.

— Мистер Хилл, для вас все приготовлено.

Неуклюже он поднялся с кушетки. Увидел себя в высоких и неподвижных теперь зеркалах. Да, выглядит он на все пятьдесят. Это была ужасная ошибка. Люди более привлекательные, чем он, брали себе в жены молодых женщин и потом убеждались, что они неизбежно ускользают из их объятий, растворяются, словно кристаллики сахара в воде. Он злобно разглядывал себя. Чуть-чуть много живота. Чуть-чуть много подбородка. Многовато соли с перцем в волосах и мало в теле...

Темноволосый человек ввел его в другую комнату.

У Джорджа перехватило дыхание.

— Но это же комната Кэти!

— Фирма старается максимально удовлетворять запросы клиентов.

— Ее комната! До мельчайших деталей!

Джордж Хилл подписал чек на десять тысяч долларов. Человек взял чек и ушел.

В комнате было тихо и тепло.

Джордж сел и потрогал пистолет в кармане. Да, куча денег... Но богатые люди могут позволить себе роскошь «очищающего убийства». Насилие без насилия. Смерть без смерти. Ему стало легче. Внезапно он успокоился. Он смотрел на дверь. Наконец-то приближается момент, которого он ждал целых полгода. Сейчас все будет кончено. Через мгновение в комнату войдет прекрасный робот, марионетка, управляемая невидимыми нитями. И...

— Здравствуй, Джордж.

— Кэти!

Он стремительно повернулся.

— Кэти! — вырвалось у него.

Она стояла в дверях за его спиной. На ней было мягкое как пух зеленое платье, на ногах — золотые плетеные сандалии. Волосы светлыми волнами облегли шею, глаза сияли ясной голубизной.

От потрясения он долго не мог выговорить ни слова. Наконец сказал:

— Ты прекрасна.

— Разве я когда-нибудь была иной?

— Дай мне поглядеть на тебя, — сказал он медленно чужим голосом.

Он простер к ней руки, неуверенно, как лунатик. Сердце его глухо колотилось. Он двигался тяжело, будто придавленный огромной толщей воды. Он все ходил, ходил вокруг нее, бережно прикасаясь к ее телу.

— Ты что, не нагяделся на меня за все эти годы?

— И никогда не нагяжусь... — сказал он, и глаза его налились слезами.

— О чем ты хотел говорить со мной?

— Подожди, пожалуйста, немного подожди.

Он сел, внезапно ослабев, на кушетку, прижал дрожащие руки к груди. Зажмурился.

— Это просто непостижимо. Это тоже кошмар. Как они сумели сделать тебя?

— Нам запрещено говорить об этом. Нарушается иллюзия.

— Какое-то колдовство.

— Нет, наука.

Руки у нее были теплые. Ногти совершенны, как морские раковины. И нигде ни малейшего изъяна, ни единого шва. Он глядел на нее, и ему вспоминались слова, которые они так часто читали вместе в те счастливые дни: «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Глаза твои голубиные под кудрями твоими... Как лента алая губы твои, а уста твои любезны... Два сосца твоих как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями... Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе»^[32].

— Джордж!

— Что? — Глаза у него были ледяные.

Ему захотелось поцеловать ее.

«...Мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана».

— Джордж!

Оглушительный шум в ушах. Комната перед глазами пошла ходуном.

— Да-да, сейчас, одну минуту...

Он затряс головой, чтобы вытряхнуть из нее шум.

«О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дочь княжеская! Округление бедер твоих, как ожерелье, творение искусного художника...»

— Как им это удалось? — вскричал он.

Так быстро! За три часа, пока он спал. Как это они расплавили золото, укрепили тончайшие часовые пружинки, алмазы, блески, конфетти, драгоценные рубины, жидкое серебро, медные проволоочки? А ее волосы? Их спряли металлические насекомые? Нет, наверно, золотисто-желтое пламя залили в форму и дали ему затвердеть...

— Если ты будешь говорить об этом, я сейчас же уйду, — сказала она.

— Нет-нет, не уходи!

— Тогда ближе к делу, — холодно сказала она. Ты хотел говорить со мной о Леонарде.

— Подожди, об этом немного позже.

— Нет, сейчас, — настаивала она.

В нем уже не было гнева. Все как будто смыло волной, когда он ее увидел. Он чувствовал себя гадким мальчишкой.

— Зачем ты пришел ко мне? — спросила она без улыбки.

— Прощу тебя...

— Нет, отвечай. Если насчет Леонарда, то ты же знаешь, что я люблю его.

— Замолчи! — Он зажал уши руками.

Она не унималась.

— Тебе отлично известно, что я сейчас все время с ним. Я теперь

бываю с Леонардом там, где бывали мы с тобой. Помнишь лужайку на Монте-Верде? Мы с ним были там на прошлой неделе. Месяц назад мы летали в Афины, взяли с собой ящик шампанского.

Он облизал пересохшие губы:

— Ты не виновата, не виновата! — Он вскочил и схватил ее за руки. — Ты только что появилась на свет, ты не она. Виновата она, не ты. Ты совсем другая.

— Неправда, — сказала женщина. — Я и есть она. Я могу поступать только так, как она. Во мне нет ни грамма того, чего нет в ней. Практически мы с ней одно и то же.

— Но ты же не вела себя так, как она?

— Я вела себя именно так. Я целовала его.

— Ты не могла, ты только что родилась!

— Да, но из ее прошлого и из твоей памяти.

— Послушай, — умолял он, тряся ее, пытаюсь заставить себя слушать, — может быть, можно... может быть, можно... ну, заплатить больше денег? И увезти тебя отсюда? Мы улетим в Париж, в Стокгольм, куда хочешь!

Она рассмеялась:

— Куклы не продаются. Их дают только напрокат.

— Но у меня есть деньги!

— Это уже пробовали, давным-давно. Нельзя. От этого люди сходят с ума. Даже то, что делается, — незаконно, ты же знаешь. Мы существуем потому, что власти смотрят на нас сквозь пальцы.

— Кэти, я хочу одного — быть с тобой.

— Это невозможно — ведь я та же самая Кэти, вся до последней клетки. А потом, мы остерегаемся конкуренции. Куклы не разрешается вывозить из здания фирмы: при вскрытии могут разгадать наши секреты. И хватит об этом. Я же предупреждала тебя: об этом говорить не надо. Уничтожишь иллюзию. Уходя, будешь чувствовать себя неудовлетворенным. Ты ведь заплатил — так делай то, за чем пришел сюда.

— Но я не хочу убивать тебя.

— Часть твоего существа хочет. Ты просто подавляешь в себе это желание, не даешь ему прорваться.

Он вынул пистолет из кармана:

— Я старый дурак. Мне не надо было приходить сюда... Ты так прекрасна!

— Сегодня вечером я снова встречу с Леонардом.

— Замолчи.

— Завтра утром мы улетаем в Париж.

— Ты слышала, что я сказал?

— А откуда в Стокгольм. — Она весело рассмеялась и потрепала его по подбородку. — Так-то, мой толстячок.

Что-то зашевелилось в нем. Он побледнел. Он ясно понимал, что происходит: скрытый гнев, отвращение, ненависть пульсировали в нем, а тончайшие телепатические паутинки в феноменальном механизме ее головы улавливали эти сигналы смерти. Марионетка! Он сам и управлял ее телом с помощью невидимых нитей.

— Пухленький чудачок. А ведь когда-то был красив.

— Перестань!

— Ты старый, старый, а мне ведь только тридцать один год. Ах, Джордж, как же слеп ты был — работал, а я тем временем опять влюбилась... А Леонард просто прелесть, правда?

Он поднял пистолет, не глядя на нее.

— Кэти.

«Голова его — чистое золото...» — прошептала она.

— Кэти, не надо! — крикнул он.

«...Кудри его волнистые и черные, как вороново крыло... Руки его — золото, украшенное топазами!»

Откуда у нее эти слова «Песни песней»? Они звучат в его мозгу — как же получается, что она их произносит?

— Кэти, не заставляй меня это делать!

«Щеки его — цветник ароматный... — бормотала она, закрыв глаза и неслышно ступая по комнате. Живот его изваян из слоновой кости... Ноги его — мраморные столпы...»

— Кэти! — взвизгнул он.

Выстрел.

«Уста его — сладость...»

«...Вот кто мой возлюбленный...»

Еще выстрел.

Она упала.

— Кэти, Кэти, Кэти!!!

Он всадил в нее еще четыре пули.

Она лежала и дергалась. Ее бесчувственный рот широко раскрылся, и какой-то механизм, уже зверски изуродованный, заставлял ее повторять вновь и вновь: «Возлюбленный, возлюбленный...»

Джордж Хилл потерял сознание.

Он очнулся от прикосновения прохладной влажной ткани к его лбу.

— Все кончено, — сказал темноволосый человек.

— Кончено? — шепотом переспросил Джордж.

Темноволосый кивнул.

Джордж бессильно глянул на свои руки. Он помнил, что они были в крови. Он упал на пол, когда потерял сознание, но и сейчас в нем еще жило воспоминание о том, что по его рукам потоком льется настоящая кровь.

Сейчас руки его были чисто вымыты.

— Мне нужно уйти, — сказал Джордж Хилл.

— Если вы чувствуете, что можете...

— Вполне. — Он встал. — Уеду в Париж. Начну все сначала. Звонить Кэти и вообще ничего такого делать, наверно, не следует.

— Кэти мертва.

— Ах да, конечно, я же убил ее! Господи, кровь была совсем как настоящая...

— Мы очень гордимся этой деталью.

Хилл спустился на лифте в вестибюль и вышел на улицу. Лил дождь. Но ему хотелось часами бродить по городу. Он очистился от гнева и жажды убийства. Воспоминание было так ужасно, что он понимал: ему уже никогда не захочется убить. Даже если настоящая Кэти появилась бы сейчас перед ним, он возблагодарил бы Бога и упал, позабыв обо всем на свете, к ее ногам. Но она была мертва. Он сделал, что собирался. Он попрап закон, и никто об этом не узнает.

Прохладные капли дождя освежали лицо. Он должен немедленно уехать, пока не прошло это чувство очищения. В конце концов, какой смысл в этих «очистительных» процедурах, если снова братья за старое? Главное назначение кукол в том и заключается, чтобы предупреждать *реальные* преступления. Захотелось тебе избить, убить или помучить кого-нибудь, вот и отведи душу на марионетке... Возвращаться домой нет решительно никакого смысла. Возможно, Кэти сейчас там, а ему хотелось думать о ней только как о мертвой — он ведь об этом должным образом позаботился.

Он остановился у края тротуара и смотрел на проносящиеся мимо машины. Он глубоко вдыхал свежий воздух и ощущал, как постепенно спадает напряжение.

— Мистер Хилл? — проговорил голос рядом с ним.

— Да. В чем дело?

На его руке щелкнули наручники.

— Вы арестованы.

— Но...

— Следуйте за мной. Смит, арестуйте остальных наверху.

— Вы не имеете права...

— За убийство — имеем.

Гром грянул с неба.

Без десяти девять вечера. Вот уже десять дней как льет не переставая дождь. Он и сейчас поливает стены тюрьмы. Джордж высунул руки через решетку окна, и капли дождя теперь собирались в маленькие лужицы на его дрожащих ладонях.

Дверь лязгнула, но он не пошевелился, руки его по-прежнему мокнут под дождем. Адвокат глянул на спину Хилла, стоявшего на стуле у окна, и сказал:

— Все кончено. Сегодня ночью вас казнят.

— Я не убийца. Это была просто кукла, — сказал Хилл, прислушиваясь к шуму дождя.

— Таков закон, и ничего тут не поделаешь. Вы знаете. Других ведь тоже приговорили. Президент компании «Марионетки, инкорпорейтед» умрет в полночь, три его помощника — в час ночи. Ваша очередь — половина второго.

— Благодарю, — сказал Хилл. — Вы сделали все, что могли. Видимо, это все-таки было убийство, даже если убил я не живого человека. Намерение было, умысел и план тоже. Не хватало только живой Кэти.

— Вы попали в неудачный момент, — сказал адвокат. — Десять лет назад вам бы не вынесли смертного приговора. Через десять лет вас бы тоже не тронули. А сейчас им нужен предметный урок — мальчик для битья. Ажиотаж вокруг кукол принял за последний год просто фантастические размеры. Надо припугнуть публику, и припугнуть всерьез. Иначе бог знает до чего мы можем докатиться. У этой проблемы есть ведь и религиозно-этический аспект: где начинается — или кончается — жизнь, что такое роботы — живые существа или машины? В чем-то они очень близки к живым: они реагируют на внешние импульсы, они даже мыслят. Вы же знаете: два месяца назад был издан закон «О живых роботах». Под действие этого закона вы и подпали. Просто не удачный момент, только и всего...

— Правительство поступает правильно, теперь мне стало ясно, — сказал Хилл.

— Я рад, что вы понимаете позицию правосудия.

— Да. Не могут же они легализовать убийство. Даже такое условное

— с применением телепатии, механизмов и воска. С их стороны было бы лицемерием отпустить меня безнаказанным. Я совершил преступление. И все время с того часа чувствовал себя преступником. Чувствовал, что заслуживаю наказания. Странно, правда? Вот как общество властвует над сознанием человека. Оно заставляет человека чувствовать себя виновным даже тогда, когда вроде бы и нет оснований для этого...

— Мне пора. Может быть, у вас есть какие-нибудь поручения?

— Нет, спасибо, мне ничего не нужно.

— Прощайте, мистер Хилл.

Дверь захлопнулась.

Джордж Хилл продолжал стоять на стуле у окна, сплетя мокрые от дождя руки за решеткой. На стене вспыхнула красная лампочка, и голос из репродуктора сказал:

— Мистер Хилл, здесь ваша жена. Она просит свидания с вами.

Он стиснул решетку руками.

«Она мертва», — подумал он.

— Мистер Хилл, — снова окликнул его голос.

— Она мертва. Я убил ее.

— Ваша жена ожидает здесь. Вы хотите ее видеть?

— Я видел, как она упала, я застрелил ее, я видел, как она упала мертвой!

— Мистер Хилл, вы меня слышите?

— Да-да, — закричал он, колотя о стену кулаками. — Слышу! Слышу вас! Она мертва, мертва и пусть оставит меня в покое! Я убил ее, я не хочу ее видеть, Она мертва!

Пауза.

— Хорошо, мистер Хилл, — пробормотал голос.

Красный свет погас.

В небе вспыхнула молния, озарила его лицо. Он прижался разгоряченной щекой к прутьям решетки и долго стоял так, а дождь лил и лил. Наконец где-то внизу открылась дверь, и из тюремной канцелярии вышли две фигуры в плащах. Они остановились под ярким дуговым фонарем и подняли головы.

Это была Кэти. И рядом с ней Леонард Фелпс.

— Кэти!

Она отвернулась. Мужчина взял ее под руку. Они побежали под черным дождем через дорогу и сели в приземистую машину.

— Кэти! — Крича, он дергал прутья решетки, колотил кулаками по бетонному подоконнику. — Она жива! Эй, надзиратель! Я видел ее. Она

жива! Я не убил ее, меня можно отпустить на свободу! Я никого не убивал, это все шутка, ошибка, я видел, видел ее! Кэти, вернись, скажи им, что ты жива! Кэти!

В камеру вбежали надзиратели.

— Вы не смеете казнить меня! Я не совершил ни какого преступления! Кэти жива, я сейчас видел ее!

— Мы тоже видели ее, сэр.

— Тогда освободите меня! Освободите!

«Этого не может быть, они просто сошли с ума!» Он задохнулся и едва не упал.

— Суд уже вынес свой приговор, сэр.

— Но это несправедливо!

Он подпрыгнул и вцепился в решетку, дико крича.

Машина тронулась с места, увозя Кэти и Леонарда. Увозя их в Париж, и в Афины, и в Венецию, а весной — в Лондон, летом — в Стокгольм, осенью — в Вену.

— Кэти, вернись! Кэти, ты не можешь так со мной поступить!

Красные задние фары машины удалялись, подмигивая сквозь завесу холодного дождя. Надзиратели надвинулись сзади и схватили его, а он все продолжал кричать.

Как-то пережить воскресенье

Getting Through Sunday Somehow 1962 год

Переводчик: О.Акимова

Воскресенье в Дублине.

Эти слова — роковой приговор.

Воскресенье в Дублине.

Бросьте эти слова с обрыва в пропасть, и они никогда не достигнут дна. Они так и будут падать в пустоте серого дня, приближаясь к пяти.

Воскресенье в Дублине. Как его пережить.

Слышен звон погребальных колоколов. Ты рывком натягиваешь на уши одеяло. Слышишь шуршанье траурного венка, который вешают на твою безмолвную дверь. Слушаешь пустынные улицы под окном твоего гостиничного номера, затаившиеся, чтобы проглотить тебя, если осмелишься высунуть нос раньше полудня. Чувствуешь, как туман скользит своим мягким и влажным языком, забираясь под оконный карниз, лижет крыши отеля, всю его громаду, источающую скуку.

"Воскресенье, — думал я. — Дублин. Пабы закрыты наглухо весь день, не считая какого-то жалкого часа. Билеты в кино проданы еще две-три недели назад. Заняться нечем, разве что пойти в зоопарк «Феникс» поглазеть на воняющих мочой львов, на грифов, которые будто только что, вымазавшись в клею, упали в корзину старьевщика. Слоняться по берегу Лиффи, глядя на ее туманно-белесые волны. Бродить по аллеям, глядя на небеса цвета Лиффи.

Ну уж нет, — взбунтовавшись, подумал я. — Останусь в постели, проснусь на закате, поужинаю за чаем и снова в кровать, спокойной ночи, всё!"

Но я, как герой, встал, шатаясь под сокрушительным натиском воскресенья, побрился и в полдень с легкой тревогой взглянул краем глаза на предстоящий день. Он простирался передо мной пустынным коридором часов, выкрашенным в цвет простудного налета на моем языке в промозглое утро. Даже Господу, наверное, скучно в такие дни в северных краях. Я не мог не вспомнить о Сицилии, где каждое воскресенье — роскошное празднество, и фейерверки взмывают ввысь, как весенние стайки цыплят, а люди важно расхаживают и пританцовывают на улицах, пахнущих теплыми воздушными блинами, потряхивая волосами, покачивая

руками, притопывая ногами, сверкая жгучими взглядами, и музыка свободным потоком льется из всех распахнутых окон.

«Но Дублин! Дублин! Не город, а огромная дохлая скотина! — думал я, глядя из окна на его припорошенное снегом, измазанное сажей тело. — Вот тебе две монетки, положи себе на глаза!»

Я открыл дверь и окунулся в это преступное воскресенье, ожидавшее лишь меня.

Еще одна дверь захлопнулась за моей спиной. Я стоял в глубокой тишине воскресного паба. Бесшумно проскользнув к стойке, я шепотом заказал самый лучший напиток, собираясь остаться здесь надолго и напиться от души. Рядом со мной какой-то старик, похоже, был занят поисками смысла жизни на дне своего стакана. Прошло, наверное, минут десять, прежде чем старик очень медленно поднял голову и уставился куда-то вдаль сквозь засиженное мухами зеркало, сквозь меня, сквозь самого себя.

— Что я сделал сегодня, — горько простонал он, — хотя бы для одной смертной души? Ничего! Вот почему я чувствую себя таким разбитым.

Я промолчал.

— Чем старше я становлюсь, — продолжал он, — тем меньше делаю для людей. Чем меньше делаю для них, тем больше чувствую себя узником бутылки. Круши-хватай — вот он, мой принцип!

— Да ладно... — произнес я.

— Нет! — взвился старик. — Это же чудовищная ответственность, когда весь мир приносит тебе дары. Например, закаты. Все такое розовое и золотое, как дыни, что везут из Испании. Разве это не дар?

— Дар.

— Тогда кого ты станешь благодарить за эти закаты? И не надо мне тут таскать имя Божье по барной стойке! Слишком просто все сваливать на Него. Я имею в виду, парень, человека, которого можно обнять, похлопать по плечу и сказать: спасибо за чудесный рассвет нынче утром или: премного благодарен, черт возьми, за то, какие сегодня милые полевые цветочки на обочине, за траву, полегшую от ветра. Ведь это тоже дары, кто станет спорить?

— Только не я, — сказал я.

— Бывало ли, чтоб ты, проснувшись среди ночи, чувствовал, как через окно впервые после долгой зимы влетает теплый летний ветер? И, растолкав жену, говорил, как ты ей благодарен? Нет, ты лежал как болван, один, внутренне ликуя: ты и весна! Понимаешь теперь, о чем я тут толкую?

— Отлично понимаю, — ответил я.

— И что, разве ты не ощущаешь за собой огромной вины? Тебе не ломит спину под тяжестью этого груза? Ты получаешь от жизни столько чудесных вещей и не платишь за это ни пенни? Разве они не спрятаны где-то в глубине твоей темной плоти, освещая душу, являясь в виде прекрасных летних и тихих осенних дней, а может, просто в отличном вкусе крепкого пива, — все это дары, и тебе безумно хочется благодарить каждого смертного за твое богатство. Что происходит с такими парнями, как мы с тобой, спрашиваю я, которые всю жизнь льют монеты из своей благодарности и не тратят ни одной из них, как последние сквалыги? А может, в один прекрасный день мы разобьем кубышку и достанем оттуда лишь сухую гниль? Может, однажды ночью нам станет душно?

— Никогда не задумывался...

— А ты задумайся, парень! — закричал старик. Пока не поздно. Ты ведь американец, верно? Молодой? Ты получаешь от природы те же дары, что и я? Но вместо того, чтобы смиренно благодарить всех подряд, повсюду и везде, напропалую, ты наживаешь горб и одышку. Действуй, приятель, пока не превратился в ходячего мертвеца!

Засим он спокойно и окончательно погрузился в свою глубокую задумчивость, не замечая тонкой полоски пенных усов от «гиннеса» на верхней губе.

Я вышел из паба в непогоду воскресного дня.

Я остановился, оглядывая серые каменные улицы и серые каменные тучи, глядя на идущих мимо замерзших людей, выдыхающих из своих заиндедевских ртов погребально-серые клубы пара, одетых в туманно-серые костюмы и грязно-черные пальто, и почувствовал, как седина прорастает в моих волосах.

«В такие дни, — думал я, — все, чего ты не успел сделать в жизни, вдруг настигает тебя, развязывает твои шнурки, зудит у тебя в бороде. Помоги, Боже, тому, кто в такой день не успел расплатиться со всеми долгами».

В унынии я поворачивался, как флюгер на слабом ветру, и уже было навострил лыжи обратно в сторону отеля.

И вот тут-то оно и случилось.

Я остановился. Стоял как вкопанный. И слушал.

Похоже, ветер переменился и теперь дул с запада, принося с собой какое-то пощипывание и покалывание: дребезжание арфы.

— Вот оно, — прошептал я.

Словно кто-то вытащил пробку, и тяжелые серые морские воды с

грохотом выплеснулись через дырку в моем ботинке, я почувствовал, как с ними уходит моя печаль.

Я свернул за угол.

Там, за углом, сидела маленькая, вполовину ниже своей арфы, женщина, протянув руки к трепещущим струнам, как ребенок, подставляющий ладони под чистые струи дождя.

Струны арфы метались и дрожали; звуки растворялись в воздухе, как всплески волны, набегающей на берег. Сперва с этих струн слетела песенка «Дэнни-бой». Потом настал черед полного варианта «В зеленом платье». Затем «Лимерик мой город, Шон Лайам имя мне» и «Самые лихие поминки». Звуки арфы были похожи на пузырьки шампанского, налитого в высокий бокал: они щекотали твои веки и мелкими каплями оседали на щеках.

Рот у меня тут же растянулся до ушей. Щеки запунцовели, как испанские апельсины. Ноздри запели дудками. А ноги украдкой засемили, приплясывая, в неподвижно стоящих ботинках.

Арфа наигрывала «Янки Дудль».

Заметила ли эта женщина, что я стою рядом как идиот, дрожа от волнения? Нет, подумал я, так случайно совпало.

И тут мне снова стало грустно.

Кажется, подумалось мне, она даже не видит своей арфы. Не слышит, что играет!

Так и есть. Ее руки словно сами по себе подпрыгивали и резвились в воздухе, щипали и дергали струны, они были похожи на двух старых пауков, которые быстро ткут сети, а потом порыв ветра рвет их, и пауки начинают ткать заново. Она просто дала волю своим пальцам, а сама глядела по сторонам, словно сидя у окна в доме напротив и лишь изредка бросая взгляд на улицу, чтобы присмотреть за своими руками.

«Ах...» — вздохнула внутри моя душа.

И вдруг:

«Вот он, твой шанс! — чуть не закричал я. — Боже правый, конечно!»

Но я сдержался и дал арфистке увязать в тугие снопы заключительные аккорды «Янки Дудль».

И тут с замиранием сердца я произнес:

— Вы играете потрясающе!

Мое тело сразу полегчало на сотню фунтов.

Женщина кивнула и заиграла «Лето на морском берегу» так, словно ее пальцы ткали узорное кружево прямо из воздуха.

— Вы на самом деле играете потрясающе, — сказал я.

Еще семьдесят фунтов долой.

— Когда играешь сорок лет, — ответила она, — уже не замечаешь.

— Вы так хорошо играете, что могли бы выступать на сцене.

— Ишь чего захотели! — Ее руки, словно два воробышка, ныряли меж нитей ткацкого станка. — На кой мне эти оркестры и ансамбли?

— Это работа под крышей, — сказал я.

— Мой отец, — говорила она, в то время как ее руки двигались туда и обратно, — сделал эту арфу, великолепно играл на ней сам и научил играть меня. Ради бога, сказал он мне, держись подальше от работы под крышей!

Пожилая женщина сощурилась, припоминая.

— Играй за, перед, вокруг стен концертных залов, — говорил мне отец, — но только не внутри, музыка там задыхается. Это все равно что держать арфу в гробу!

— А разве дождь не вредит вашему инструменту?

— Отец говорил: жара и влажность вредят арфам лишь внутри помещений. Выноси ее на улицу, пусть дышит, извлекай верные ноты и тембры из воздуха. Кроме того, говорил он, когда люди покупают билеты, каждый из них считает, что может освистать тебя, если ты не обхаживаешь его со всех сторон и не играешь для него одного. Будь в стороне от этого, говорил мой папаша, в один год они будут превозносить тебя, а на другой — ругать. Иди и сядь там, где они проходят мимо; если им понравится твоя песня — отлично! А те, кому не понравится, сбегут прочь подальше от тебя. Тогда, девочка, ты будешь иметь дело только с теми, кто по-настоящему к тебе расположен. К чему запирать себя в одной клетке с враждебными демонами, если можно дышать свежим ветром улиц с преданными ангелами? Но я разболталась. С чего это вдруг?

В первый раз она посмотрела на меня пристально, сощурившись, как человек, вышедший из темной комнаты на свет.

— Кто ты? — спросила она. — Тебе удалось разговорить меня! Что ты здесь делаешь?

— До последней минуты валял дурака, пока не вывернул вот из-за этого угла, — сказал я. — А мог бы Колонну Нельсона разнести. Мог бы по карманам пошарить в очереди у театра, раздвигая всех локтями, а вслед мне неслись бы стоны и брань...

— Что-то не вижу, чтоб ты этим занимался. — Ее руки принялись вить в воздухе следующий ярд песенной нити. — Что заставило тебя передумать?

— Вы, — сказал я.

Я словно выстрелил ей из пушки в лицо.

— Я? — переспросила она.

— Вы подняли этот день с мостовой, встряхнули его хорошенько и снова пустили бегать с восторженным криком.

— И это сделала я?

Тут я впервые услышал, как из мелодии выпали несколько нот.

— Или, если хотите, это сделали ваши руки, которые выполняют свою работу сами по себе, без вашего участия.

— Белье требует стирки, и ты его стираешь.

Я почувствовал, как мои ноги и руки снова наливаются свинцом.

— Не говорите так! — взмолился я. — Отчего мы, случайные прохожие, можем наслаждаться этой музыкой, а вы — нет?

Она покачала головой; руки ее замедлили свой полет.

— А вам-то какое дело до того, наслаждаюсь ли я?

Я стоял перед ней, и мне так хотелось повторить ей то, о чем говорил тот человек в баюкающей тишине паба «Дулиз», но как я мог? Как я мог описать тот ворох красоты, который на всю оставшуюся жизнь заполнил мою душу, рассказать, как я с игрушечным совком в руке раскидываю вокруг частички этой красоты, возвращая их миру? Стоило ли мне перечислить все свои долги перед теми людьми, которые говорили со мной со сцены или с голубого экрана, которые заставляли меня смеяться, плакать или просто давали заряд жизненной энергии, но никто из темноты зрительного зала не осмелился крикнуть: «Если тебе когда-нибудь понадобится помощь, знай: я твой друг!»? Может, надо было рассказать ей про того человека, с которым я ехал в автобусе десять лет назад: он так легко и непринужденно заливался смехом, сидя на заднем сиденье, что все остальные, постепенно оттаяв, горячо и бесшабашно хохотали всю дорогу, но ни один смельчак не подошел к нему, не взял за руку и не сказал: «Ох, парень, ну и развеселил ты нас сегодня, благослови тебя Господь!»? Как я мог поведать ей о том, что она всего лишь часть огромного списка давних и неоплаченных долгов? Нет, ничего такого я не мог ей сказать. И тогда я начал так:

— Вы можете кое-что себе представить?

— Попробую, — ответила она.

— Представьте, что вы американский журналист, ищущий материал для статьи, сидите вдали от дома, жены, детей, друзей холодной зимой в неприветливом отеле, в дождливый, пасмурный день, который не сулит вам ничего, кроме разбитого стекла, жеваного табака и грязного снега в вашей душе. Представьте, вы выходите на эти хмурые улицы, черт побери, заворачиваете за угол, а там — маленькая женщина с золотой арфой, и все,

что бы она ни сыграла, превращает зиму в осень, весну или лето — в другое время года, которое приходит для всех и для каждого. И тает снег, рассеивается туман, ветер веет июньским зноем, и десятка лет твоей жизни как не бывало. Представьте все это, пожалуйста.

Она перестала играть.

Внезапная тишина обрушилась на нее.

— Ты чокнутый, — произнесла она.

— Представьте, что вы — это я, — попросил ее я. Вот я иду обратно в свой отель. И по дороге мне хотелось бы слышать какую-нибудь музыку, все равно что. Сыграйте. И когда будете играть, зайдите за угол и послушайте.

Она положила руки на струны и остановилась, шевеля губами. Я ждал. Наконец она вздохнула и издала жалобный стон. А потом вдруг закричала:

— Убирайся!

— Что?..

— Из-за тебя у меня руки сделались как крюки! Посмотри! Ты все испортил!

— Я только хотел поблагодарить...

— ...мою задницу! — кричала она. — Безмозглый дурак, скотина! Не суйся, куда не просят! Занимайся своими делами! Оставь меня в покое, парень! О бедные мои пальчики, вас испортили, испортили!

Она смотрела то на них, то на меня с каким-то ужасным, пристальным вниманием.

— Проваливай! — закричала она.

Я в отчаянии бегом бросился за угол.

«Вот! — думал я. — Что ты наделал! Что ты наделал! Все ей испортил своей благодарностью. И себе тоже, тебе придется жить с этим! Дурак, кто тебя тянул за язык?»

Прислонившись к стене, я сполз вниз. Так прошла, наверное, минута.

"Пожалуйста, леди, — думал я, — давай. Сыграй. Не для меня. Сыграй для себя. Забудь, что я сказал! Ну, *пожалуйста!*"

Тут я услышал несколько робких, несмелых вздохов арфы.

И вновь тишина.

Вдруг снова подул ветер и донес до меня звуки арфы, игравшей медленно-медленно.

Это была старая песня, я помнил ее слова. И я начал напевать их про себя.

Походкой легкой с песней

*Сквозь бури ты иди,
Но ни травинки нежной
Ты не порань в пути.*

«Да, — думал я, — продолжай».

*Понежься в летнем зное
И отдохни в тени.
Благодари за муки,
За встречи и разлуки,
Ведь путь земной недолог,
Пусть шаг твой будет легок,
Не рань того, кто дорог.
И уходя навеки,
Отдай, смежая веки,
Земному свой поклон.
Ты заслужил сей сон.*

«Надо же, — думал я, — какая же она мудрая, эта старая женщина».

*Походкой легкой с песней
Сквозь бури ты иди.*

От восхищения я готов был задушить ее в объятиях.

Не рань того, кто дорог.

А я чуть не убил ее своей беспечностью.

Но теперь, играя песню, в которой было столько мудрости, что я не могу даже передать, она успокаивала саму себя.

Я подождал, пока она не доиграет до третьего куплета, прежде чем снова пройти мимо нее, коснувшись шляпы в знак почтения.

Но ее глаза были закрыты, она слушала то, что делали ее руки, бегавшие по струнам, словно маленькая девчушка, впервые увидевшая дождь и подставляющая ладони под его светлые струи.

Был период, когда она играла совершенно неосознанно, потом

слишком осознанно, и наконец теперь она играла так, как надо.

Уголки ее губ были слегка приподняты в улыбке.

«На волосок, — подумалось мне. — Едва-едва».

Я ушел, оставив их вдвоем, как друзей, встреченных случайно на улице, — ее и арфу.

Я помчался в отель, чтобы отблагодарить ее единственным способом, который был теперь мне известен: делать свою работу, и делать ее хорошо.

Но по пути я зашел в «Дулиз».

А песня все звучала, и шаг был легкий, и ни одно любящее сердце не было ранено, когда я тихонько приоткрыл дверь паба и заглянул туда, ища глазами человека, которому мне так хотелось пожать руку.

Выпить сразу: против безумия толп

Drink Entire: Against the Madness of Crowds 1976 год
Переводчик: О.Акимова

Это была одна из тех проклятых жарких ночей, когда без сна лежишь пластом до двух часов, потом резко вскакиваешь с постели, обливаясь кисло-соленым потом, и, пошатываясь, спускаешься в гигантскую печь подземки, где с пронзительным воем носятся заблудившиеся в ночи поезда.

— Ад, — прошептал Уилл Морган.

И это действительно был ад, в котором целая армия озверевших людей всю ночь напролет, час за часом, блуждала от Бронкса до Кони-Айленда и обратно в поисках случайного глотка соленого океанского ветра, заставляющего тебя вздохнуть с Благодарением.

О господи, где-то там, на Манхэттене или еще дальше за ним, дуют прохладные ветры. Я должен найти их, пока не пришел рассвет...

— Черт!

Он в оцепенении смотрел, как мимо него бешеным потоком несутся улыбки с рекламы зубной пасты: его собственные рекламные идеи преследовали его в эту душную ночь на всем пути через остров Манхэттен.

Поезд застонал и остановился.

На соседнем пути стоял встречный состав.

Невероятно. Там, напротив, у открытого окна сидел старик Нед Эминджер. Старик? Вообще-то они ровесники, им обоим по сорок, но...

Уилл Морган рывком поднял окно.

— Нед, сукин сын!

— Уилл, паршивец! И часто ты разъезжаешь в такой поздний час?

— Каждую жаркую ночь, черт бы ее побрал, с сорок шестого года!

— Я тоже! Рад тебя видеть!

— Лжец!

Заскрипели стальные колеса, и оба знакомца скрылись из виду.

"Боже мой, — подумал Уилл Морган, — двое людей, которые ненавидят друг друга, сидят на работе чуть ли не локоть к локтю, скрипя зубами, карабкаются вверх по служебной лестнице, вдруг сталкиваются случайно здесь, в этом Дантовом аду, в три часа ночи, под расплавленным от зноя городом. Послушай, как эхом замирают наши голоса:

— Лжец!

Через полчаса, на Вашингтон-сквер, его лба коснулся прохладный ветер. Он пошел вслед за этим ветром и оказался в переулке, где...

Температура была ниже градусов на десять.

— Так-то лучше, — прошептал он.

Веяло запахом ледника, из которого он мальчишкой украдкой таскал холодные кристаллы, натирал ими щеки и с душераздирающими воплями засовывал их себе под рубашку.

Прохладный ветер привел его по переулку к небольшой лавке, над которой висела табличка:

МЕЛИССА ЖАБ, ВЕДЬМА

СТИРКА-ПРАЧЕЧНАЯ:

СДАЙТЕ СВОИ ГРЯЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДО 9 УТРА,
ПОЛУЧИТЕ ИХ ЧИСТЕНЬКИМИ НА ЗАКАТЕ.

И чуть помельче:

Заклятия, зелья против ужасной погоды — холодной или жаркой. Снадобья, побуждающие вашего нанимателя повысить вас в должности. Целебные мази, притирания и порошок из мумий глав древнейших корпораций. Лекарства от шума. Отхаркивающие для загазованной или загрязненной атмосферы. Бальзамы для страдающих паранойей водителей-дальнобойщиков. Препараты, которые следует принимать перед тем, как будете переплывать нью-йоркские доки.

На витрине были расставлены несколько пузырьков с наклейками:

Для прекрасной памяти.

Дыхание теплого апрельского ветра.

Тишина и нежнейшие птичьи трели.

Он засмеялся и остановился.

Потому что вновь повеяло прохладой и раздался скрип двери. И вновь ему вспомнилась морозная свежесть белых ледяных гротов из детства, мир, вырубленный в глыбе зимних снов и пролежавший так до самого августа.

— Входи, — шепнул чей-то голос.

Дверь бесшумно распахнулась.

Внутри царил погребальный холод.

На трех козлах, словно гигантский сувенир с февральского мороза,

покоился шестифутовый брусок чистого, капающего льда.

— Ладно, — прошептал он.

В витрине скобяной лавки его родного городка, внутри огромного прямоугольного ледяного бруса, на котором каллиграфическими буквами было выгравировано «МИСС К. ПЕЛЬ», была замурована жена фокусника. Ночь за ночью спала она там, Снежная принцесса. В полночь Уилл вместе с другими мальчишками потихоньку убежал из дому, чтобы посмотреть, как она улыбается в своем холодном, прозрачном сне. Летом они, четверо или пятеро пылающих жаром четырнадцатилетних мальчишек, по полночи стояли, уставившись на нее в надежде, что их раскаленные, жаркие взгляды растопят лед...

Но лед так и не растаял.

— Подождите, — прошептал он. — Послушайте...

Он сделал еще один шаг в темноту ночной лавки.

Господи, это же она! Здесь, в этой глыбе льда! Не те ли это очертания, в которых всего несколько мгновений назад лежала погруженная в прохладные ночные сны снежная женщина? Те самые. Лед был все такой же полый, так же мягко изогнут и нежен. Но... женщины в нем нет. Где же она?

— Я здесь, — прошелестел голос.

В дальнем углу, по ту сторону холодного, сверкающего гроба двигались тени.

— Добро пожаловать. Закрой дверь.

Он почувствовал, что она стоит совсем рядом, среди теней. Ее плоть, если б он мог до нее дотронуться, была бы прохладной на ощупь и по-прежнему свежей благодаря времени, проведенному в ледяном гробу, с которого стекали капли. Стоило лишь протянуть руку...

— Как ты здесь оказался? — тихо спросил ее голос.

— Душная ночь. Вышел пройтись. Прогуляться. В поисках прохлады. Думаю, мне нужна помощь.

— Ты пришел по адресу.

— Но это же безумие! Я не верю в психиатров. Друзья терпеть не могут, когда я говорю, что и Динь-Дон^[33], и Фрейд почили в бозе двадцать лет назад, а с ними и все остальные клоуны. Я не верю в астрологов, нумерологов, хиромантов и прочих шарлатанов...

— Я не гадаю по руке. Но... дай мне свою руку.

Он протянул ладонь в нежную тьму.

Их пальцы встретились. Ее рука была холодна, как у маленькой девочки, только что порывшейся в холодильник.

— На вашей вывеске написано: МЕЛИССА ЖАБ, ВЕДЬМА, — сказал он. — Что делает Ведьма в Нью-Йорке летом тысяча девятьсот семьдесят четвертого года?

— А ты знаешь город, где Ведьма была бы нужнее, чем в Нью-Йорке в этом году?

— Вы правы. Мы все сошли с ума. Но почему именно вы?

— Ведьму создают реальные нужды времени, сказала она. — Я — порождение Нью-Йорка. Все, что есть в нем самого плохого, возвало меня к жизни. И вот ты пришел, сам не зная того, чтобы найти меня. Дай мне другую руку.

Хотя лицо ее во мраке казалось лишь тенью холодной плоти, он почувствовал, как взгляд ее движется по его дрожащей ладони.

— О, почему ты так долго не приходил? — печально произнесла она. — Еще немного — и было бы совсем поздно.

— Поздно для чего?

— Для спасения. Для того, чтобы принять дар, который я могу тебе дать.

Сердце его бешено заколотилось.

— А что вы можете мне дать?

— Покой, — ответила она. — Безмятежность. Спокойствие посреди хаоса. Я дитя ядовитого ветра, совокупившегося с Ист-Ривер в одну из зловонно-помойных, промасленно-чадных ночей. Я обратилась против своих родителей. Я прививка против той самой желчи, которая породила меня на свет. Я вакцина, сотворенная из ядов. Я антитело на все времена. Лекарство от всех недугов. Город тебя убивает, разве не так? Манхэттен — твой палач. Так позволь мне быть твоим щитом.

— Каким образом?

— Ты станешь моим учеником. Как невидимая свора сторожевых собак, моя защита будет окружать тебя. Грохот подземки никогда больше не осквернит твой слух. Ядовитый смог никогда не проникнет в твои легкие и ноздри, никогда не будет щипать тебе глаза. Я научу твой язык ощущать вкус райских плодов в подгорелых и черствых сосисках, которые ты ешь на обед. Простая вода из офисного охладителя превратится в редкое, благородное вино. Полицейские будут откликаться на твой зов. Такси, несущееся в никуда после конца рабочей смены, будет останавливаться, стоит тебе моргнуть глазом. Театральные билеты будут тут же появляться, едва ты подойдешь к окошку кассы. Светофоры будут переключаться на зеленый — заметь, даже в час пик, если тебе вдруг заблагорассудится прокатиться на машине от Пятьдесят восьмой улицы до Вашингтон-сквер,

и ни разу не загорится красный. Всюду будет зеленый свет, если только я буду рядом... Если я буду с тобой, с первого изнуряюще-знойного июньского дня и до последнего часа, когда раздавленные жарой живые мертвецы, возвращающиеся в начале сентября с моря, тихо сходят с ума в простаивающих на полпути железнодорожных вагонах, наша квартира станет тенистой поляной в тропических джунглях, наполненных криками птиц и любовными песнями. Наши комнаты будут полны хрустальным звоном. Наша кухня станет эскимосским иглу среди июльского пекла, где мы будем объедаться мороженым, сделанным из лучшего шампанского, «Маммз» и «Шато Лафит Ротшильд». А наша кладовая? — свежие абрикосы хоть в августе, хоть в феврале. Каждое утро — сок из свежих апельсинов, на завтрак — холодное молоко, на полдник — прохладные поцелуи, мои губы всегда словно охлажденные персики, мое тело — словно заиндедевские сливы. Как сказала Эдит Уортон^[34], наслаждение всегда под рукой... Каждый раз, когда посреди невыносимого дня тебе захочется пораньше вернуться домой с работы, я позвоню твоему боссу и он отпустит тебя без слов. Скоро ты сам станешь боссом и, когда захочешь, будешь приходить домой, где тебя ждут холодный цыпленок, фруктовый пунш и я. Лето на Виргинских островах. Осень — полная заманчивых обещаний, которые вскружат тебе голову, но не заставят потерять ее совсем. Зимой, разумеется, все будет наоборот. Я стану твоим очагом. Мой милый пес, приляг у очага. Я укрою тебя снежными хлопьями... В общем, ты получишь все. Взамен я попрошу не много. Всего лишь твою душу.

Он замер и чуть было не выпустил ее руку.

— Что ж, разве не этой просьбы ты от меня ожидал? — рассмеялась она. — Но душу нельзя продать. Ее можно лишь потерять и никогда больше не найти. Сказать, чего я действительно хочу от тебя?

— Скажи.

— Женись на мне, — произнесла она.

«То есть продай мне свою душу», — подумал он, но промолчал.

Но она прочла это в его глазах.

— Господи, — сказала она, — неужели я прошу слишком многого? За все, что я даю?

— Мне надо это обдумать!

Незаметно для самого себя он отступил на шаг.

Голос ее погрузнел.

— Если тебе надо что-то обдумать, значит, это никогда не состоится. Прочтя книгу, ты ведь знаешь, понравилась она или нет? И в конце спектакля ты либо спишь, либо нет? Так и здесь: красивая женщина есть

красивая женщина, а хорошая жизнь — это хорошая жизнь, разве нет?

— Почему ты не хочешь выйти на свет? Откуда мне знать, что ты красива?

— Ты узнаешь, стоит лишь сделать шаг в темноту. А по голосу ты не можешь определить? Нет? Бедняжка! Если ты сейчас мне не поверишь, я не буду твоей уже никогда.

— Могу я подумать? Вернусь завтра вечером! Что могут значить какие-то двадцать четыре часа?

— Для человека в твоём возрасте — всё.

— Но мне только сорок!

— Я говорю о твоей душе, а для нее это слишком поздно.

— Дай мне еще одну ночь!

— Ты и так возьмешь ее на свой страх и риск.

— О господи, господи, о боже, — простонал он, закрывая глаза.

— Как раз сейчас Он тебе не поможет, увы. Лучше тебе уйти. Ты просто взрослый ребенок. Жаль. Жаль. Твоя мать жива?

— Умерла десять лет назад.

— Нет, жива, — сказала она.

Он попятился к двери, но остановился, пытаясь унять волнение в сердце.

— Как давно ты здесь? — спросил он, с трудом поворачивая налитый свинцом язык.

Она рассмеялась с едва уловимой ноткой горечи.

— Уже третье лето. За эти три года ко мне в лавку пришли всего шесть мужчин. Двое убежали сразу. Еще двое побыли немного и ушли. Один пришел еще раз, а потом исчез. Шестой же, побывав у меня три раза, признался наконец, что не верит. Видишь, никто не верит в настоящую, безграничную и ограждающую от всех печалей и волнений любовь, когда сталкивается с ней лицом к лицу. Какой-нибудь деревенский парень, простой, как дождь, ветер или колос, смог бы остаться со мной навсегда. Но житель Нью-Йорка? Во всем видит подвох... Кто бы ты ни был, каков бы ты ни был, о добрый господин, останься, подои корову и поставь парное молоко под прохладный навес в тени дуба, что растет на моем чердаке. Останься и нарви водяного кресса, чтобы очистить им свои зубы. Постой в Северной кладовой среди запахов хурмы, цитрусов и винограда. Останься и останови мой язык, чтобы я больше не произносила таких речей. Останься и закрой мне рот, чтобы я не могла вздохнуть. Останься, ибо я так устала от разговоров и так нуждаюсь в любви. Останься. Останься.

Ее голос звучал так пылко, так трепетно, так нежно, так сладко, что он

понял: если сейчас не убежит, он пропал:

— Завтра вечером! — крикнул он.

Его ботинок натолкнулся на что-то, лежащее на полу. Это была острая сосулька, отколовшаяся от длинного ледяного бруска.

Уилл Морган наклонился, схватил сосульку и побежал.

Дверь захлопнулась с громким стуком. Свет замерцал и погас. Убегая, он уже не видел вывески: МЕЛИССА ЖАБ, ВЕДЬМА.

«Уродина, — думал он на бегу. — Чудовище, наверняка чудовище и уродина. Иначе и быть не может! Ложь! Все ложь! Она...»

Вдруг он столкнулся с каким-то человеком.

Они вцепились друг в друга, замерли и стояли так посреди улицы, вытаращив глаза.

Нед Эминджер! Господи, это опять он!

Четыре утра, воздух по-прежнему раскален добела. А Нед Эминджер бредет как лунатик, ловя прохладу; рубашка свернулась на его разгоряченном теле, по лицу струится пот, глаза потухли, ноги скрипят в запекшихся от жары кожаных ботинках.

Они оба чуть не упали в момент столкновения.

Коварная мысль промелькнула в голове Уилла Моргана. Он схватил старика Неда Эминджера, повернул вокруг и направил в глубину темного переулка. Не загорелся ли снова там вдали этот свет в окне лавки? Точно, горит!

— Нед! Туда! Иди туда!

Смертельно усталый, ничего не видя от жары, старик Нед Эминджер, качаясь, направился в глубь улочки.

— Подожди! — вскричал Уилл Морган, жалея о своей злой шутке.

Но Эминджер уже скрылся из виду.

Уже в подземке Уилл Морган лизнул сосульку.

Это была Любовь. Наслаждение. Это была Женщина.

К тому времени, как поезд с ревом подлетел к платформе, в руках у него уже было пусто, а тело покрыто ржавчиной пота. А сладкий привкус во рту? Обратился в прах.

Семь утра, Уилл Морган так и не сомкнул глаз.

Где-то гигантская доменная печь открыла свою заслонку и дотла выжгла Нью-Йорк.

«Вставай, — сказал себе Уилл Морган. — Живо! Беги скорей в Гринвич-Виллидж!»

Он вспомнил вывеску:

СТИРКА-ПРАЧЕЧНАЯ:
СДАЙТЕ СВОИ ГРЯЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДО 9 УТРА,
ПОЛУЧИТЕ ИХ ЧИСТЕНЬКИМИ НА ЗАКАТЕ.

Но он не поехал в Виллидж. Он встал, принял душ и вышел в жаркое пекло города, чтобы навсегда потерять свою работу.

Он знал это, когда поднимался в неимоверно душном лифте вместе с мистером Бинсом, загорелым и взбешенным менеджером по кадрам. Брови мистера Бинса дергались, губы шевелились, изрыгая безмолвные проклятия. Сквозь пиджак, словно иглы дикобраза, пробивались запекшиеся волоски. К тому моменту, когда лифт достиг сорокового этажа, Бинс потерял всякий человеческий облик.

Вокруг, как итальянская армия, прибывшая на уже проигранную войну, бродили их сослуживцы.

— А где старик Эминджер? — спросил Уилл Морган, уставившись на пустой рабочий стол.

— Звонил, что болен. Это из-за жары. Будет к полудню, — отозвался кто-то.

Вода в охладителе закончилась задолго до полудня, а что кондиционер? — этот приказал долго жить ровно в 11.32. Двести человек превратились в диких зверей, прикованных к своим рабочим местам у окон, намеренно устроенных так, чтобы их нельзя было открыть.

Без одной минуты двенадцать мистер Бинс по интеркому приказал всем выстроиться возле своих рабочих мест. Они построились. И стояли, качаясь от жары. Температура застыла на отметке девяносто семь градусов. Мистер Бинс принялся медленно расхаживать вдоль длинного ряда. Вокруг него словно завис невидимый рой потрескивающих, как на огне, мух.

— Так-так, господа, — произнес он. — Все вы знаете, что сейчас кризис, какие бы радужные перспективы ни рисовал президент Соединенных Штатов. Чем вонзить вам нож в спину, по мне уж лучше пырнуть вас в живот. Сейчас я буду ходить вдоль ряда, кивать головой и шепотом говорить «вы». Те, кто услышит в свой адрес это словечко, поворачиваются, убирают все со своих столов и уходят. На выходе вас ждет пособие в размере четырехнедельного заработка. Стойте-ка! Кого-то не хватает!

— Старика Неда Эминджера, — сказал Уилл Морган и тут же прикусил язык.

— Старика Неда? — переспросил мистер Бинс, сверкая глазами. —

Старика? Вы сказали «старика»?

Мистер Бинс и Нед Эминджер были ровесниками.

Мистер Бинс замер в ожидании, как бомба замедленного действия.

— Нед, — пробормотал Уилл Морган, в душе проклиная себя, — должен прийти...

— Я уже здесь, — раздался голос.

Все обернулись.

В дверях, в самом конце ряда стоял старик Нед, или просто Нед Эминджер. Он окинул взглядом это сборище потерянных душ, прочел на лице Бинса грядущую гибель, вздрогнул, но незаметно пристроился в ряд возле Уилла Моргана.

— Ладно, — произнес Бинс, — приступим.

Он шагал и шептал, шагал и шептал, шагал и шептал. Двое, четверо, вот уже шестеро повернулись и стали вынимать все из своих столов.

Уилл Морган сделал глубокий вдох и стоял, затаив дыхание.

Поравнявшись с ним, Бинс остановился.

«Ты ведь не скажешь этого? — подумал Морган. — Не надо!»

— Вы, — прошептал Бинс.

Морган крутанулся и едва успел ухватиться за чуть не опрокинувшийся стол. «Вы, — гремело у него в мозгу, — вы!»

Бинс сделал шаг и остановился перед Недом Эминджером.

— Ну что ж, *старик* Нед, — начал он.

Морган закрыл глаза и подумал: «Скажи ему, скажи, ты уволен, Нед, уволен!»

— Старина Нед, — с нежностью произнес Бинс.

Морган так и сжался от этого странного, дружелюбного и мягкого тона, каким говорил мистер Бинс.

В воздухе повеяло ленивым ветром южных морей. Морган в недоумении заморгал и выпрямился, шмыгая носом. Опаленная солнцем комната наполнилась запахом прибоя и прохладного белого песка.

— Нед, дорогой мой старина Нед, — ласково проговорил мистер Бинс.

Уилл Морган ошеломленно замер. «Я сошел с ума», — подумал он.

— Нед, — нежно произнес мистер Бинс. — Оставайся с нами.

Останься.

А остальным бросил:

— Всё, обед!

Бинс ушел, а раненые и умирающие стали покидать поле боя. Уилл Морган наконец повернулся и внимательно посмотрел на Неда Эминджера, спрашивая себя: «Почему, Господи, почему так?»

И получил ответ...

Перед ним был Нед Эминджер — не старый и не молодой, а где-то посередине. Это был не тот Нед Эминджер, который, ничего не соображая, высовывался из окна душного поезда прошлой ночью или тащился по Вашингтон-сквер в четыре утра.

Этот Нед Эминджер стоял спокойно, будто прислушиваясь к далекому шуму зеленых лугов, ветра, листвы и беспечного лета, доносимому свежим озерным бризом.

Капли пота исчезли с его свежего, румяного лица. Глаза не были налиты кровью, в них была чистота, спокойствие и безмятежность. Словно зеленеющий остров, он стоял посреди мертвого, неподвижного моря письменных столов и пишущих машинок, которые могли в любой момент вдруг ожить и затрещать, как электрические сверчки. Нед стоял и смотрел, как уходят живые мертвецы. Ему было все равно. Он пребывал в великолепном, прекрасном одиночестве, облаченный в свое спокойное, прохладное и прекрасное тело.

— Нет! — вскричал Уилл Морган и бросился вон из комнаты.

Он бежал, сам не понимая куда, пока не обнаружил себя в мужской уборной роющимся как одержимый в мусорной корзине.

Он нашел там то, что и ожидал: маленький пузырек с этикеткой:

**ВЫПИТЬ СРАЗУ:
ПРОТИВ БЕЗУМИЯ ТОЛП.**

Дрожа, он откупорил его. Внутри еще оставалась крохотная голубоватая капелька. Качаясь, он подошел к раскаленному запертому окну и стряхнул эту каплю себе на язык.

Через мгновение Уилл почувствовал, будто его тело окунулось в прохладу прибойной волны. Его дыхание, словно живительный источник, наполнило комнату ароматом смятого лепестка клевера, тающего на языке.

Он так крепко стиснул пузырек, что тот треснул в его руке. Он вздохнул, глядя, как растекается кровь.

Дверь открылась. В нее заглянул Нед Эминджер. Достояв так с секунду, он повернулся и ушел прочь. Дверь захлопнулась.

Несколько секунд спустя Морган уже ехал в лифте вниз, брякая портфелем со всяким барахлом, которое он выгреб из своего рабочего стола.

Выходя, он обернулся и поблагодарил лифтера.

Должно быть, его дыхание коснулось лица лифтера.

Тот улыбнулся.

Ошалелой, непостижимой, очаровательной, прекрасной улыбкой!

В полночь в той маленькой лавке в скромном переулке было темно. В окне уже не было вывески с надписью: МЕЛИССА ЖАБ, ВЕДЬМА. Исчезли пузырьки и флакончики.

Целых пять минут Уилл Морган колотил в дверь — тщетно. Еще пару минут он пинал дверь ногами.

Наконец дверь со вздохом нехотя отворилась.

Усталый голос произнес:

— Войдите.

Воздух в лавке был лишь слегка прохладней, чем снаружи. Огромная глыба льда, в которой вчера он разглядел призрачные очертания прекрасной женщины, съежилась, потеряв добрую половину своего веса, и продолжала неуклонно таять, чтобы вскоре исчезнуть совсем.

Где-то во мраке стояла в ожидании та женщина. Но теперь, он чувствовал, она стояла одетой и собиралась уходить. Уилл открыл было рот, чтобы крикнуть, чтобы докричаться, но ее голос остановил его:

— Я предупреждала тебя. Ты пришел слишком поздно.

— Никогда не поздно! — возразил он.

— Прошлой ночью было еще не поздно. Но за последние двадцать часов внутри тебя оборвалась последняя маленькая ниточка. Я это чувствую. Я знаю. Так и есть. Она умерла, умерла, умерла.

— Что умерло, черт подери?

— Твоя душа, конечно. Умерла. Съедена. И переварена. Она исчезла. У тебя внутри — пустота. Ничто.

Он увидел, как ее рука протянулась к нему из темноты. Она коснулась его груди. Быть может, ему лишь показалось, что ее пальцы проникли сквозь его ребра, ощупали его потроха, его легкие, его несчастное, бьющееся в груди сердце.

— О да, она умерла, — печально произнесла она. Как жаль. Город снял с тебя обертку, как с леденца на палочке, и съел тебя целиком. Теперь ты всего лишь оставленная у подъезда пыльная бутылка из-под молока, в горлышке которой паук свил свою паутину. Грохот улиц, словно молот, раздробил в прах твой хребет. Подземка выпила твое дыхание, как кошка высасывает душу из младенца. Пылесосы вычистили твой мозг. Алкоголь растворил остальное. Пишущие машинки и компьютеры пропустили сквозь свое нутро твой осадок, раскатали на принтере, крошили в мелкую чепуху и выбросили в канализацию. Ты расплылся в нервно мигающих

строках на призрачно-бледных экранах старых телевизоров. А все, что от тебя осталось, вскоре подхватит городской автобус, похожий на огромного злого бульдога, и унесет прочь, сжимая тебя в своей резиновогубой пасти.

— Нет! — закричал он. — Я передумал! Выходи за меня замуж! Выходи...

От его крика ледяной гроб раскололся. Куски рассыпались по полу за его спиной. Очертания прекрасной женщины растаяли, оставив на полу небольшую лужицу. Уилл резко повернулся и нырнул в темноту.

Он наткнулся на стену, и в тот же момент послышался стук захлопнувшейся двери и звук закрывающегося замка.

Кричать было бесполезно. Уилл остался один.

Год спустя, июльским вечером, в подземке он в первый раз за триста шестьдесят пять дней встретил Неда Эминджера.

Среди всего этого скрежета, гула и потоков огненной лавы, через который мчались поезда, унося с собой в преисподнюю тысячи тысяч душ, стоял Эминджер — свежий, как листья мяты под летним дождем. Вокруг него плавилась восковые фигуры людей. А Нед стоял, омытый водами лишь ему одному принадлежащего ручья, в котором плескалась форель.

— Нед! — закричал Уилл Морган, бросившись ему навстречу, схватил его за руку и стиснул ее в ладонях. — Нед, Нед! Мой самый лучший друг!

— Так оно и есть, верно? — улыбаясь, сказал молодой Нед.

«Господи, конечно, так оно и было! Дорогой, милый Нед, друг на всю жизнь! Подыши на меня, Нед! Одари меня своим животворящим дыханием!»

— Ты теперь президент фирмы, Нед! Я слышал о тебе!

— Да. Может, зайдём ко мне, выпьем по стаканчику?

Пока они искали такси посреди испепеляющего зноя, от светло-бежевого костюма Неда поднимался ледяной дымок холодного лимонада. Среди всей этой брани, криков, сердитых гудков Нед поднял руку.

Тут же подъехало такси. Они безмятежно укатили.

В сумерках возле подъезда из темноты выступил человек с пистолетом.

— Выворачивайте карманы! — приказал он.

— Позже, — с улыбкой ответил Нед, дыша на грабителя ароматом свежих летних яблок.

— Позже. — Человек отступил назад, давая им дорогу. — Позже.

Когда они поднимались на лифте, Нед сказал:

— Ты знаешь, что я женился? Почти год назад. У меня прекрасная

жена.

— Она... — начал Уилл Морган и запнулся, — красивая?

— Очень. Она тебе понравится. И квартира тоже понравится.

«Да, — подумал Морган, — знаю, знаю: зеленая поляна, хрустальный звон, свежая трава вместо ковра...»

Они вошли в квартиру, которая и впрямь напоминала тропический остров. Молодой Нед наполнил огромные бокалы ледяным шампанским.

— За что выпьем?

— За тебя, Нед. За твою жену. За меня. За сегодняшнюю ночь, вернее полночь.

— Почему полночь?

— Потому что в полночь я спущусь вниз, к человеку с пистолетом, который ждет меня. К человеку, которому ты бросил: «Позже». И он согласился: «Позже». Я буду с ним один на один. Смешно, нелепо и смешно. Только вот мое дыхание самое что ни на есть обыкновенное, в нем нет аромата дыни или груш. А он все эти долгие часы простоял в ожидании, сжимая в потной руке пистолет, зверея от жары. Отличная шутка! Так что ж... выпьем?

— Выпьем!

И они выпили.

В этот момент вошла жена Неда. Она услышала, как они оба смеялись — каждый по-своему, — и пришла посмеяться с ними.

Но когда она посмотрела на Уилла Моргана, глаза ее вдруг наполнились слезами.

И он знал, по ком она плачет.

Мгновение в лучах солнца

Interval in Sunlight 1954 год

Переводчик: О.Акимова

Они приехали в отель «Де лас флорес» в один из жарких дней в конце октября. Во внутреннем дворике гостиницы пламенели красно-желто-белые цветы, похожие на огонь в камине, освещавший их маленькую комнатку. Муж — высокий, черноволосый, бледный — выглядел так, будто ехал все эти десять тысяч миль во сне; он прошел через мощный плиткой внутренний двор, неся в руках пачку простыней, с изможденным вздохом повалился на узкую кровать в номере и закрыл глаза. Пока он лежал, его жена, молодая женщина лет двадцати четырех, с золотистыми волосами и в очках с роговой оправой, улыбаясь администратору гостиницы мистеру Гонсалесу, сновала между комнатой и машиной. Сперва она притащила два чемодана, затем пишущую машинку, поблагодарив мистера Гонсалеса, но решительно отвергнув его помощь. Затем она приволокла огромный сверток с мексиканскими масками, удачно приобретенными в озерном городке Пацкуаро, и снова побежала к автомобилю за все новыми и новыми чемоданами и свертками поменьше; не забыла даже запасную крышку, которую они боялись оставить в машине, чтобы какие-нибудь аборигены не укатили ночью по булыжной мостовой, раскрасневшись от напряжения, она что-то тихо напевала, запирая машину на ключ и проверяя, все ли окна закрыты, а затем помчалась обратно в комнату, где, зажмурившись, на одной из кроватей лежал ее муж.

— О господи, — не открывая глаз, пробормотал он, — это не кровать, а черт знает что. Пощупай. Я же тебе говорил, проси с мягкими матрасами.

Он устало хлопнул по кровати.

— Твердая как камень.

— Я не говорю по-испански, — возразила жена, стоя перед ним в некотором замешательстве. — Надо было пойти самому и поговорить с хозяином.

— Послушай, — сказал он, приоткрыв свои серые глаза и слегка повернув голову, — я с самого отъезда был за рулем. А ты просто сидела и смотрела в окно. Мы же договаривались: расходы, гостиницы, бензин и все прочее ты возьмешь на себя. Это уже вторая гостиница, где нам попадают жесткие кровати.

- Прости, — сказала она, уже начиная нервничать.
- Все, что я хочу, это хотя бы нормально спать по ночам.
- Я же сказала, прости.
- Ты что, даже не пощупала эти кровати?
- Они показались мне вполне нормальными.
- Нет, ты все-таки пощупай.

Он шлепнул по кровати ладонью и ткнул ее в бок.

Женщина повернулась к своей кровати и уселась на нее, проверяя.

- Мне кажется, нормально.
- Ничего не нормально.
- Может быть, моя кровать мягче.

Он устало перевернулся и протянул руку, чтобы пощупать другую кровать.

— Можешь спать на этой, если хочешь, — предложила она, сияясь улыбнуться.

— Эта тоже жесткая, — со вздохом произнес он и вновь откинулся на постель, закрывая глаза.

Оба молчали, и в комнате повеяло холодом, хотя за окном среди буйной зелени пламенели цветы, а небо светилось великолепной голубизной. Наконец женщина встала, сгребла в охапку пишущую машинку, подхватила чемодан и направилась к двери.

- Куда это ты собралась? — спросил он.
- В машину, — отозвалась она. — Поедем искать другую гостиницу.
- Поставь на место, — сказал муж. — Я устал.
- Мы найдем другую гостиницу.
- Сядь. Сегодня переночуем здесь... о боже! а завтра съедем.

Моргая, она обвела все эти коробки, ящики, чемоданы, тряпки и запасную покрывалку. И опустила пишущую машинку.

— К черту! — закричала она вдруг. — Забирай мой матрас. Я буду спать на пружинах.

Он не ответил.

— Бери мой матрас, только прекрати говорить об этом! — продолжала она. — На, держи!

Она сдернула одеяло и рванула матрас.

- А что, на двух удобнее, — серьезно сказал он, открывая глаза.
- Господи, да забирай оба, я могу спать хоть на гвоздях! — прокричала она. — Только перестань ныть.

— Ладно, обойдусь. — Он отвернулся. — Это было бы непорядочно с моей стороны.

— С твоей стороны было бы очень порядочно вообще не поднимать шум из-за кровати. Господи, не такая уж она жесткая — если устал, заснешь и на такой. Господи боже, Джозеф!

— Не кричи, — сказал Джозеф. — Может, лучше сходишь разузнать насчет вулкана Парикутин?

— Сейчас схожу. — Она все еще стояла с раскрасневшимся лицом.

— Узнай, во что нам обойдется такси обратно и подъем в горы на лошадях до вулкана, и не забудь посмотреть на небо; если оно голубое, значит, сегодня извержения не будет. Гляди, чтоб тебя не надули.

— Как-нибудь справлюсь.

Она вышла и затворила за собой дверь. В коридоре стоял сеньор Гонсалес. Он хотел знать, все ли у них в порядке.

Она шла по улице мимо городских окон, вдыхая сладковатый аромат горячего пепла. Все небо над городом было голубое, только на севере (а может, на западе или на востоке, она не знала точно) огромное черное облако поднималось из пылающей печи грозного вулкана. Глядя на него, она почувствовала внутри легкую дрожь. Затем она заметила на улице толстого таксиста, и началась торговля. С шестидесяти песо цена, несмотря на мрачное разочарование, отразившееся на лице толстяка с торчащими зубами, быстро упала до тридцати семи. Так! Значит, он должен подъехать завтра в три часа пополудни, понятно? Тогда они успеют миновать запорошенные серым снегом равнины, покрытые хлопьями вулканического пепла, где на мили вокруг царит пыльная зима, и прибыть к вулкану на закате. Ясно?

— *Si, senora, esta es muy claro, si!*^[35]

— *Bueno.*^[36]

Она назвала ему номер их комнаты в гостинице и попрощалась.

Она бродила одна, бесцельно заходя в сувенирные лавочки, открывала маленькие лаковые коробочки и вдыхала пряный запах камфарного дерева, кедра и корицы. Она с восхищением смотрела, как ремесленники вырезают сверкающими на солнце бритвенными лезвиями замысловатые цветы, а потом заливают эти узоры красной и синей красками. Город омывал ее тихой, неспешной рекой, она погрузилась в него с головой и шла, не переставая улыбаться, сама того не замечая.

Вдруг она взглянула на часы. Прошло полчаса, как она вышла из гостиницы. По лицу ее скользнула тень тревоги. Пустившись было бежать, она снова замедлила шаг и, пожав плечами, пошла не торопясь, как и

прежде.

Она шла по прохладным плиткам гостиничных коридоров и слушала сладкоголосые трели птицы, доносившиеся из клетки под серебристым канделябром на глинобитной стене, а за небесно-голубым роялем сидела девушка с мягкими и длинными темными волосами и играла ноктюрн Шопена.

Женщина посмотрела на окна комнаты: шторы задернуты. Было три часа, нежаркий день. В глубине гостиничного патио она заметила лоток с прохладительными напитками и купила четыре бутылки кока-колы. Улыбнувшись, она отворила дверь их комнаты.

— Быстрее ты, конечно, не могла, — проворчал он, отворачиваясь к стене.

— Мы выезжаем завтра в три пополудни, — сказала она.

— А цена?

Она улыбнулась его затылку, по-прежнему держа в руках холодные бутылки.

— Всего тридцать семь песо.

— Хватило бы и двадцати. Нечего давать этим мексиканцам наживаться на тебе.

— Я же богаче их; если уж кто и заслуживает, чтоб на нем наживались, так это мы.

— Да при чем тут это? Просто они любят торговаться.

— Когда я с ними торгуюсь, я чувствую себя скотиной.

— В путеводителе написано, что они называют двойную цену и ждут, что ты выторгуешь половину.

— Не стоит поднимать шум из-за доллара.

— Доллар есть доллар.

— Заплачу этот доллар из своего кармана, — сказала она. — Я принесла холодных напитков — хочешь?

— Что у тебя там? — Он поднялся и сел на кровати.

— Кока-кола.

— Ты же знаешь, я не слишком люблю кока-колу; отнеси две бутылки назад и возьми апельсиновый «Краш».

— Пожалуйста? — спросила она, не трогаясь с места.

— Пожалуйста, — согласился он, глядя на нее. Как вулкан, дымит?

— Да.

— Ты спрашивала? — Нет, я посмотрела на небо. Все в дыму.

— Надо было спросить.

— Да небо вот-вот лопнет от дыма, черт возьми.

— Но как мы узнаем, что извержение будет именно завтра?

— Никак. Если извержения не будет, отложим поездку.

— Я тоже так думаю. — Он снова улегся.

Она принесла две бутылки апельсинового «Краша».

— Недостаточно холодный, — заметил он, отпивая.

Они поужинали в патио: скворчащий стейк, зеленый горошек, тарелка испанского риса, немного вина и пряные персики на десерт.

Вытерев рот салфеткой, он как бы мимоходом заметил:

— Знаешь, я хотел сказать тебе. Я тут проверил записи того, что я задолжал тебе за последние шесть дней, пока мы ехали от Мехико досюда. Ты считаешь, что я должен тебе сто двадцать пять песо, то есть примерно двадцать пять американских долларов, так?

— Да.

— Я сложил, и у меня получилось всего двадцать два.

— Думаю, этого не может быть, — возразила она, все еще ковыряя ложечкой персик.

— Я проверял дважды.

— Я тоже.

— Думаю, ты посчитала неверно.

— Может быть. — Она резко вскочила, с грохотом отодвигая стул. —

Пойдем проверим.

В номере под зажженной лампой лежал открытый блокнот. Они вместе стали проверять цифры.

— Видишь, — спокойно сказал он. — У тебя три доллара лишних. Как так?

— Так вышло. Прости.

— Бухгалтер из тебя никудышный.

— Я стараюсь.

— Плохо стараешься. Я думал, у тебя есть хоть немного чувства ответственности.

— Я очень стараюсь.

— Ты забыла проверить, накачаны ли шины, ты выбрала номер с жесткими кроватями, у тебя постоянно все теряется, в Акапулько ты потеряла ключ от багажника, задевала куда-то манометр от насоса, и к тому же ты не умеешь вести счета. Я кручу баранку...

— Знаю, знаю, ты целыми днями крутишь баранку и ты устал, в Мехико ты подхватил ларингит и боишься, что зараза снова даст о себе знать, тебе не хотелось бы, чтоб она дала осложнение на сердце, так что самое малое, что я могу для тебя сделать, это держать свой нос в чистоте, а

счета в порядке. Все это я знаю наизусть. Но я всего лишь писатель, и я допускаю, что сделала ошибку.

— Так ты никогда не станешь хорошим писателем, — сказал он. — Сложение — это же так просто.

— Я сделала это не нарочно! — вскричала она, отшвырнув карандаш. — Черт побери! Мне сейчас даже жаль, что я обманула тебя не нарочно. Я о многом сейчас жалею. Жалею, что не нарочно потеряла манометр, во всяком случае мне было бы приятно думать, что я насолела тебе. Жаль, что я не специально выбрала эти кровати из-за жестких матрасов, вот бы я посмеялась сегодня ночью, думая, как жестко тебе на них спать; жаль, что я не сделала этого нарочно. А теперь еще мне жаль, что я не специально подтасовала цифры. С какой радостью я бы посмеялась и над этим тоже.

— Не кричи так, замолчи, — сказал он ей, как ребенку.

— Разрази меня гром, если я замолчу.

— Я только хотел знать, сколько у тебя еще в заначке.

Запустив дрожащие пальцы в кошелек, она выложила оттуда все свои деньги. Когда он пересчитал, оказалось, пяти долларов не хватает.

— Ты не только плохой счетовод, который то и дело меня обкрадывает, а теперь еще и пять долларов пропали, — сказал он. — Ну, и где они?

— Не знаю. Наверное, я забыла записать в расходы, а если и записала, то забыла указать, на что их потратила. Господи боже, я не хочу снова пересчитывать весь этот список. Лучше заплачу недостачу из своих карманных, и вопрос исчерпан. Возьми свои пять долларов! А теперь пойдем прогуляемся, здесь так душно.

Она рывком распахнула дверь, дрожа от гнева, совершенно не соразмерного всему случившемуся. Ее трясло, бросало то в жар, то в холод, она знала, что щеки у нее горят, а глаза блестят, и когда сеньор Гонсалес с поклоном пожелал им приятно провести вечер, в ответ ей пришлось выдавить из себя улыбку.

— Держи, — сказал муж, протягивая ей ключ от номера. — Только, ради бога, не потеряй.

На утопающей в зелени *zocalo*^[37] играл оркестр. Он дудел, гудел, трубил и свистел на бронзово-витой эстраде. Площадь пестрела разномастным народом и буйством красок: мужчины и юноши вышагивали в одну сторону по розово-голубым плиткам мостовой, а женщины и девушки двигались им навстречу, кокетливо подмигивая друг дружке темными, как маслины, глазами; мужчины, держась под руки, то

сближались с ними, то расходились, с важным видом о чем-то переговариваясь, а женщины и девушки двигались парами, словно сплетаясь в венки и наполняя все вокруг сладким цветочным ароматом, разносимым летним ночным ветерком над остывающими узорами плиточной мостовой, и шепчась вслед разносчикам прохладительных напитков, тамала^[38] и энчилад^[39]. Оркестр грянул разок «Янки Дудль», к удовольствию светловолосой женщины в роговых очках, которая с широкой улыбкой повернулась к мужу. Затем, когда оркестр принялся наяривать «Кумпарситу» и «La Paloma Azul»^[40], она почувствовала, как на душе у нее потеплело, и она начала потихоньку, вполголоса подпевать.

— Ты ведешь себя как туристка, — одернул ее муж.

— Просто мне хорошо.

— Не будь душой, больше я не прошу.

Мимо них, шаркая, проходил торговец серебряными безделушками.

— *Senor?*

Пока оркестр играл, Джозеф осмотрел товар и выбрал браслет, очень изящную, очень изысканную вещицу.

— Сколько?

— *Veinte pesos, senior.*^[41]

— Ого, — с улыбкой произнес Джозеф и сказал по-испански: — Я дам тебе за него пять песо.

— Пять? — отозвался тот по-испански. — Да я умру с голоду.

— Не торгуйся с ним, — вмешалась жена.

— Не твое дело, — улыбаясь, сказал муж. — Пять песо, сеньор, — повторил он торговцу.

— Нет, нет, для меня это будет в убыток. Последняя цена — десять песо.

— Может быть, я дам тебе шесть, — предложил муж. — И ни песо больше.

Торговец в каком-то оторопелом испуге нерешительно замялся, а Джозеф небрежно кинул браслет на красный сафьяновый лоток и отвернулся:

— Я не буду брать. Всего хорошего.

— *Senor!* Шесть песо, и он ваш!

Мужчина рассмеялся.

— Дай ему шесть песо, дорогая.

Негнуцимися руками она достала бумажник и протянула торговцу несколько банкнот. Торговец ушел.

— Надеюсь, ты доволен? — спросила она у мужа.

— Доволен? — Улыбаясь, он подкинул браслет на бледной ладони. — Еще бы: за доллар и двадцать пять центов я купил браслет, который в Штатах стоит тридцать долларов!

— Мне надо тебе кое в чем признаться, — сказала жена. — Я дала этому человеку десять песо. —

— Что?! — Муж перестал улыбаться.

— Вместе с бумажками по одному песо я дала одну банкноту в пять песо. Не волнуйся. Я возьму их из собственных карманных денег. Эти пять песо не войдут в счет, который я представлю тебе в конце недели.

Он ничего не ответил, только опустил браслет в карман. Посмотрел на оркестр, разразившийся последними аккордами «Ау, Jalisco». А потом сказал:

— Ты дура. Эти люди выманят у тебя все деньги.

Теперь настал ее черед отодвинуться от него и замолчать. Она почувствовала скорее облегчение и принялась слушать музыку.

— Пойду-ка я обратно в номер, — сказал он. Устал я.

— Мы проехали от Пацкуаро всего сотню миль.

— Что-то у меня опять першит в горле. Пойдем.

Они пошли, удаляясь от музыки, от расхаживающих, перешептывающихся и смеющихся людей. Оркестр заиграл «Песню тореадора». Барабаны стучали, как огромные усталые сердца в летней ночи. В воздухе носился аромат папайи, запах непроходимых зеленых джунглей и подземных ключей.

— Я отведу тебя в номер, а сама вернусь сюда, — сказала она. — Мне хочется послушать музыку.

— Не будь такой наивной.

— Но мне нравится, черт возьми, мне нравится, это хорошая музыка. В ней нет притворства, она настоящая, ну или такая же настоящая, как все, что рождается в этом мире, вот почему она мне нравится.

— Когда мне нездоровится, было бы лучше, что бы ты не бегала по городу одна. Нехорошо, если ты что-то увидишь, а я нет.

Они вернулись в отель, но музыка по-прежнему была громко слышна.

— Если хочешь гулять в одиночку, то путешествуй одна и в Штаты возвращайся одна, — сказал Джозеф. — Где ключ?

— Наверное, потеряла.

Они вошли в номер и разделись. Он сел на край кровати, глядя на ночное патио. Наконец потрянул головой, потер глаза и вздохнул.

— Я устал. Сегодня у меня был ужасный день.

Он посмотрел на жену, сидевшую рядом с ним, и положил руку ей на предплечье.

— Прости. Я становлюсь таким дерганым, когда веду машину, да и по-испански мы с тобой говорим плохо. К вечеру я превращаюсь в комок нервов.

— Да, — отозвалась она.

Внезапно он пододвинулся к ней. Обняв ее и крепко прижав к себе, он положил голову ей на плечо и, закрыв глаза, горячо и страстно стал нашептывать ей на ухо:

— Ты же знаешь, мы должны быть вместе. На самом деле, в мире есть только мы вдвоем, что бы ни случилось, какие бы трудности ни выпали на нашу долю. Я так сильно люблю тебя, ты ведь знаешь. Прости меня, если тебе со мной трудно. Нам надо это пережить.

Ее взгляд был неподвижно устремлен через его плечо на пустую стену, и эта стена была в тот момент как сама ее жизнь — безбрежной пустотой: не за что зацепиться ни руке, ни чувствам. Она не знала, что сказать, что сделать в ответ. В другое время она бы растаяла. Но тут произошло то, что случается с металлом, который слишком часто раскаляли добела, ковали его, придавая форму. Но в конце концов металл перестает раскаляться добела, перестает принимать форму, он превращается в простую болванку. Так и она теперь — ненужная болванка, как механизм двигающаяся в его руках: слышит его и в то же время не слышит, понимает и не понимает, отвечает и не отвечает.

— Да, мы всегда будем вместе. — Она чувствовала, как шевелятся ее губы. — Мы любим друг друга.

Ее губы произносили то, что нужно было произнести, но душа сосредоточилась в этом ее взгляде, все глубже врезавшемся в пустоту стены.

— Да. — Она обнимала и не обнимала его. — Да.

В комнате было темно. За дверью в коридоре слышались чьи-то шаги: быть может, кто-то бросил взгляд на их закрытую дверь, быть может, услышал их жаркий шепот и принял его за банальный звук капающей воды из плохо завернутого крана или прохудившейся канализационной трубы, а может, за шелест книжных страниц под одиноко горящей лампой. Пусть себе шепчутся за дверью: никто в мире, проходя по мощеным коридорам, не станет прислушиваться.

— Есть вещи, о которых знаем только ты и я.

Его дыхание было свежо. Ей вдруг стало невыносимо жаль его, и себя, и весь мир. Каждый в этом мире так чертовски одинок. Джозеф был похож

на человека, обхватившего руками статую. Она не почувствовала никакого движения в своих членах. Только душа колебалась, словно невесомый и неярко флуоресцирующий дымок.

— Есть вещи, которые помним только ты и я, — говорил он, — и если кто-то из нас уйдет, он унесет с собой половину воспоминаний. Поэтому мы должны быть вместе, тогда, если один что-то забудет, другой напомним.

«Напомним о чем?» — спросила она себя. Но в ее памяти сами собой мгновенно замелькали один за другим эпизоды из их совместной жизни, которые он наверняка уже забыл: поздний вечер на пляже пять лет назад, один из первых восхитительных вечеров под тентом, когда они тайком прикасались друг к другу; или дни, проведенные в Санленде, когда они вдвоем до самых сумерек валялись, загорая, на песке. Или как они бродили по заброшенным серебряным рудникам, и еще тысячи и тысячи воспоминаний, одно сменяло и мгновенно оживляло другое!

Он снова крепко прижал ее к кровати.

— Ты знаешь, как мне одиноко? Знаешь, как одиноко мне становится, когда я устаю, а ты начинаешь ссориться, ругаться и все такое?

Он подождал ее ответа, но она молчала. Она почувствовала, как его веки щекочут ей затылок. Ей смутно вспомнилось, как он впервые пощекотал ресницами у нее за ухом. «Глаз-паук, — сказала она тогда и засмеялась. — Как будто у меня в ухе завелся маленький паучок». И вот теперь этот забытый паучок как безумный карабкался по ее шее. В его голосе было что-то такое, от чего она почувствовала, будто смотрит в окно уходящего поезда, а он стоит на платформе и говорит: «Не уезжай». А ее испуганный голос беззвучно кричит в ответ: «Но это ведь ты сидишь в вагоне! А я никуда не уезжаю!»

Она в замешательстве откинулась на кровать. Впервые за две недели он к ней прикоснулся. И в этом прикосновении была такая прямота и открытость, что стало ясно: неверно сказанное слово вновь оттолкнет его надолго.

Она легла, ничего не сказав.

Наконец, спустя долгое время, она услышала, как он встал, вздохнул и отошел. Забравшись в свою постель, он молча натянул на себя одеяло. В конце концов она тоже перевернулась, устроилась поудобнее и лежала, слушая, как в тесной и душной темноте тикают ее часы.

— Господи, — прошептала она наконец, — всего полдевятого.

— Спи, — сказал он.

Она лежала в темноте, обливаясь потом, обнаженная, на своей кровати, а издали едва слышно, чарующе, так что щемило сердце и замирала

душа, неслись звуки оркестра, выстукивающего и выдувающего свои мелодии. Ей хотелось бродить среди этих загорелых танцующих людей, петь вместе с ними, вдыхать октябрьский воздух, напоенный сладким запахом дыма, в этом маленьком городке, затерянном в мексиканских тропиках за тысячу тысяч миль от цивилизации, слушать хорошую музыку, притопывая и подпевая вполголоса. Но она с открытыми глазами лежала в постели. В следующий час оркестр сыграл «La Golondrina»^[42], «Маримбу», «Los Viejitos»^[43], «Michoacan la Verde»^[44], «Баркаролу» и «Luna Lunera»^[45].

В три утра она отчего-то проснулась и уже не могла заснуть; она лежала, чувствуя, как в комнату вливается прохлада глубокой ночи. Слушая дыхание мужа, она ощутила себя такой далекой и оторванной от всего мира. Она вспоминала долгий переезд от Лос-Анджелеса до Ларедо, штат Техас, это был раскаленный добела знойный кошмар. А потом его сменил сладкий, утопающий в зелени сон Мексики, расцвеченной красно-желто-сине-пурпурными красками, которые половодьем захлестнули их машину, закружившейся в водовороте цветов и запахов омытых дождем лесов и пустынных городов. Она вспоминала все маленькие городишки, лавочки, прогуливающих людей, осликов, а еще — все их ссоры, доходившие чуть ли не до драки. Она вспомнила все пять лет своего замужества. Долгие-долгие пять лет. За все это время не было ни одного дня, когда бы они разлучались; не было ни дня, когда бы она встречалась одна со своими друзьями; он всегда был рядом: наблюдал и критиковал. Он ни разу не позволил ей отлучиться больше чем на час, не потребовав от нее полного отчета. Иногда, чувствуя себя законченным воплощением зла, она украдкой, никому не сказав, уходила в кино на ночной сеанс и, вдыхая полной грудью воздух свободы, наблюдала, как на экране ходят и двигаются люди, которые были гораздо реальнее, чем она сама.

И вот пять лет спустя они здесь. Она бросила взгляд на его спящий силуэт. «Тысяча восемьсот двадцать пять дней рядом с тобой, муж мой, — подумала она. — Несколько часов ежедневно за пишущей машинкой, а потом весь оставшийся день и ночь — с тобой. Я чувствую себя как тот человек, замурованный в подземелье, из рассказа По „Бочонок Амонтильядо“: кричу, а меня никто не слышит».

За дверью послышались чьи-то шаги, и кто-то постучал.

— *Senora*, — позвал тихий голос по-испански. Три часа.

«О господи», — подумала женщина.

— Тс-с-с! — прошипела она, подскакивая к двери.

Но муж уже проснулся.

— Что такое? — крикнул он.

Она чуть-чуть приоткрыла дверь.

— Вы пришли не вовремя, — сказала она стоявшему в темноте человеку.

— Три часа, сеньора.

— Нет, нет, — шепотом запротестовала она с перекошенным от отчаяния лицом. — Я имела в виду завтра после полудня.

— В чем дело? — осведомился муж, зажигая свет. — Боже, еще только три часа ночи. Что этому болвану нужно?

Жена повернулась к нему и, закрыв глаза, выдохнула:

— Он приехал, чтоб отвезти нас к Парикутину.

— Господи, да ты, оказывается, по-испански вообще ни в зуб ногой!

— Уходите, — сказала она таксисту.

— Но я встал специально в такой ранний час, — запротестовал таксист.

Муж выругался и поднялся с кровати.

— Теперь мне уже все равно не уснуть. Скажи этому идиоту, мы оденемся и через десять минут поедем с ним, точка. О боже!

Она сказала, как он велел, и провожатый, скрывшись во тьме, отправился на улицу; прохладный свет луны отражался в полированных боках его такси.

— Ты бестолковщина, — накинулся на нее муж, облачаясь в две пары штанов, две футболки, спортивную куртку и еще, поверх всего, в шерстяную кофту. — Боже, моему горлу придет конец, это точно. Если я опять подхвачу ларингит...

— Возвращайся в кровать, черт тебя побери.

— Мне все равно теперь не уснуть.

— Послушай, мы уже проспали шесть часов, а ты еще днем поспал по крайней мере три часа; вполне достаточно.

— Ты испортила всю поездку, — выговаривал он, натягивая два свитера и две пары носков. — В горах холодно, одевайся теплее, да поживей.

Он напялил на себя куртку и теплый шарф и в этой куче одежды стал похож на огромный ком.

— Дай мне мои таблетки. Где вода?

— Возвращайся в постель, — сказала она. — Я не хочу, чтобы ты заболел и опять начал ныть.

Она отыскала лекарство и налила воды.

— Могла бы хоть время правильно ему назвать.

— Заткнись! — Она взяла стакан.

— Это еще один из твоих тупоголовых просчетов.

Она выплеснула воду ему в лицо.

— Оставь меня в покое, черт побери, отвали. Я сделала это не нарочно!

— Ты! — вскричал он. С лица его капала вода. Он сорвал с себя куртку. — Ты меня заморозишь, я же простужусь!

— А мне плевать, оставь меня в покое!

Она подняла стиснутые кулаки; пылающее лицо ее перекопилось от гнева, она была похожа на попавшего в лабиринт зверя, который видит перед собой выход из невозможного хаоса, но постоянно оказывается одураченным, возвращается назад, снова выбирает дорогу, словно кто-то водит его, искушает, нашептывает, обманывает, заводит все дальше и дальше, и наконец он натывается на ровную стену.

— Опустите руки! — закричал он.

— Я убью тебя, клянусь, убью! — орала она с искаженным, обезображенным лицом. — Оставь меня в покое! Я из кожи вон лезла... кровати, испанский, время не так назвала, ты думаешь, я не знаю? Ты думаешь, я не знаю, что виновата?

— Я простужусь, я простужусь.

Он устался на мокрый пол. Затем сел, с лица его стекала вода.

— Вот. Утрись! — Она швырнула ему полотенце.

Он начал отчаянно дрожать.

— Мне холодно!

— Чтоб ты простудился и умер, только оставь меня в покое!

— Мне холодно, мне холодно, — повторял он, стуча зубами. Дрожащими руками он вытер лицо. Я опять заболелю.

— Да снимите ты эту куртку! Она же мокрая!

Через некоторое время он перестал дрожать и встал, чтобы снять с себя насквозь промокшую куртку. Жена протянула ему кожаный пиджак.

— Пойдем, он нас ждет.

Он снова начал трястись.

— Я никуда не пойду, к черту, — сказал он, садясь. — Теперь ты должна мне пятьдесят долларов.

— Это за что?

— Вспомни, ты обещала.

И она вспомнила. Да, это было в Калифорнии, в первый день их путешествия, боже, в самый первый день, когда они поссорились из-за какой-то ерунды. И она в первый раз в своей жизни подняла руку, чтобы

ударить его. Но тут же в ужасе опустила ее и посмотрела на предательскую ладонь.

— Ты хотела ударить меня! — закричал он.

— Да, — ответила она.

— Что ж, — спокойно произнес он, — в следующий раз, если сделаешь что-либо подобное, выложишь пятьдесят долларов из своего кармана.

Такова была их жизнь, полная мелочных поборов, выкупов и шантажа. Она платила за все свои ошибки, случайные и намеренные. Тут доллар, там доллар. Если по ее вине был испорчен вечер, она оплачивала ужин из своих денег, отложенных на одежду. Если она критиковала только что просмотренную ими пьесу, которая ему понравилась, он приходил в ярость, и она, чтобы его успокоить, платила за театральные билеты. Так продолжалось год за годом, и чем дальше, тем хуже и хуже. Если купленная ими вместе книга не нравилась ей, но нравилась ему, стоило ей осмелиться и высказать свои замечания вслух, как тут же разражался скандал, а иногда это были небольшие стычки, продолжавшиеся день за днем, и в конце концов ей приходилось купить ему книгу, и вторую, и еще какие-нибудь запонки или другую ерунду, чтобы буря улеглась. Господи!

— Пятьдесят долларов. Ты обещала, если дело снова дойдет до истерик и рукоприкладства.

— Это была всего лишь вода. Я же не ударила тебя. Ладно, заткнись, я заплачу тебе эти деньги, я заплачу сколько угодно, лишь бы ты от меня отстал; оно того стоит. Оно стоит и пятисот долларов, и даже больше. Я заплачу.

Она отвернулась. «Если человек долго болеет, если он единственный ребенок в семье, единственный мальчик в семье, и так всю жизнь, он становится таким, как мой муж», — думала она. А потом ему исполняется тридцать пять лет, а он все еще не решил, кем станет в жизни: гончаром, социальным работником или бизнесменом. А его жена, напротив, как раз всегда знала, кем хочет стать — писателем. Должно быть, ужасно раздражает жить с женщиной, которая точно знает, чего она хочет и зачем ей нужно это писательство. И того, что ее рассказы — не все, лишь некоторые — наконец были проданы, хватило, чтобы их супружеская жизнь затрещала по швам. Поэтому с его стороны так естественно было убеждать ее в том, что она не права, а он прав, что она еще ребенок, который не может отвечать за свои поступки и растратит деньги впустую. Деньги должны были стать оружием, чтобы иметь над нею власть. Когда она срывалась, то вынуждена была отдавать часть своего драгоценного

заработка, писательских гонораров.

— А знаешь, — вдруг произнесла она вслух, — с тех пор, как мой рассказ взяли в крупный журнал, ты стал больше затевать ссор, а я плачу тебе больше денег.

— Что ты имеешь в виду? — спросил он.

Ей казалось, что ее догадка верна. С тех пор, как она продала рассказы в журнал, он начал применять особую логику для разрешения всяких ситуаций, логику, против которой она не могла поспорить. Дискутировать с ним было невозможно. В конце концов оказывалось, что она загнана в тупик, доводы исчерпаны, оправдания тоже, гордость растоптана в пух и прах. Оставалось лишь нападение. Она могла дать ему пощечину или что-нибудь разбить, а потом опять платила, платила, и он оставался победителем. Он отнимал у нее единственную цель, признание ее успеха, или, во всяком случае, он так думал. Однако, как ни странно, хотя она никогда ему об этом не говорила, ей было наплевать, что он забирает ее деньги. Если это могло восстановить мир, если это делало его счастливым, если он думал, что доставляет ей этим страдания, пусть будет так. У него было преувеличенное представление о ценности денег; потеря или растрата денег причиняла ему боль, а потому он думал, что его жена будет страдать так же. «Но мне не жаль, — думала она, — я отдала бы ему все деньги, потому что я пишу совсем не ради них, я пишу, чтобы сказать то, что хочу сказать, а он этого даже не понимает».

Тем временем он успокоился.

— Так ты заплатишь?

— Да. — Она быстро надевала брюки и куртку. — На самом деле, я давно хотела предложить. Отныне я буду отдавать тебе все деньги. Нет смысла держать наши доходы отдельно, как раньше. Завтра я все тебе отдам.

— Я этого не просил, — быстро сказал он.

— Я настаиваю. Все деньги будут теперь у тебя.

«Сейчас, — думала она, — я лишаю тебя твоего оружия. Отбираю его у тебя. Теперь ты не сможешь уже тянуть из меня деньги по одной монетке, жалкие цент за центом. Придется тебе придумать другой способ, чтобы досадить мне».

— Я... — начал было он.

— Нет, больше ни слова об этом. Они все твои.

— Я просто хотел, чтобы это послужило тебе уроком. У тебя тяжелый характер, — сказал он. — Я думал, ты будешь держать себя в руках, если будешь знать, что за это надо платить.

— О, конечно, ради денег я и живу, — съязвила она.

— Все деньги мне не нужны.

— Ладно, хватит.

Устав от этих разговоров, она открыла дверь и прислушалась. Соседи ничего не слышали, а если и слышали, то не обратили внимания. Фары ожидающего их такси освещали дворик перед гостиницей.

Они вышли из номера в прохладную лунную ночь. Впервые за долгие годы жена шла впереди мужа.

В эту ночь Парикутин был словно река из золота. Далекая, журчащая река расплавленной руды, стекающая в мертвое лавовое море, к черному вулканическому берегу. Время от времени, если затаить дыхание и умерить стук бьющегося в груди сердца, можно было услышать, как лава сталкивается с горы камни, которые, кувыркаясь, катятся по склону с замирающим рокотом. Над кратером виднелись красные дымы и сполохи. Небольшие буровато-серые облачка коронами, ореолами или клубами внезапно и беззвучно поднимались из глубин, подсвеченные снизу в розовые тона, а сверху облитые черным мраком.

Они стояли вдвоем на противоположном склоне в пронизывающем холоде, оставив позади лошадей. Рядом, в деревянном домике, ученые-вулканологи зажигали керосинки, готовили ужин, заваривали крепкий кофе и переговаривались шепотом, чтобы не потревожить ясное, взрывоопасное ночное небо. Они были далеко-далеко от всего остального мира.

Выехав из Уруапана, они долго тряслись в такси, как игральные кости в стакане, по застывшим в лунной дреме снежно-пепельным холмам, через голые бесплодные деревни, под холодными ясными звездами и старались выжать из подъема в горы все самое лучшее. Они подъехали к костру, горевшему как бы на морском дне. Вокруг костра сидели торжественно-серьезные мужчины и смуглые мальчишки и еще компания из семерых американцев — только мужчины, все в бриджах для верховой езды, — которые громко переговаривались под безмолвным небом. Привели лошадей, оседлали. Они отправились напрямик через реку лавы. Жена заговорила с другими янки, и те ей ответили. Начался обмен шутками. Через некоторое время муж ускакал вперед.

И вот они стояли вдвоем, глядя, как лава слизывает черный конус вершины.

Он упрямо молчал.

— Ну, что опять не так? — спросила она.

Он упорно смотрел прямо перед собой, в его глазах сверкали отблески лавы.

— Ты могла бы поскакать со мной. Я полагал, мы приехали в Мексику, чтобы осматривать достопримечательности вместе. А ты треплешься с этими проклятыми техасцами.

— Мне было так одиноко. Мы два месяца не видели ни одного американца. Я люблю мексиканские дни, а ночи — нет. Мне просто хотелось с кем-нибудь поговорить.

— Тебе хотелось рассказать им, что ты писательница.

— Неправда.

— Ты всем говоришь, что ты писательница, рассказываешь, какая ты талантливая и как тебе удалось продать один из своих рассказов в крупный журнал, и так у тебя появились деньги, чтобы приехать сюда, в Мексику.

— Один из них спросил, чем я занимаюсь, и я сказала. Да, черт возьми, я горжусь своей работой. Я десять лет ждала, пока хоть что-нибудь из моего напечатают.

Он долго рассматривал свою жену, освещенную пламенем вулкана, и наконец сказал:

— Знаешь, перед тем как ехать сюда, я вспомнил сегодня о твоей проклятой пишущей машинке и чуть не зашвырнул ее в реку.

— Ты не сделал этого!

— Нет, я просто запер ее в багажнике. Я сыт по горло и ею, и тем, как ты портишь нашу поездку. Ты ведь не со мной, ты сама по себе, для тебя существует только одно: ты и твоя чертова машинка, ты и Мексика, ты и твои впечатления, ты и твое вдохновение, ты и твое нервное восприятие, ты и твое одиночество. Я знал, что так будет и сегодня, я был в этом уверен, как в первом пришествии Христа! Мне надоело, что после каждой нашей совместной экскурсии ты бежишь галопом, чтобы засесть за эту машинку и барабанить по клавишам в любое время дня и ночи. Мы приехали сюда отдыхать!

— Я уже неделю не притрагивалась к машинке, потому что она тебя раздражает.

— Вот и не притрагивайся к ней еще неделю или месяц, пока мы не вернемся домой. Твое проклятое вдохновение может и подождать!

«Зачем я сказала ему, что отдам все свои деньги? — подумала она. — Зачем я отняла у него это оружие, которое не давало ему добраться до моей настоящей жизни — до моей работы, до машинки! А теперь я сама скинула защитную пелену денег, он стал искать новое оружие и нашел верный способ — машинку! О господи!»

Внезапно, охваченная вновь поднявшейся в ней волной гнева, она неосознанно стала отталкивать его от себя. Она делала это без всякой

ярости. Она просто толкнула его. Один, два, три раза. Она не сделала ему больно. Это был просто отталкивающий жест. Ей хотелось ударить его, быть может, сбросить его вниз со скалы, но вместо этого она трижды толкнула его, чтобы обозначить свою неприязнь и сказать, что разговор окончен. После этого они стояли каждый сам по себе, за их спинами кони тихо переступали копытами, ночной воздух становился все холодней, при каждом выдохе изо рта у них вырывались белые облачка пара, а в хибарке ученых на голубой газовой горелке закипал кофе, и его роскошное благоухание пронизывало освещенные луной вершины.

Через час, когда первые неясные сполохи зари коснулись холодного неба на востоке, они сели на своих лошадей и отправились через рассеивающуюся мглу в обратный путь, в сторону мертвого города и погребенной под слоем лавы церкви. Проезжая через этот застывший поток, она думала: «Ну почему его лошадь не оступится, почему не сбросит его на эти острые обломки камней, ну почему?» Но ничего не происходило. Они скакали дальше. Из-за горизонта поднималось багровое солнце.

На следующий день они проспали до часу. Одевшись, жена с полчаса сидела на кровати, ожидая пробуждения мужа, наконец он зашевелился и повернулся к ней — небритый, бледный от усталости.

— У меня болит горло, — были его первые слова.

Она молчала.

— Не надо было водой на меня плескать, — продолжал он.

Она встала, подошла к двери и собралась выходить.

— Я хочу, чтобы ты осталась, — сказал он. — Мы останемся здесь, в Уруапане, еще на три-четыре дня.

Наконец она проговорила:

— Я думала, мы поедем дальше, в Гвадалахару.

— Не будь туристкой. Ты испортила нам всю поездку к вулкану. Я хочу отправиться в обратный путь завтра или послезавтра. Пойди посмотри на небо.

Она вышла и посмотрела на небо. Оно было чистым и голубым. Вернувшись, она доложила ему об этом:

— Вулкан затихает, иногда на целую неделю. Мы можем позволить себе подождать неделку, пока он снова не начнет извергаться.

— Да, можем. Мы подождем. И ты заплатишь за такси туда и обратно, и все сделаешь как положено, и получишь от этого удовольствие.

— Ты думаешь, теперь мы еще сможем получить от этого

удовольствие? — спросила она.

— Если это будет последним аккордом нашей поездки, мы получим от этого удовольствие.

— Ты настаиваешь?

— Мы подождем, пока небо снова не затянет дымом, и вернемся на гору.

— Пойду куплю газету. — Она закрыла дверь и вышла в город.

Она шла по свежeweымытым улицам, заглядывала в сверкающие витрины, с наслаждением вдыхала удивительно чистый воздух, и ей было бы так хорошо, если б не эта дрожь, непрерывная дрожь глубоко внутри. Наконец, пытаясь унять грохочущую в груди пустоту, она подошла к водителю, стоявшему возле своего такси.

— *Senor*, — обратилась к нему она.

— Да? — отозвался водитель.

Она почувствовала, как замерло ее сердце. Затем оно снова забилося, и она продолжала:

— За сколько вы довезете меня до Морелии?

— Девяносто песо, сеньора.

— Я смогу сесть там на поезд?

— Вы и здесь можете сесть на поезд, сеньора.

— Верно, но по некоторым причинам я не могу здесь его ждать.

— Тогда я отвезу вас в Морелию.

— Идемте со мной, мне еще кое-что надо сделать.

Такси осталось ждать напротив отеля «Де лас флорес». Женщина вошла туда одна и еще раз оглядела милый дворик, усаженный цветами, прислушалась к звукам странного голубого рояля, на котором играла девушка; на сей раз это была «Лунная соната». Она вдохнула пронзительный, кристально чистый воздух и, закрыв глаза, опустив руки, покачала головой. Она толкнула дверь и тихонько открыла ее.

«Почему именно сегодня? — спросила она себя. — Почему не в любой другой день за последние пять лет? Чего я ждала, зачем медлила?» Потому. Тысячи потому. Потому что всегда надеешься, что все снова пойдет так, как было в первый год после свадьбы. Потому что бывали моменты, теперь они случаются гораздо реже, когда он вел себя безупречно целыми днями, даже неделями, когда вам было хорошо вместе и мир был расцвечен в зеленые и ярко-голубые тона. Бывали моменты, как вчера, когда он на мгновение приоткрывал свою броню, обнажая перед ней гнездившиеся внутри страх и жалкое одиночество, и говорил: «Я люблю тебя, ты мне нужна, не покидай меня никогда, мне страшно без тебя». Потому что иногда им было хорошо

поплакать вдвоем, помириться, и вслед за примирением они неизбежно проводили дни и ночи в согласии. Потому что он был красив. Потому что она многие годы жила одна, пока не встретила с ним. Потому что ей не хотелось снова остаться одной, но теперь она знала: лучше быть одной, чем так жить, потому что не далее как вчера ночью он уничтожил ее пишущую машинку — не физически, нет, но словом и мыслью. С тем же успехом он мог бы сгрести саму жену в охапку и сбросить с моста в реку.

Она отдернула руку от двери. словно электрический разряд в десять тысяч вольт парализовал ее тело. Плитки пола жгли ей ступни. На лице ее не осталось красок, все мысли испарились.

Он лежал, повернувшись к ней спиной, и спал. В комнате царил зеленый сумрак. Быстро и бесшумно она накинула пальто и проверила деньги в кошельке. Одежда и пишущая машинка не имели для нее теперь никакого значения. Все превратилось в гулкую пустоту. Все вокруг, как огромный водопад, летело в прозрачную бездну. Ни удара, ни сотрясения — лишь светлые воды, падающие из одной пустоты в другую и дальше в бесконечную бездну.

Она стояла у кровати и смотрела на лежащего мужчину: знакомые черные волосы на затылке, его спящий профиль. Вдруг он шевельнулся и спросил сквозь сон:

— Что?

— Ничего, — ответила она.

— Ничего, совсем ничего.

Она вышла из комнаты и закрыла за собой дверь.

Такси, ревя, на невероятной скорости помчалось прочь, розово-голубые стены домов скрывались позади, люди отскакивали в сторону, встречные машины чудом избегали столкновения; и вот уже позади остались большая часть города, отель, спящий в этом отеле человек и еще...

Больше ничего.

Мотор такси заглох.

«О нет, нет, — подумала Мэри, — господи, только не это».

Сейчас заведется, должен завестись.

Таксист выскочил из машины, бросив испепеляющий взгляд на небеса, рывком открыл капот и заглянул в железное нутро автомобиля, словно собираясь вырвать его потроха своими скрюченными руками; на лице его играла нежнейшая улыбочка невыразимой ненависти, затем он обернулся к Мэри и, заставив себя отбросить ненависть и смириться с Господней

Волей, пожал плечами.

— Я провожу вас до автобусной остановки, — предложил он.

«Нет, — сказали ее глаза. — Нет, — едва не шепнули ее губы. — Джозеф проснется, побежит искать, найдет меня на остановке и потащит обратно. Нет».

— Я отнесу ваш багаж, сеньора, — сказал таксист и уже понес было чемоданы, но ему пришлось вернуться, потому что Мэри неподвижно сидела на месте, говоря кому-то: «Нет, нет, нет», — и тогда таксист помог ей выйти из машины и показал, куда надо идти.

Автобус стоял на площади, в него садились индейцы: одни входили молча, с какой-то величавой медлительностью, другие галдели, как стая воробьев, толкая перед собой тюки, детей, корзины с цыплятами и поросят. Водитель был одет в форму, которая лет двадцать не знала ни утюга, ни стирки; высунувшись в окно, он кричал и перешучивался с людьми, окружившими автобус, в то время как Мэри вошла в салон, наполненный дымом горячей смазки мотора, запахом бензина и масла, запахом мокрых кур, мокрых детей, потных мужчин и женщин, запахом старой обивки, протертой до дыр, и маслянистой кожи. Мэри стала пробираться в конец салона, чувствуя, как ее вместе с ее чемоданами провожают любопытные взгляды, и подумала: «Уезжаю, наконец-то я уезжаю, я свободна, я больше никогда в жизни его не увижу, я свободна, я свободна».

Она едва не рассмеялась.

Автобус тронулся, пассажиры начали раскачиваться и трястись, громко смеясь и разговаривая, и мексиканский пейзаж вихрем закружил за окном, словно сладкий сон, не знающий, испариться ему или остаться, а потом зеленое буйство скрылось из виду, вместе с ним исчез и город, и отель «Делас флорес» с открытым патио, где в проеме распахнутой двери — невероятно, — засунув руки в карманы, стоял Джозеф, и смотрел он не на автобус и не на нее, а на небо и на клубы вулканического дыма; а она уезжала прочь от него, и вот он уже совсем далеко, его фигурка стремительно уменьшалась, будто падая в глубокую шахту — беззвучно, без единого крика. И вот, прежде чем у Мэри появилось намерение или желание помахать ему, он уже казался не больше мальчишки, потом ребенка, потом младенца, все уменьшаясь и уменьшаясь, затем автобус, взревев, свернул за угол, кто-то в переднем ряду заиграл на гитаре, а Мэри продолжала напряженно вглядываться назад, словно бы стремясь проникнуть взглядом сквозь стены, деревья и расстояния, чтобы еще разок увидеть мужчину, так спокойно глядящего в голубое небо.

Наконец у нее затекла шея, она повернулась вперед, скрестила руки на

грудь и стала размышлять, чего же она добилась своим отъездом. Внезапно перед ней замаячили горизонты новой жизни, мгновения сменяли друг друга так же быстро, как повороты и виражи шоссе, внезапно бросившие ее к самому краю обрыва, и каждый изгиб дороги, как и годы, возникал впереди неожиданно. Какое-то время ей было просто хорошо сидеть, откинув голову на тряскую спинку кресла, и созерцать тишину. Ничего не знать, ни о чем не думать, ничего не чувствовать, словно умереть на мгновение, по крайней мере на час: глаза закрыты, сердце затихло, в теле ни жара, ни холода — и ждать, когда жизнь сама найдет тебя. Пусть автобус везет тебя к поезду, поезд — к самолету, самолет — к городу, а город приведет тебя к твоим друзьям, а потом она, словно камешек, попавший в бетономешалку, закрутится в водовороте городской жизни, поплывет по течению и осядет в любой подходящей нише.

Автобус мчался вперед, ныряя и лавируя сквозь напоенный слепополуденными зелеными ароматами воздух, между опаленными львиными шкурами гор, мимо сладких, как вино, и светлых, как вермут, рек, через каменные мосты, под акведуками, по старинным трубам которых, словно свежий ветер, бежала вода, мимо церквей, сквозь облака пыли, и вдруг спидометр в голове у Мэри затрещал: «Тысяча миль, Джозеф остался позади, за тысячу миль, и я никогда больше его не увижу». Эта мысль засела в ее мозгу, и небо стала затягивать чернильная тень. «Никогда, никогда, до самой смерти и даже после смерти я не увижу его ни на час, ни на миг, ни на секунду, совсем, совсем не увижу».

Ее пальцы постепенно начали цепенеть. Она почувствовала, как холод ползет вверх, к запястьям, к предплечьям, к плечам, захлестывает сердце и поднимается дальше, по шее, к голове. Она застыла, словно сосуд, наполненный иглами, льдом, шипами и грохочущей, гулкой пустотой. Глаза ее превратились в сухие лепестки, веки стали на тысячу фунтов тяжелее железа, и каждая часть ее тела словно была выкована из железа, стали, меди или платины. Ее тело весило десять тонн, и каждая его часть была невероятно тяжелой, и под этим гигантским спудом, раздавленное, отчаянно борющееся за жизнь, сдавленно билось ее сердце, трепеща и вырываясь, как обезглавленная курица. А под известково-стальной броней ее тела, глубоко внутри, засели страх и окруженный стенами крик, и кто-то снаружи, закончив свой труд, похлопал мастерком о каменную кладку, а самое нелепое, что она увидела, как ее собственная рука, вооруженная мастерком, укладывает последний кирпич, замешивает густой раствор и крепко вмуровывает все это в построенный ею самой застенок.

Язык у нее был как ватный. Глаза горели черным, как вороново крыло,

огнем, свистели хищные крылья, голова ее была налита страхом и тяжелым свинцом, а рот словно заткнут невидимым ватным кляпом, так что голова ее, казалось, проваливается между невероятно массивными, хотя массы этой не было заметно, руками. Ее руки были словно свинцовые подушки, словно мешки с цементом, обрушившиеся на ее бесчувственные колени; ее уши были словно водопроводные краны, в которых гуляли холодные ветры, а вокруг, ничего не замечая, не глядя на нее, сидели пассажиры автобуса, на огромной, космической скорости катившего через города и поля, холмы и пшеничные равнины, с каждой минутой унося ее прочь за миллионы, десятки миллионов лет от привычной жизни.

«Только не закричи, — думала она. — Нет! Нет!»

Она почувствовала сильное головокружение, кровь отлила от головы, и пестрое мельтешение автобуса, ее рук, юбки сделалось синевато-черным, так что еще немного — и Мэри свалилась бы на пол, под удивленные возгласы опешивших пассажиров. Но она низко-низко склонила голову и глубоко вдохнула пахнувший курами, потом, кожей, угарным газом, благовониями и одинокой смертью воздух, пропустила его через медные ноздри, через саднящую глотку внутрь легких, пылавших, словно она проглотила неоновую лампу. Джозеф, Джозеф, Джозеф, Джозеф.

Все оказалось так просто. Страх — это всегда просто.

«Я не могу жить без него, — подумала она. — Я лгала самой себе. Он нужен мне, господи, я...»

— Остановите автобус! Остановите!

От ее крика автобус резко затормозил, всех бросило вперед. Она стала пробираться к двери, перешагивая через детей, лающих собак, наобум расчищая себе дорогу неподъемными, непослушными руками; она услышала треск разорвавшегося на ней платья, снова закричала, дверь открылась, водитель остолбенело смотрел на женщину, которая продвигалась к нему, шатаясь как пьяная; она упала на гравий, порвав чулки, и лежала так, пока кто-то не склонился над ней. Затем ее вырвало на дорогу, обычное недомогание; кто-то вынес из автобуса ее чемоданы, а она, захлебываясь от рыданий, объясняла им, что ей надо туда, — она махала рукой назад, в сторону города, оставшегося в миллионе лет, в миллионе миль отсюда, а водитель автобуса только качал головой. Она полулежала на земле, обхватив руками свой чемодан, и рыдала, а автобус стоял рядом, возвышаясь над ней, под палящими лучами солнца, и она стала махать ему: поезжайте, поезжайте дальше; что вы все устали на меня, не беспокойтесь, я вернусь обратно на попутной машине, оставьте меня здесь, поезжайте; и наконец дверь автобуса сложилась гармошкой, медные лица-

маски индейцев понеслись дальше, прочь, и автобус вскоре исчез из ее сознания. Мэри еще несколько минут лежала на чемодане и плакала, она уже не чувствовала прежней тяжести и дурноты, но сердце ее трепетало в неистовом волнении, ее обьял холод, словно она только что вышла из озерной проруби. Поднявшись, мелкими перебежками она перетащила чемодан на противоположную сторону шоссе и, шатаясь, стала ждать попутной машины: шесть из них со свистом промчались мимо, и лишь седьмая наконец остановилась. Роскошное авто из Мехико, за рулем сидел представительный мексиканец.

— Вы едете в Уруапан? — вежливо спросил он, не отводя взгляда от ее глаз.

— Да, — наконец произнесла она, — в Уруапан.

Она ехала в этой машине, мысленно разговаривая сама с собой:

— Что значит — быть сумасшедшей?

— Не знаю.

— А ты знаешь, что такое безумие?

— Понятия не имею.

— А кто знает? Может, этот холод был началом?

— Нет.

— А тяжесть, может, это симптом?

— Заткнись.

— Сумасшедшие ведь кричат?

— Я не хотела кричать.

— Но это произошло. Сперва была тяжесть, тишина и пустота. Этот ужасный вакуум, этот космос, эта тишина, это одиночество, эта оторванность от жизни, эта замкнутость внутри себя, нежелание смотреть на мир, вступать с ним в контакт. И не говори мне, что в этом нет зачатков безумия.

— Есть.

— Ты была готова сброситься с обрыва.

— Я остановила автобус как раз у края скалы.

— А что, если б ты не остановила автобус? Он приехал бы в какой-нибудь маленький город или в Мехико, водитель повернулся бы к тебе и сказал через пустой салон: «Эй, сеньора, приехали». Молчание. «Сеньора, вылезайте». Молчание. «Сеньора?» Твой взгляд устремлен в пустоту. «Сеньора!» Тупой взгляд, устремленный за горизонты жизни, и в нем — пустота, такая пустота. «Сеньора!» Никакой реакции. «Senora!» Едва уловимое дыхание. Ты не можешь подняться, не можешь подняться, не можешь подняться, не можешь подняться.

Ты даже не слышишь. «Сеньора!» — будет кричать он, он будет тормозить тебя за плечо, а ты даже не почувствуешь. Вызовут полицию, но это будет за гранью твоего восприятия, за пределами твоего взгляда, твоего слуха, твоего осязания. Ты даже не услышишь стука тяжелых сапог. «Senora, вам следует покинуть автобус». Ты не слышишь. «Сеньора, как вас зовут?» Твои губы сомкнуты. «Сеньора, пройдемте с нами». Ты сидишь как каменный истукан. «Давайте посмотрим ее паспорт». Они роются в твоём бумажнике, который беззаботно покоится у тебя на застывших коленях. «Сеньора Мэри Элиот из Калифорнии. Сеньора Элиот?» Твой взгляд неподвижно устремлен в пустое небо. «Откуда вы приехали? Где ваш муж?» Я никогда не была замужем. «Куда вы направляетесь?» Никуда. «Здесь сказано, что она родилась в Иллинойсе». Я нигде не родилась. «Сеньора, сеньора». Они вынуждены тащить тебя, словно камень, из автобуса. Ты ни с кем не хочешь разговаривать. Нет, нет, ни с кем. «Мэри, это я, Джозеф». Нет, слишком поздно. «Мэри!» Слишком поздно. «Ты не узнаешь меня?» Слишком поздно, Джозеф. Нет, Джозеф, нет, слишком поздно, слишком поздно.

— Так все и было бы, верно?

— Да. — Она задрожала.

— Если бы ты не остановила автобус, тяжесть давила бы на тебя все сильнее и сильнее, верно? Тишина бы сгущалась и сгущалась и все более превращалась бы в пустоту, пустоту, пустоту.

— Да.

— Сеньора, — вмешался в ее внутренний диалог мексиканец. — Не правда ли, сегодня прекрасный день?

— Да, — ответила она ему и в то же время своим мыслям.

Пожилой мексиканец довез ее прямо до гостиницы, помог выйти из машины, снял шляпу и распрощался.

Не глядя на него, она кивнула в ответ и, кажется, произнесла какие-то слова благодарности. Словно в тумане, она вошла в отель и вновь с чемоданом в руках очутилась в комнате, из которой ушла тысячу лет назад. Муж по-прежнему был здесь.

Он лежал в вечернем сумеречном свете, повернувшись к ней спиной, и, казалось, он так ни разу не пошевелился за все то время, пока ее не было. Он даже не знал, что она уходила, была на краю земли и снова вернулась. Он даже не знал.

Она стояла, глядя на его шею, на темные вьющиеся волоски в вырезе рубашки, похожие на упавший с неба пепел.

Потом она очутилась под жаркими солнечными лучами в мощеном дворике. За прутьями бамбуковой клетки с шорохом трепетала птица. В невидимой темной прохладе девушка играла на рояле какой-то вальс.

Она смутно видела, как две бабочки, порхавшие и метавшиеся из стороны в сторону, сели на куст возле ее руки и слились вместе. Она чувствовала, как ее взгляд неотрывно следит за двумя яркими золотисто-желтыми силуэтами на зеленой листве, их расплывчатые крылья бились все ближе, все медленней. Губы ее шевелились, а рука бесчувственно качалась как маятник.

Она смотрела, как руки ее ударили по воздуху, пальцы схватили двух бабочек, сжимая их все крепче, крепче, еще крепче. Откуда-то из горла рвался крик, но она подавила его. Крепче, крепче, еще крепче.

Рука разжалась сама собой. На блестящие плитки патио высыпались две горстки яркого порошка. Она посмотрела вниз, на эти жалкие остатки, а потом резко подняла глаза.

Девушка, что играла на рояле, стояла посреди садика, глядя на нее расширившимися от испуга глазами.

Женщина протянула к ней руку, желая как-то сократить расстояние, что-нибудь сказать, объяснить, извиниться перед девушкой, перед этим местом, перед миром, перед всеми на свете. Но девушка убежала.

Все небо было покрыто дымом, который поднимался точно вверх, а затем поворачивал к югу, в сторону Мехико.

Она стерла пыльцу с онемевших пальцев и, глядя в дымное небо, сказала через плечо, не зная, слышал ли ее мужчина, лежащий в номере:

— Знаешь... нам надо попробовать съездить к вулкану сегодня. Похоже, извержение что надо. Бьюсь об заклад, огня там будет предостаточно.

«Да, — подумала она, — и этот огонь заполонит все небо и будет падать вокруг, он сожмет нас в свои тиски — крепко, крепко, еще крепче, — а потом отпустит, и мы полетим, обратившись в огненный пепел, и ветер понесет нас на юг».

— Ты слышал, что я сказала?

Она встала у кровати с поднятым кулаком, но так и не ударила его по лицу.

Рассказ о любви

A Story of Love 1951 год

Переводчик: О.Акимова

Это была неделя, когда Энн Тейлор приехала преподавать в летней школе в Гринтауне. Ей тогда исполнилось двадцать четыре, а Бобу Сполдингу всего четырнадцать.

Все хорошо помнят Энн Тейлор, ведь она была той учительницей, которой все дети хотели приносить огромные апельсины или розовые цветы и для которой они сами, без напоминаний, сворачивали желто-зеленые шуршащие карты. Она была той девушкой, которая, казалось, всегда шла мимо вас в те дни, когда под сводами дубов и вязов в старом городе сгущалась зеленая сень, она шла, а по лицу ее скользили яркие тени, и скоро все взгляды были устремлены на нее. Она была словно летние спелые персики среди снежной зимы, словно прохладное молоко к кукурузным хлопьям жарким утром в начале июня. Каждый раз, когда хотелось чего-то противоположного, Энн Тейлор всегда была рядом. А те редкие дни, когда все в природе находится в равновесии, как кленовый лист, поддерживаемый дуновениями ветерка, те дни были похожи на Энн Тейлор, и по справедливости в календаре их следовало бы назвать ее именем.

Что же до Боба Сполдинга, он был из тех мальчишек, кто октябрьскими вечерами одиноко бродит по городу, взметая за собой ворох опавших листьев, которые кружат за ним, словно стая мышей в канун Дня всех святых, или можно было увидеть, как он загорает на солнышке, будто медлительная белая рыба, выпрыгнувшая из зябких вод Лисьего ручья, чтобы к осени лицо его приобрело блеск жареного каштана. Можно было услышать его голос в верхушках деревьев, где резвится ветер; хватаясь руками за ветки, он спускается вниз, и вот он, Боб Сполдинг, сидит одиноко, глядя на мир; а потом его можно увидеть на поляне в одиночестве читающим долгими послеполуденными часами, и лишь муравьи ползают по его книжкам; или на крыльце бабушкиного дома играет сам с собой в шахматы, или подбирает одному ему известную мелодию на черном фортепьяно у открытого окна. Но вы никогда не увидите его в компании других детей.

В то первое утро мисс Энн Тейлор вошла в класс через боковую дверь,

и все дети сидели смирно на своих местах, глядя, как она красивым круглым почерком выводит на доске свое имя.

— Меня зовут Энн Тейлор, — сказала она спокойно. — Я ваша новая учительница.

Казалось, вся комната вдруг заполнилась светом, как будто кто-то отодвинул крышу; а деревья зазвенели от птичьих голосов. Боб Сполдинг сидел, зажав в руке только что сделанный шарик из жеваной бумаги. Но, послушав полчаса мисс Тейлор, он потихоньку выронил шарик на пол.

В тот день после уроков он принес ведро с водой, тряпку и начал мыть классные доски.

— Что это ты? — обернулась к нему мисс Тейлор, проверявшая за столом тетради.

— Да что-то доски грязные, — сказал Боб, не отрываясь от дела.

— Да, знаю. А тебе правда хочется их вымыть?

— Наверно, надо было попросить разрешения, — сказал он и смущенно остановился.

— Сделаем вид, что ты попросил, — ответила она с улыбкой, и, увидав эту улыбку, он молниеносно разделался с досками и с таким неистовым усердием бросился вытряхивать пропитанные мелом тряпки у открытого окна, что на улице, казалось, поднялась настоящая метель.

— Так, посмотрим, — произнесла мисс Тейлор. Ты Боб Сполдинг, верно?

— Да, мэм.

— Что ж, спасибо, Боб.

— Можно, я буду мыть их каждый день? — спросил он.

— А может, надо дать попробовать и другим?

— Я хочу сам мыть, — сказал он. — Каждый день.

— Ладно, несколько дней помоешь, а там посмотрим, — сказала она.

Он все не уходил.

— По-моему, тебе пора бежать домой, — сказала она наконец.

— До свидания.

Он нехотя побрел к двери и вышел из класса.

На следующее утро возле дома, в котором она снимала квартиру с пансионом, он очутился именно в тот момент, когда она выходила, чтобы идти в школу.

— А вот и я, — сказал он.

— А знаешь, я не удивлена, — отозвалась она.

Они пошли вместе.

— Можно, я понесу ваши книги? — спросил он.

— Что ж, спасибо, Боб.

— Пустяки, — сказал он и взял книги.

Так они шли несколько минут, и Боб не проронил ни слова. Она бросила на него взгляд чуть сверху вниз, увидела, как счастливо и беззаботно он шагал, и решила: пусть сам нарушит молчание, но он так и не заговорил. Когда они подошли к школьному двору, он вернул ей книги.

— Пожалуй, дальше мне лучше идти одному, — сказал он. — А то ребята еще не поймут.

— Кажется, я тоже не очень понимаю, Боб, — сказала мисс Тейлор.

— Ну как же, мы ведь друзья, — с присущим ему прямодушием важно произнес Боб.

— Боб... — начала было она.

— Что, мэм?

— Ничего.

Она пошла прочь.

— Я буду в классе, — сказал Боб.

И он был в классе, и следующие две недели оставался там после уроков каждый вечер, всегда молча, спокойно мыл доски, мыл тряпки, сворачивал карты, а она тем временем проверяла тетради, и в классе царила такая тишина, какая бывает только в четыре после полудня, когда солнце медленно клонится к закату, тихой кошачьей поступью шлепаются одна о другую тряпки и вода капает с губки, которой водят по доске, слышен шорох переворачиваемых страниц, скрипение пера да иногда жужжанье мухи, которая со всей яростью, на какую способно ее крохотное тельце, бьется о высоченное прозрачное стекло классного окна. Порой эта тишина продолжается почти до пяти, когда мисс Тейлор вдруг замечает, что Боб Сполдинг тихо сидит за последней партой, молча смотрит на нее и ждет дальнейших распоряжений.

— Что ж, пора домой, — скажет мисс Тейлор, поднимаясь из-за стола.

— Да, мэм.

И кинется за ее шляпой и пальто. И закроет вместо нее класс на ключ, если только сторож не собирается прийти сюда позже. Потом они выйдут из школы, пройдут через пустынный двор, где сторож, стоя на стремянке, неспешно убирает цепные качели, и солнце прячется за магнолиями. О чем только они не разговаривали.

— Кем ты хочешь стать, Боб, когда вырастешь?

— Писателем, — ответил он.

— О, это высокая цель, требует немало труда.

— Знаю, но я попробую, — сказал он. — Я много читал.

— А что, Боб, тебе разве нечего делать после уроков?

— То есть как это?

— Я хочу сказать, мне не нравится, что ты так много времени сидишь в четырех стенах, моешь доски.

— А мне нравится, — сказал он. — Я никогда не делаю того, что мне не нравится.

— И все-таки.

— Нет, я иначе не могу, — произнес он. Подумал немного и прибавил: — Можно вас попросить кое о чем, мисс Тейлор?

— Смотря о чем.

— Каждую субботу я гуляю пешком где-то от Бьютрик-стрит вдоль ручья к озеру Мичиган. Там куча бабочек, раков и всяких птиц. Может, и вы хотите со мной прогуляться?

— Спасибо, — поблагодарила она его.

— Значит, придете?

— Боюсь, что нет.

— Думаете, вам будет скучно?

— Что ты, я вовсе так не думаю, но я буду занята.

Он хотел было спросить, чем занята, но промолчал.

— Я беру с собой сэндвичи, — сказал он. — С ветчиной и пикулями. И апельсиновую шипучку, и просто иду не спеша вдоль берега. К полудню я у озера, а потом иду обратно и часам к трем уже дома. Получается такой приятный день, вот бы и вам пойти со мной. Вы не собираете бабочек? У меня большая коллекция. Мы могли бы начать собирать и для вас тоже.

— Спасибо, Боб, но нет, может, в другой раз.

Он посмотрел на нее и сказал:

— Я не должен был вас просить, да?

— Ты вправе просить меня о чем угодно, — сказала она.

Через несколько дней она отыскала у себя старую книжку «Большие надежды»^[46], которая была ей уже не нужна, и отдала Бобу. Он с благодарностью взял ее, принес домой, всю ночь не смыкал глаз, прочитал до конца и наутро заговорил о ней с мисс Тейлор. Теперь каждый день он встречал ее неподалеку от ее дома, и почти каждый раз она начинала: «Боб...» — и хотела сказать, что не надо больше ее встречать, но так и не договаривала, а он по дороге в школу и из школы рассуждал с ней о Диккенсе, Киплинге, По и других писателях. В пятницу утром она нашла на своем столе бабочку. Она хотела уже спугнуть ее, но бабочка оказалась мертвой, ее положили на стол, пока мисс Тейлор не было в классе. Через

головы учеников она посмотрела на Боба, но он сидел, уставившись в книгу; не читая, а просто уставившись.

Примерно тогда она впервые поймала себя на том, что не в состоянии вызвать Боба отвечать. Ее карандаш зависал над его фамилией, а потом она вызывала кого-то другого, выше или ниже по списку. И когда они шли в школу или из школы, она не могла на него посмотреть. Зато в иные дни, ближе к вечеру, когда он высоко поднимал руку, стирая с доски арифметические символы, она ловила себя на том, что долгие мгновения смотрит на него, прежде чем снова возвратиться к своим тетрадам.

И вот однажды субботним утром, когда он стоял посреди ручья в закатанных до колен штанах и, наклонившись, ловил под камнями раков, он вдруг поднял глаза, а на берегу, у самой воды, — мисс Энн Тейлор.

— Ну, вот я и пришла, — сказала она, улыбаясь.

— А знаете, я не удивлен, — сказал он.

— Покажи мне раков и бабочек, — попросила она.

Они пошли к озеру и сидели на песке, их оведал теплый ветерок, играя волосами и кружевными оборками блузки мисс Тейлор, а Боб сидел чуть поодаль; они ели сэндвичи с ветчиной и пикулями и торжественно пили апельсиновую шипучку.

— Ух, до чего ж здорово, — сказал он. — В жизни не было так здорово.

— Вот уж не думала, что когда-нибудь попаду на такой пикник, — сказала она.

— С каким-то сопливым мальчишкой.

— И тем не менее я не чувствую неловкости.

— Радостно слышать.

Больше они почти не разговаривали.

— Считается, что все это плохо, — сказал он потом. — А почему, понять не могу. Мы просто гуляли, ловили всяких там бабочек, раков, ели сэндвичи. Но если б папа с мамой узнали и ребята тоже, мне б здорово досталось. А другие учителя, наверное, тоже над вами бы смеялись, да?

— Боюсь, что так.

— Тогда, наверное, лучше нам больше не ловить бабочек.

— Сама не понимаю, как вышло, что я здесь, — сказала она.

Так закончился этот день.

Вот примерно и все, что касается встреч Энн Тейлор и Боба Сполдинга: две-три бабочки-данаиды, книжка Диккенса, дюжина пойманных раков, четыре сэндвича да две бутылочки апельсинового «Краша». В следующий понедельник, совершенно неожиданно, Боб так и

не дождался мисс Тейлор выходящей из дома, чтобы идти в школу, хотя прождал ее довольно долго. Оказалось, она вышла раньше обычного и была уже в школе. К тому же к вечеру в тот день у нее разболелась голова, она ушла пораньше, и последний урок вместо нее провела другая учительница. Боб побродил возле ее дома, но ее нигде не было видно, а позвонить в дверь и спросить он побоялся.

Во вторник вечером после уроков они оба снова сидели в тишине класса, Боб, довольный, словно это блаженство будет длиться вечно, старательно вытирал доску, а мисс Тейлор проверяла тетради так, будто она тоже вечно будет сидеть здесь, в этой особой, мирной тишине и счастье. Вдруг на здании суда пробили часы. Их бронзовый, тяжкий гул доносился из соседнего квартала, заставляя все твое тело содрогнуться, стряхивая с костей прах времени, проникая в самую кровь, отчего казалось, ты стареешь с каждой минутой. Оглушенный этими ударами, ты невольно ощущаешь разрушительное течение времени, и когда пробило пять, мисс Тейлор вдруг подняла голову, долгим взглядом посмотрела на часы и отложила ручку.

— Боб, — окликнула она.

Он испуганно обернулся. За тот блаженный, исполненный покоя час, который они провели здесь, никто еще не нарушил тишины.

— Подойди, пожалуйста, — попросила она.

Он медленно положил губку.

— Хорошо, — ответил он.

— Сядь, Боб.

— Хорошо, мэм.

Какое-то мгновение она пристально смотрела на него, пока он не отвел взгляда.

— Боб, ты, наверное, догадываешься, о чем я хочу с тобой поговорить? Верно?

— Да.

— Может, будет лучше, если ты первый мне скажешь?

— О нас, — помолчав, сказал он.

— Сколько тебе лет, Боб?

— Скоро будет четырнадцать.

— Тебе тринадцать лет.

Он поморщился.

— Да, мэм.

— А знаешь, сколько мне?

— Да, мэм. Я слышал. Двадцать четыре.

— Двадцать четыре.

— Через десять лет мне тоже будет двадцать четыре... почти, — сказал он.

— Но сейчас тебе, к сожалению, не двадцать четыре.

— Нет, но иногда я чувствую, будто мне все двадцать четыре.

— Иногда ты даже поступаешь так, как будто тебе двадцать четыре.

— Правда?!

— Посиди немного спокойно, не вертись, нам надо многое обсудить. Очень важно, чтобы мы поняли, что происходит. Ты согласен?

— Да, наверно.

— Прежде всего давай признаем: мы с тобой самые лучшие, самые большие друзья на свете. Признаем, что никогда еще у меня не было такого ученика, как ты, и еще никогда ни к какому другому мальчику я не относилась так хорошо.

При этих словах Боб покраснел. А она продолжала:

— И позволь мне сказать за тебя: я для тебя самая милая учительница из всех, каких ты встречал.

— О, гораздо больше, — сказал он.

— Может быть, и больше, но надо смотреть правде в глаза, надо учитывать уклад жизни в городе, что скажут люди, и подумать о нас — о тебе и обо мне. Я размышляла об этом много-много дней, Боб. Не думай, что я что-либо упустила или не отдаю себе отчета в своих чувствах. При определенных обстоятельствах наша дружба и впрямь была бы странной. Но ты не обычный мальчик. Кажется, я неплохо знаю себя и знаю, что совершенно здорова, как умственно, так и физически, и каковы бы ни были наши с тобой отношения, они возникли потому, что я реально оцениваю в тебе незаурядного и очень хорошего человека, Боб. Но в нашем мире, Боб, это не в счет, разве что если речь идет о человеке взрослом. Не знаю, понятно ли я говорю.

— Все понятно, — сказал он. — Просто, если б я был на десять лет старше и на пятнадцать дюймов выше, все было бы по-другому. Но ведь это же глупо судить о человеке по его росту, — добавил он.

— Но все люди считают, что это разумно.

— А я — не все, — возразил он.

— Понимаю, тебе это кажется нелепым, — сказала она. — Ты чувствуешь себя вполне взрослым и правым и знаешь, что тебе нечего стыдиться. Тебе действительно нечего стыдиться, Боб, помни об этом. Ты был совершенно честен и чист, надеюсь, я тоже.

— Да, вы тоже, — сказал он.

— Может быть, когда-нибудь в какой-нибудь идеальной стране, Боб, люди научатся так точно определять душевный возраст человека, что смогут сказать: «Это уже мужчина, хотя физически ему всего тринадцать лет; каким-то чудом, по какому-то счастливому стечению обстоятельств, он — мужчина с присущим мужчине сознанием своей ответственности, своего положения, своего долга». Но пока, Боб, боюсь, нам придется мерить все годами и ростом, как делают обычно в нашем обычном мире.

— Мне это не нравится, — сказал он.

— Мне, возможно, тоже это не нравится, но ведь ты не хочешь, чтобы все стало гораздо хуже, чем теперь? Ты же не хочешь, чтобы мы оба были несчастливы? А это обязательно случится. Поверь, тут ничего не поделаешь, даже то, что мы разговариваем о нас с тобой, уже достаточно странно.

— Да, мэм.

— Но мы, по крайней мере, понимаем все, что с нами происходит, и сознаем, что мы правы, что мы честны и вели себя достойно и что нет ничего дурного в том, что мы понимаем друг друга, и ни о чем дурном мы вовсе не помышляли, потому что даже не представляем себе, что такое возможно, верно?

— Да, знаю. Но ничего не могу с собой поделать.

— Теперь нам надо решить, как быть дальше, — сказала она. — Пока только ты и я знаем об этом. Потом, вероятно, узнают и другие. Я могу добиться, чтобы меня перевели в другую школу...

— Нет!

— Тогда, может, тебя перевести в другую школу?

— Вам не нужно меня никуда переводить, — сказал он.

— Почему?

— Мы переезжаем. Предки и я будем жить в Мэдисоне. Мы уезжаем на следующей неделе.

— Но это никак не связано со всем этим?

— Нет-нет, все в порядке. Просто мой папа нашел там новую работу. Это всего в пятидесяти милях отсюда. Когда я буду приезжать в город, я смогу вас видеть? Вы не против?

— Думаешь, это будет хорошо?

— Нет, думаю, нет.

Некоторое время они молча сидели в тишине классной комнаты.

— Когда же все это успело случиться? — в беспомощном отчаянии спросил Боб.

— Не знаю, — отозвалась мисс Тейлор. — Никто никогда не знает.

Тысячи лет никто не мог этого сказать, и, думаю, никто никогда не узнает. Люди либо любят друг друга, либо нет, а бывает, что полюбят друг друга те, кому не следовало бы. Я не могу объяснить, почему это со мной происходит, и ты, конечно, тоже.

— Пожалуй, я лучше пойду домой, — сказал он.

— Ты не злишься на меня, нет?

— Нет, ну что вы, как я могу злиться на вас?

— Вот еще что. Я хочу, чтобы ты помнил: жизнь всегда что-то дает взамен. Всегда, иначе невозможно было бы жить. Сейчас тебе плохо, и мне тоже. Но что-то непременно произойдет, и все встанет на свои места. Ты веришь?

— Хотелось бы верить.

— Так вот, это правда.

— Если б только... — начал он.

— Что?

— Если б только вы меня подождали, — выпалил он.

— Десять лет?

— Тогда мне будет двадцать четыре.

— А мне — тридцать четыре, и, возможно, я буду уже совсем другим человеком. Нет, вряд ли это возможно.

— А вам бы хотелось? — воскликнул он.

— Да, — тихо ответила она. — Это глупо, и, конечно, ничего не выйдет, но мне бы очень этого хотелось.

Он долго сидел молча, а потом сказал:

— Я никогда вас не забуду.

— Спасибо за эти слова, хотя это и невозможно, потому что жизнь устроена иначе. Ты забудешь меня.

— Никогда не забуду. Я придумаю способ, чтобы всегда о вас помнить, — сказал он.

Она встала и пошла вытирать доски.

— Я вам помогу, — предложил он.

— Нет-нет, — поспешно возразила она. — Уходи, Боб, иди домой, и не надо больше мыть доски после уроков. Я поручу это Элен Стивенс.

Он вышел из школы. Во дворе, обернувшись, он увидел мисс Энн Тейлор в последний раз: она медленно стирала с доски написанные мелом слова, и рука ее двигалась вверх-вниз, вверх-вниз.

На следующей неделе он уехал из города и не был там шестнадцать лет. Хотя жил он всего в каких-то пятидесяти милях оттуда, он так ни разу

и не приехал в Гринтаун, пока ему не исполнилось почти тридцать, и к тому времени он был уже женат; и вот однажды весной они с женой по пути в Чикаго остановились в Гринтауне на один день.

Боб оставил жену в гостинице, а сам пошел бродить по городу и наконец стал расспрашивать про мисс Энн Тейлор, но никто сперва не вспомнил ее, а потом кто-то сказал:

— Ах да, та симпатичная учительница. Она умерла в тридцать шестом, вскоре после того, как ты уехал.

Она была замужем? Нет, помнится, замуж она так и не вышла.

После полудня он пошел на кладбище и отыскал надгробный камень с надписью: «Энн Тейлор, родилась в 1910, умерла в 1936». И он подумал: «Двадцать шесть лет. Вот, теперь я старше вас на три года, мисс Тейлор».

Позднее в тот день горожане видели, как жена Боба Сполдинга идет навстречу ему под вязами и дубами, и все оборачивались и смотрели ей вслед: она шла, и по лицу ее скользили яркие тени; она была словно летние спелые персики среди снежной зимы, словно прохладное молоко к кукурузным хлопьям жарким утром в начале июня. Это был один из тех редких дней, когда все в природе находится в равновесии, как кленовый лист, поддерживаемый дуновениями ветерка, один из тех дней, который, по общему мнению, следовало бы назвать именем жены Роберта Сполдинга.

Желание

The Wish 1973 год

Переводчик: О.Акимова

Снежный шепот коснулся холодного окна.

Огромный дом заскрипел от порыва неведомо откуда прилетевшего ветра.

— Что? — спросил я.

— Я ничего не сказал. — За моей спиной, у камина, Чарли Симмонс спокойно встряхивал попкорн в большой металлической миске. — Ни слова.

— Черт возьми, Чарли, я же слышал...

Ошеломленный, я смотрел, как падающий снег укрывает далекие улицы и пустынные поля. Подходящая ночка для бледных привидений, заглядывающих в окна и бродящих вокруг дома.

— Тебе померещилось, — сказал Чарли.

«Померещилось? — подумал я. — Может ли сама природа подать голос? Существует ли язык ночи, времени, снега? Что происходит между мглой, которая снаружи, и моей душой, находящейся здесь?»

Ибо там, во мраке, казалось, незаметно, не освещаемая благодатным светом ни луны, ни фонаря, садится на землю целая голубиная цивилизация.

А может, это снег ложится с мягким шорохом или прошлое, наслоения забытых лет, нужд и отчаяния вырастают в горы тревог и наконец находят свой язык.

— Господи, Чарльз. Только что, могу поклясться, я слышал, как ты сказал...

— Что сказал?

— Ты сказал: «Загадай желание».

— Я?

Он рассмеялся, но я не обернулся на его смех; я упорно продолжал смотреть на падающий снег и рассказал Чарльзу то, что мне было суждено...

— Ты произнес: «Эта ночь — особенная, прекрасная и загадочная. Так загадай свое самое лучшее, самое заветное, самое необычное желание, идущее от самого сердца. И оно сбудется». Так ты сказал.

— Нет. — Я увидел, как его отражение в зеркале покачало головой. — Том, ты уже с полчаса стоишь как замороженный, глядя на снегопад. Это огонь в камине гудит. Желания не сбываются, Том. Хотя... Он запнулся, а потом с некоторым удивлением добавил: — Черт, ты ведь все-таки что-то слышал, да? Ладно. Давай выпьем.

Кукурузное потрескивание прекратилось. Чарльз налил мне вина, к которому я не притронулся. Снег все падал и падал за темным окном, словно белые облака дыхания.

— Почему? — спросил я. — Почему мне пришло в голову именно слово «желание»? Если не ты его произнес, тогда кто же?

"В самом деле, — подумал я, — что там за окном и кто такие мы? Двое писателей, поздно вечером, одни; друг, оставшийся у меня переночевать; два старых приятеля, любители поболтать о всяких привидениях, испробовавшие все обычные психологические трюки вроде столоверчения, карт таро и телепатии, весь этот хлам, накопленный годами тесной дружбы, но пересыпанный кучей насмешек, шуток и праздных дурачеств.

Но то, что сегодня происходит за окном, — думал я, — кладет конец шуткам, стирает улыбки с лица. Этот снег — ты только взгляни! — он хоронит под собой наш смех..."

— Почему? — переспросил Чарли у меня за спиной, попивая вино и глядя то на красно-зелено-голубые елочные огоньки, то на мой затылок. — Почему именно «желание» пришло тебе в голову в такую ночь? Но ведь это ночь перед Рождеством. Через пять минут родится Христос. Зима и Христос сошлись в точке зимнего солнцестояния на одной неделе. Эта неделя, эта ночь являются доказательством того, что Земля не умрет. Зима достигла своей вершины и теперь идет на убыль, к свету. Это нечто особенное. Невероятное.

— Да, — прошептал я и вспомнил те давние времена, когда душа пещерных людей умирала с приходом осени и уходом солнца и люди-обезьяны плакали, пока мир не пробуждался от снежного сна, пока в одно прекрасное утро солнце не вставало раньше, и снова мир был спасен еще на какое-то время. — Да.

— Итак... — Чарли словно прочел мои мысли и отпил вина. — Христос всегда считался предвестником весны, верно? Посреди самой долгой ночи в году Время вдруг сделало скачок, Земля содрогнулась и породила миф. И что воскликнул этот миф? С Новым годом! Ведь Новый год — это вовсе не первое января! Это Рождество Христа. В этот самый момент перед полуночью Его дыхание, сладкое, как цветы клевера,

касается наших ноздрей, обещая приход весны. Вдохни поглубже, Томас.

— Тихо ты!

— А что? Ты опять слышишь голоса?

— Да!

Я повернулся к окну. Через шестьдесят секунд наступит утро Его рождения. «Когда еще, — пронеслась у меня шальная мысль, — как не в этот светлый, необыкновенный час загадывать желания?»

— Том... — Чарли сжал мой локоть, но мои мысли носились уже где-то далеко-далеко.

«Неужели это время особое? — думал я. — Неужели святые духи бродят в такие снежные ночи и исполняют наши желания в этот странный час? Если я загадаю свое желание втайне, вернут ли мне его сторицей эта ночь, что обходит свои владения, эти странные сны, эти седые метели?»

Я закрыл глаза. В горле застрял комок.

— Не надо, — сказал Чарли.

Но желание уже трепетало на моих губах. Я не мог больше ждать. «Сейчас, сейчас, — думал я, — над Вифлеемом зажглась необыкновенная звезда».

— Том, — шептал Чарли, — ради всего святого!

«Да, ради всего святого», — подумал я и произнес:

— Вот мое желание: этой ночью, всего на один час...

— Нет! — Чарли дал мне пинка, чтобы я заткнулся.

— ...пожалуйста, сделай так, чтобы мой отец был жив.

Каминные часы пробили двенадцать раз. Полночь.

— О Томас... — простонал Чарли. Его рука упала с моего плеча. — О

Том...

Порыв ветра ударил в окно, снежная пелена точно саваном облепила стекло — и опять спала.

Входная дверь с грохотом распахнулась.

Снежный вихрь обрушился на нас ливнем.

— Какое грустное желание. И оно... уже исполнено.

— Исполнено? — Я резко обернулся и уставился на распахнутую настежь дверь, зияющую как отверстая могила.

— Не ходи, Том, — сказал Чарли.

Но дверь со стуком захлопнулась. Я бежал по улице, господи, как я бежал!

— Том, вернись! — Затихал вдалеке голос, тонуций в снежном вихре. — О боже, не надо!

Но в ту послеполуночную минуту я бежал и бежал как безумный, что-то бормоча, приказывая сердцу продолжать биться, крови — пульсировать в венах, и думал: «Он! Он! Я знаю, где он! Если мне ниспослан дар! Если желание исполнилось! Я знаю, где он должен быть!»

И по всему заснеженному городу вдруг зазвенели, запели, зашумели рождественские колокола. Их звон окружал, подгонял, тянул меня вперед, и я кричал, глотая хлопья снега, охваченный своим безумным желанием.

«Безумец! — думал я. — Он же мертв! Вернись!»

А что, если он ожил всего на один час сегодня ночью, а я к нему не приду?

Я оказался за городом, без пальто и без шляпы, но мне было жарко от бега, лицо покрылось соленой маской, которая хлопьями осыпалась от тряски при каждом шаге, пока я бежал по пустынной дороге под радостные колокольные переливы, уносимые ветром и затихавшие вдали.

Вслед за ветром я завернул за угол в эту глухомань, и тут передо мной встала темная стена.

Кладбище.

Я остановился перед тяжелыми железными воротами, оцепенело глядя вглубь внутрь сквады.

Кладбище напоминало развалины старинного форта, взорванного несколько столетий назад, его надгробия стояли, глубоко погребенные под снегом, словно вновь наступил ледниковый период.

Вдруг я понял: чудес не бывает.

Вдруг я понял: этой ночью было всего лишь много вина, разговоров, глупых гаданий на кофейной гуще и еще мой беспричинный бег, если не считать моей веры, глубокой веры, что действительно что-то произошло здесь, в этом мертвом заснеженном мире...

И я был так переполнен голым зрелищем этих нетронутых могил и девственного снега, что с радостью готов был сам утонуть и умереть в нем. Я не мог вернуться в город, не мог посмотреть в глаза Чарли. Мне стало казаться, что все это было его грубой насмешкой, злой шуткой, результатом его сверхъестественной способности угадывать сокровенные желания другого и играть на них. Может, это он шептал у меня за спиной, манил обещаниями, подталкивал меня загадать это желание? Господи!

Я коснулся висячего замка на воротах.

Что за ними? Всего лишь плоский камень с именем и датами: родился в 1888, умер в 1957 — надпись, которую даже летом было трудно отыскать в густой заросли травы и под ворохом опавших листьев.

Я отпустил железную калитку и повернулся, чтобы уйти. Но в тот же

миг ахнул от удивления. Из груди вырвался недоверчивый крик.

Я почувствовал: что-то есть за этой стеной, рядом с маленькой заколоченной будкой сторожа.

То ли это было чье-то слабое дыхание? Чей-то сдавленный крик?

Или просто ветер донес до меня частичку тепла?

Стиснув руками железные прутья, я напряженно взгляделся в темноту.

Да, вон там! Еле заметный след, словно птица села на снег и побежала между торчащими из сугробов камнями. Еще чуть-чуть — и я разминусь бы с ним навсегда!

Я завопил, разбежался, прыгнул.

Никогда, о, никогда еще за всю мою жизнь я не прыгал так высоко. Перемахнув через ограду, я приземлился на той стороне, в последний раз обagrив рот кровавым криком. Я с трудом пробрался к дальнему крылу сторожки.

Там, во тьме, укрывшись от ветра и прислонившись к стене, стоял человек с закрытыми глазами и скрещенными на груди руками.

Я в ужасе уставился на него. Как безумный, я наклонился к нему, чтобы рассмотреть, убедиться.

Этот человек был мне не знаком.

Он был стар, так стар.

Должно быть, я застонал от отчаяния.

Потому что старик поднял дрожащие веки.

И когда я увидел его глаза, смотрящие на меня, я не мог сдержать крик:

— Отец!

Шатаясь, я схватил его и вытащил под тусклый свет фонаря и в послеполуночный снегопад.

А голос Чарли эхом доносился откуда-то издалека, из заснеженного города, умоляя: «Нет, не надо, уходи, беги. Это кошмар. Остановись».

Стоявший передо мной человек не узнал меня.

Словно огородное чучело на ветру, этот странный, но до боли знакомый призрак пытался разглядеть меня своими невидящими, бесцветными, заросшими паутиной глазами. «Кто?» — казалось, вопрошал он безмолвно.

Наконец ответ криком вырвался из его рта:

— ...ом!...ом!

Он не мог выговорить "Г". Но он произнес мое имя.

Как человек, стоящий на краю обрыва, в страхе, что земля уйдет из-

под ног и вновь низвергнет его во мрак и грязь, он вздрогнул и схватился за меня.

— ...ом!

Я крепко сжал его. Он не упадет.

Сцепившись в этом страстном объятии, не в силах разъять его, мы стояли и тихо, странно покачивались, слившись воедино, посреди снежного хаоса.

«Том, о Том», — снова и снова отрывисто стонал он.

«Отец, о дорогой мой отец, папа», — думал я, шептал я.

Старик вдруг напрягся, потому что за моим плечом он, наверное, впервые разглядел надгробия и безмолвные поля смерти. Вздох вырвался из его груди, будто желая крикнуть: «Что это за место?»

И хотя лицо его было очень старо, в тот момент, когда он вдруг понял и вспомнил, его глаза, его щеки и рот словно увяли и стали еще старше, будто говоря «нет».

Он повернулся ко мне, словно ища того, кто ответит на его вопросы, встанет на стражу его прав, кто защитит, кто повторит вслед за ним это «нет». Но в глазах моих читалась холодная правда.

Теперь мы оба смотрели на неясную дорожку его следов, на ощупь петлявшую по пустынной равнине от того места, где он был похоронен много лет назад.

Нет, нет, нет, нет, нет, нет, *нет!*

Слова, как выстрелы, вырывались из его гортани.

Только он не мог произнести "н".

Получилась безумная череда: ...ет, ...ет, ...ет, ...ет, ...ет, ...ет, ...ет!

Отчаянный, испуганный, по-детски тоненький крик.

Затем другой вопрос тенью промелькнул по его лицу.

Я узнал это место. Но почему я здесь?

Он вонзил ногти в свои предплечья. Он посмотрел вниз, на свою иссохшую грудь.

Бог оделяет нас страшными дарами. И самый страшный из всех — это память.

Он вспомнил.

Напряжение постепенно спадало. Он вспомнил, как иссохло его тело и замерло слабое биение его сердца; вспомнил, как с грохотом захлопнулась дверь вечного мрака.

Он стоял неподвижно в моих руках, под его трепещущими веками сменялись образы абсурда, теснившиеся в его голове. Должно быть, он задал себе самый страшный вопрос:

«Кто сделал это со мной?»

Он поднял глаза. Его взгляд уперся в меня.

«Ты?» — спрашивал он.

«Да, — подумал я. — Я пожелал, чтобы ты ожил этой ночью».

«Ты!» — кричали его лицо, его тело.

И вот, вполголоса, прозвучал последний мучительный вопрос:

— Зачем?..

Настал мой черед отчаянного раскаяния.

В самом деле, зачем я сделал это с ним?

Как я посмел желать такого страшного, такого мучительного свидания?

Что мне теперь делать с этим человеком, с этим незнакомцем, с этим старым, растерянным, перепуганным ребенком? Зачем я вызвал его, лишь для того, чтобы отправить обратно в землю, в могилу, в беспробудный кошмар?

Удусужился ли я вообще задуматься о последствиях? Нет. Грубый порыв вытолкнул меня из дома и зашвырнул на этот погост, как бездушный камень в бездушную мишень. Зачем? Зачем?

Этот старик, мой отец, стоял теперь, дрожа, в снегу, ожидая моего безжалостного ответа.

Будто снова став ребенком, я не мог выдавить ни слова. Какая-то часть меня знала ту правду, которую я не мог сказать. Мало разговаривавший с ним при жизни, я оказался еще более нем, когда он восстал из мертвых.

Правда металась в моей голове, кричала каждой фиброй моей души и тела, но никак не могла сорваться с языка. Мои крики словно были заперты внутри меня.

Время шло. Скоро этот час закончится. Я вот-вот упущу свой шанс сказать то, что нужно, что надо было сказать, когда он был жив и ходил по земле много-много лет назад.

Где-то на другом конце сельских полей колокола пробили половину первого часа этого рождественского утра. Христос отмерял мгновения на ветру. Время и холод, холод и время, как падающие хлопья снега, ложились на мое лицо.

«Зачем? — спрашивали отцовские глаза, — зачем ты привел меня сюда?»

— Я... — начал я, но осекся.

Потому что его рука вдруг сжала мою. По его лицу я понял: он сам нашел причину.

Это был и его шанс тоже, его последний час, чтобы сказать то, что

следовало сказать, когда мне было двенадцать, или четырнадцать, или двадцать шесть. И не важно, что я стоял, словно набрав в рот воды. Здесь, среди падающего снега, он мог найти для себя примирение и свой путь.

Его рот приоткрылся. Как трудно, как мучительно трудно было ему выдавить из себя эти старые слова. Лишь дух внутри истлевшей плоти еще отважно цеплялся за жизнь и ловил воздух. Он прошептал три слова, которые тут же унес ветер.

— Что? — изо всех сил прислушался я.

Он крепко обнял меня, стараясь держать глаза открытыми, борясь с ночной метелью. Ему хотелось спать, но прежде его рот открылся, исторгнув прерывистый свистящий шепот:

— Я... юб-б-б-б-б-б... бя-я-я-я-я-я!..

Он замолк, задрожал, напрягся всем телом и попытался, тщетно, выкрикнуть снова:

— Я... лю-ю-ю-ю-ю-ю... б-б-б-б... я-я-я-я-я-я!

— О отец! — воскликнул я. — Позволь, я скажу это за тебя!

Он стоял неподвижно и ждал.

— Ты пытался сказать: я... люблю... тебя?

— Д-д-д-да-а-а-а!.. — крикнул он. И наконец у него совсем ясно вырвалось: — О да!

— О отец, — произнес я, обезумев от печали и счастья, от радости и утраты. — О папа, милый папа, я тоже тебя люблю!

Мы прижались друг к другу. И стояли, крепко обнявшись.

Я плакал.

И вдруг увидел, как из этого высохшего колодца, из глубины страшной плоти моего отца выдавились несколько слезинок и, задрожав, заблестели на его веках.

Так был задан последний вопрос и получен последний ответ.

Зачем ты привел меня сюда?

Зачем это желание, зачем этот дар, зачем эта снежная ночь?

Потому что нам надо было сказать, прежде чем навсегда закроется дверь, то, что мы никогда не говорили друг другу при жизни.

И теперь слова были сказаны, и мы стояли обнявшись посреди этой глуши: отец и сын, сын и отец — две части одного целого, вдруг обернувшегося радостью.

Слезы на моих щеках превращались в лед.

Мы долго стояли на холодном ветру, под снегопадом, пока не услышали, как колокола проббили три четверти первого, а мы все стояли в

снежной ночи, не говоря больше ни слова — все было сказано, — пока наконец не истек наш час.

И над всем белым миром часы, пробившие первый час этого рождественского утра, когда новорожденный Христос лежал на чистой соломе, возвестили конец того дара, что так быстро ускользнул из наших онемевших рук.

Мой отец держал меня в своих объятиях.

Последний звук колокола замер вдали.

Я почувствовал, как отец отступил от меня, но уже легко.

Его пальцы коснулись моей щеки.

Я услышал его удаляющиеся шаги по снегу.

Звук его шагов замер вместе с последним плачем внутри меня.

Я открыл глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как он идет уже метрах в ста от меня. Он обернулся и махнул мне рукой.

Завеса снега опустилась над ним.

«Как смело, — подумал я, — идешь ты сейчас туда, старик, не жалуясь».

И зашагал в город.

Я выпил с Чарли, сидя у огня. Он посмотрел на мое лицо и поднял молчаливый тост за то, что прочел на нем.

Наверху меня ждала постель, похожая на огромный белый сугроб.

Снегопад за моим окном простирался на тысячу миль к северу, пять тысяч миль к востоку, две тысячи миль к западу и сотню миль к югу. Снег заметал все и вся. И две цепочки следов на окраине города: одна вела в город, другая терялась среди могил.

Я лежал в своей снежной постели и вспоминал лицо отца, когда он помахал мне рукой, а потом повернулся и пошел прочь.

Это было лицо самого молодого, самого счастливого человека, какого я когда-либо видел.

И тогда я уснул и перестал плакать.

О скитаньях вечных и о Земле

Forever and the Earth 1950 год

Переводчик: Н. Галь

Семьдесят лет кряду Генри Уильям Филд писал рассказы, которых никто никогда не печатал, и вот однажды в половине двенадцатого ночи он поднялся и сжег десять миллионов слов. Отнес все рукописи в подвал своего мрачного старого особняка, в котельную, и швырнул в печь.

— Вот и все, — сказал он и, раздумывая о своих напрасных трудах и загубленной жизни, вернулся в спальню, полную всяческих антикварных диковинок, и лег в постель. — Зря я пытался изобразить наш безумный мир, это была ошибка. Год 2257-й, ракеты, атомные чудеса, странствия к чужим планетам и двойным солнцам. Кому же это под силу! Пробовали-то все. И ни у одного современного автора ничего не вышло.

Космос слишком необъятен, думал он. Межзвездные корабли слишком быстры, открытия атомной науки слишком внезапны. Но другие с грехом пополам все же печатались, а он, богатый и праздный, всю жизнь потратил впустую.

Целый час он терзался такими мыслями, а потом побрел через ночные комнаты в библиотеку и зажег фонарь. Среди книг, к которым полвека никто не прикасался, он наудачу выбрал одну. Книге минуло три столетия, ветхие страницы пожелтели, но он впился в эту книгу и жадно читал до самого рассвета...

В девять утра Генри Уильям Филд выбежал из библиотеки, кликнул слуг, вызвал по телевизору юристов, друзей, ученых, литераторов.

— Приезжайте сейчас же! — кричал он.

Не прошло и часу, как у него собралось человек двенадцать; Генри Уильям Филд ждал в кабинете — восторженный, небритый, до неприличия взбудораженный, переполненный каким-то непонятным, лихорадочным весельем. Высохшими руками он сжимал толстую книгу и, когда с ним здоровались, только смеялся в ответ.

— Смотрите, — сказал он наконец, — вот книга, ее написал исполин, который родился в Эшвиле, штат Северная Каролина, в тысяча девятисотом году. Он давно уже обратился в прах, а когда-то написал четыре огромных романа. Он был как ураган. Он вздымал горы и вбирал в себя вихри. Пятнадцатого сентября тысяча девятьсот тридцать восьмого года он умер в

Балтиморе, в больнице Джона Хопкинса, от древней страшной болезни — пневмонии, после него остался чемодан, набитый рукописями, и все карандашом.

Собравшиеся посмотрели на книгу: «Взгляни на дом свой, ангел».

Старик Филд выложил на стол еще три книги: «О времени и о реке», «Паутина и скала», «Домой возврата нет».

— Их написал Томас Вулф, — сказал он. — Три столетия он покоится в земле Северной Каролины.

— Неужели же вы созвали нас только затем, чтобы показать книги какого-то мертвеца? — изумились друзья.

— Нет, не только! Я созвал вас, потому что понял: Том Вулф — вот кто нам нужен! Вот человек, созданный для того, чтобы писать о великом, о Времени и Пространстве, о галактиках и космической войне, о метеорах и планетах. Он любил и описывал все вот в таком роде, величественное и грозное. Просто он родился слишком рано. Ему нужен был материал поистине грандиозный, а на Земле он ничего такого не нашел. Ему следовало родиться не сто тысяч дней назад, а сегодня.

— А вы, боюсь, немного опоздали, — заметил профессор Боултон.

— Ну, нет! — отрезал старик. — Я-то не дам действительности меня обокрасть. Вы, профессор, ставите опыты с путешествиями во времени. Надеюсь, вы уже в этом месяце достроите свою машину. Вот вам чек, сумму проставьте сами. Если понадобятся еще деньги, скажите только слово. Вы ведь уже путешествовали в прошлое?

— Да, на несколько лет назад, но не на столетия...

— А мы добьемся столетий! И вы все, — он обвел присутствующих неистовым, сверкающим взглядом, — будете помогать Боултону. Мне необходим Томас Вулф.

Все ахнули.

— Да-да, — подтвердил старик. — Вот что я задумал. Вы доставите мне Вулфа. Сообща мы выполним великую задачу, полет с Земли на Марс будет описан так, как способен это сделать один лишь Томас Вулф!

И все ушли, а Филд остался со своими книгами, он листал ветхие страницы и, кивая, бормотал про себя.

— Да, да, конечно! Том — вот кто нам нужен. Том — самый подходящий парень для этого дела.

Медленно влачился месяц. Дни упорно не желали расставаться с календарем, нескончаемо тянулись недели, и Генри Уильям Филд готов был взвыть от отчаяния.

На исходе месяца он однажды проснулся в полночь. Трезвонил телефон.

В темноте Филд протянул руку.

— Слушаю.

— Говорит профессор Боултон.

— Что скажете?

— Я отбываю через час.

— Отбываете? Куда? Вы что, бросаете работу? Это невозможно!

— Позвольте, мистер Филд Отбываю — это значит отбываю.

— Так вы и вправду отправляетесь?

— Через час.

— В тысяча девятьсот тридцать восьмой? Пятнадцатое сентября?

— Да.

— Вы точно записали дату? Вдруг вы придете, когда он уже умрет? Смотрите не опоздайте! Постарайтесь попасть туда загодя, скажем, за час до его смерти.

— Хорошо.

— Я так волнуюсь, насилу держу в руках трубку. Счастливо, Боултон! Доставьте его сюда в целости и сохранности.

— Спасибо, сэр. До свидания.

В трубке щелкнуло.

Генри Уильям Филд лежал без сна, ночь отсчитывала минуты. Он думал о Томе Вулфе как о давно потерянном брате, которого надо поднять невредимым из-под холодного могильного камня, возвратить ему плоть и кровь, горение и слово. И всякий раз он трепетал при мысли о Боултоне — о том, кого ветер Времени уносит вспять, к иным календарям, к иным лицам.

«Том, — в полудреме думал он с бессильной нежностью, словно старик отец, взывающий к любимому, давно потерянному сыну, — Том, где ты сейчас? Приходи, мы тебе поможем, ты непременно должен прийти, ты нам так нужен! Мне это не под силу, Том, и никому из нас, теперешних, не под силу. Раз уж я сам не могу с этим справиться, так хоть помогу тебе. У нас ты можешь шутя играть ракетами, Том, вот тебе звезды — пригоршни цветных стеклышек. Бери все, что душе угодно, у нас все есть. Тебе придутся по вкусу наше горение и наши странствия — они созданы для тебя. Мы, нынешние, — жалкие писаки, Том, я всех перечел, и ни один тебя не стоит. Я одолел многое множество их сочинений, Том, и нигде ни на миг не ощутил Пространства — для этого нужен ты! Дай же старику то, к чему он стремился всю жизнь, ведь Бог свидетель, я всегда ждал, что сам ли я

или кто другой напишет наконец поистине великую книгу о звездах, — и ждал напрасно. Каков ты ни есть сегодня ночью, Том Вулф, покажи, на что ты способен. Эту книгу ты готовился создать. Критики говорят — эта прекрасная книга уже сложилась у тебя в голове, но тут жизнь твоя оборвалась. И вот выпал случай, Том, ты ведь его не упустишь? Ты ведь слушаешься и придешь к нам, придешь сегодня ночью и будешь здесь утром, когда я проснусь? Правда, Том?»

Веки Филда смежились, смолк язык, лихорадочно лепетавший все ту же настойчивую мольбу; уснули губы.

Часы пробили четыре.

Он пробудился ясным трезвым утром и ощутил в груди нарастающий прилив волнения. Он боялся мигнуть — вдруг то, что ждет его где-то в доме, кинется бежать, хлопнет дверью и исчезнет навеки. Он прижал руки к худой старческой груди.

Вдалеке... шаги...

Одна за другой отворялись и затворялись двери. В спальню вошли двое.

Филд слышал их дыхание. И уже различал походку. У одного мелкие аккуратные шажки, точно у паука, — это Боултон. Поступь второго выдает человека рослого, крупного, грузного.

— Том? — вскрикнул старик. Он все еще не открывал глаз.

— Да, — услышал он наконец.

Едва Филд увидел Тома Вулфа, образ, созданный его воображением, лопнул по всем швам, как слишком тесная одежда на большом не по возрасту ребенке.

— Дай я на тебя погляжу, Том Вулф! — снова и снова твердил Филд, неуклюже вылезая из постели. Его трясло. — Да поднимите же шторы, дайте на него посмотреть! Том Вулф, неужели это ты?

Огромный, плотный Том Вулф смотрел на него сверху вниз, растопырив тяжелые руки, чтобы не потерять равновесия в этом незнакомом мире. Он посмотрел на старика, обвел глазами комнату, губы его дрожали.

— Ты совсем такой, как тебя описывали, Том, только больше.

Томас Вулф засмеялся, захохотал во все горло — решил, должно быть, что сошел с ума или видит какой-то нелепый сон; шагнул к старику, дотронулся до него, оглянулся на профессора Боултона, ощупал свои плечи, ноги, осторожно покашлял, приложил ладонь ко лбу.

— Жара больше нет, — сказал он. — Я здоров.

— Конечно, здоров, Том!

— Ну и ночка! — сказал Томас Вулф. — Тяжко мне пришлось. Я думал, ни одному больному на свете не бывало так худо. Вдруг чувствую — плыву. И подумал: ну и жар у меня. Чувствую, меня куда-то несет. И подумал: все, умираю. Подходит ко мне человек. Я подумал — гонец Господень. Взял он меня за руки. Чую — электричеством пахнет. Взлетел я куда-то вверх, вижу — медный город. Ну, думаю, прибыл. Вот оно, царство небесное, а вот и врата! Окоченел я с головы до пят, будто меня держали в снегу. Смех разбирает, надо мне что-то делать, а то я окончательно решу, что спятил. Вы ведь не господь Бог, а? С виду что-то не похоже.

Старик рассмеялся.

— Нет-нет, Том, я не Бог, только прикидываюсь. Я Филд. — Он опять засмеялся. — Надо же! Я так говорю, как будто он может знать, кто такой Филд. Том, я Филд, финансовый туз, — кланяйся пониже, целуй руку. Я Генри Филд, мне нравятся твои книги. Я перенес тебя сюда. Подойди-ка.

И старик потащил Вулфа к широченному зеркальному окну.

— Видишь в небе огни, Том?

— Да, сэр.

— Фейерверк видишь?

— Вижу.

— Это совсем не то, что ты думаешь, сынок. Нынче не Четвертое июля. Не как в твоё время. Теперь у нас каждый день — праздник независимости. Человек объявил, что он свободен от Земли. Власть земного притяжения давным-давно свергнута. Человечество победило. Вон та зеленая «римская свеча» летит на Марс. А тот красный огонек — ракета с Венеры. И еще... видишь, сколько их? Желтые, голубые... Это межпланетные корабли.

Томас Вулф смотрел во все глаза, точно ребенок-великан, замороженный многоцветными огненными чудесами, что сверкают и кружат в июльских сумерках, и вспыхивают, и разрываются с оглушительным треском.

— Какой теперь год?

— Год ракеты. Смотри! — Старик коснулся каких-то растений, и у него под рукой они вдруг расцвели. Цветы были точно белое и голубое пламя. Они пламенели, искрились прохладными удлиненными лепестками. Венчики их были два фута в поперечнике и холодно голубели, словно осенняя луна. — Это лунные цветы, — сказал Филд. С обратной стороны Луны. — Он чуть коснулся их, и они осыпались серебряным дождем, брызнули белые искры и растаяли в воздухе. — Год ракеты. Вот тебе подходящее название, Том. Вот почему мы перенесли тебя сюда: ты нам

нужен. Ты единственный человек, способный совладать с Солнцем и не обратиться в жалкую горсточку золы. Мы хотим, чтобы ты играл Солнцем, как мячом, — Солнцем и звездами. И всем, что увидишь по пути на Марс.

— На Марс? — Томас Вулф обернулся, схватил старика за плечо, наклонился, недоверчиво всматриваясь ему в лицо.

— Да. Ты летишь сегодня в шесть.

Старик поднял затрепетавший в воздухе розовый билетик и ждал, когда Том догадается его взять.

Было пять часов.

— Да-да, конечно, я очень ценю все, что вы сделали! — воскликнул Томас Вулф.

— Сядь, Том. Перестань бегать из угла в угол.

— Дайте договорить, мистер Филд, дайте мне кончить, я должен высказать все до конца.

— Мы уже столько часов спорим, — в изнеможении взмолился Филд.

Они проговорили с утреннего завтрака до полудня и с полудня до вечернего чая, переходили из одной комнаты в другую (а их была дюжина) и от одного довода к другому (а их было десять дюжин); обоих бросало в жар, и в холод. И снова в жар.

— Все сводится вот к чему, — сказал наконец Томас Вулф. — Не могу я здесь оставаться, мистер Филд. Я должен вернуться. Это не мое время. Вы не имели права вмешиваться...

— Но...

— Моя работа была в самом разгаре, а лучшую свою книгу я еще и не начал — и вдруг вы хватаете меня и переносите на три столетия вперед. Вызовите профессора Боултона, мистер Филд. Пускай он посадит меня в свою машину, какая она ни есть, и отправит обратно в тысяча девятьсот тридцать восьмой, там мое время и мое место. Больше мне от вас ничего не надо.

— Неужели ты не хочешь увидеть Марс?

— Еще как хочу! Но я знаю, это не для меня. Вся моя работа пойдет прахом. На меня навалится груда ощущений, которые я не смогу вместить в мои книги, когда вернусь домой.

— Ты не понимаешь, Том, ты просто не понимаешь.

— Прекрасно понимаю, вы эгоист.

— Эгоист? — переспросил старик. — Да, конечно, и еще какой! Ради себя и ради других.

— Я хочу вернуться домой.

— Послушай, Том...

— Вызовите профессора Боултона!

— Том, я очень не хотел тебе говорить... Я надеялся, что не придется, что в этом не будет нужды. Но ты не оставляешь мне выбора.

Старик протянул руку к завешенной стене, отдернул занавес, открыв большой белый экран, и начал вращать диск, набирая какие-то цифры; экран замерцал, ожил, огни в комнате медленно померкли — и перед глазами возникло кладбище.

— Что вы делаете? — резко спросил Вулф, шагнул вперед и уставился на экран.

— Я совсем этого не хотел, — сказал старик. — Смотри.

Кладбище лежало перед ними в ярком свете летнего полдня. С экрана потянуло жарким запахом летней земли, разогретого гранита, свежестью журчащего по соседству ручья. В ветвях дерева свистела какая-то пичуга. Среди могильных камней кивали алые и желтые цветы, экран двигался, небо поворачивалось, старик вертел диск, увеличивая изображение... и вот посреди экрана выросла мрачная гранитная глыба — она растет, близится, заполняет все, они уже ничего больше не видят и не чувствуют, и в полутемной комнате Томас Вулф, подняв глаза, читает высеченные на граните слова — раз, другой, третий... И задохнувшись, перечитывает вновь, ибо это его имя:

ТОМАС ВУЛФ

и дата его рождения, и дата смерти, и в холодной комнате пахнет душистым зеленым папоротником.

— Выключите, — сказал он.

— Прости, Том.

— Выключите, ну! Не верю я этому.

— Это правда.

Экран почернел, и комнату накрыл полуночный небосвод, она стала склепом, едва чувствовалось последнее дыхание цветов.

— Значит, я уже не проснулся, — сказал Томас Вулф.

— Да. Ты умер тогда, в сентябре тысяча девятьсот тридцать восьмого.

— И не дописал книгу.

— Ее напечатали другие, они отнеслись к ней очень бережно, сделали за тебя все, что надо.

— Я не дописал свою книгу, не дописал!

— Не горюй так.

— Вам легко говорить!

Старик все не зажигал света. Ему не хотелось видеть Тома таким.

— Сядь, сынок.

Молчание.

— Том?

Никакого ответа.

— Сядь, сынок. Хочешь чего-нибудь выпить?

Вздых, потом сдавленное рычание, словно застонал раненый зверь.

— Это несправедливо, нечестно! Мне надо было еще столько сделать!

Он глухо зарыдал.

— Перестань, — сказал старик. — Слушай. Выслушай меня. Ты еще жив — так? Здесь, сейчас ты живой? Ты дышишь и чувствуешь, верно?

Томас Вулф ответил не сразу:

— Верно.

— Так вот... — В темноте Филд подался вперед. — Я перенес тебя сюда. Том, я даю тебе еще одну возможность. Лишний месяц или около того. Думаешь, я тебя не оплакивал? Я прочел твои книги, а потом увидел надгробный камень, который триста лет точили ветер и дождь, и подумал — такого таланта не стало! Эта мысль меня просто убила, поверь. Просто убила! Я не жалел денег, лишь бы найти какой-то путь к тебе. Ты получил отсрочку — правда, короткую, очень короткую. Профессор Боултон говорит, если очень повезет, мы сумеем продержаться каналы Времени открытыми два месяца. Он будет держать их для тебя два месяца, но не дольше. За этот срок ты должен написать книгу, Том, ту книгу, которую мечтал написать, — нет-нет, сынок, не ту, которую ты писал для современников, они все умерли и обратились в прах, этого уже не изменить. Нет, теперь ты создашь книгу для нас, живущих, она нам очень-очень нужна. Ты оставишь ее нам ради себя же самого, она будет во всех отношениях выше и лучше твоих прежних книг... ведь ты ее напишешь, Том? Можешь ты на два месяца забыть тот камень, больницу — и писать для нас? Ты напишешь, правда, Том?

Комнату медленно заполнил свет. Том Вулф стоял и смотрел в окно — большой, массивный, а лицо бледное, усталое. Он смотрел на ракеты, что проносились в неярком вечерющем небе.

— Я сперва не понял, что вы для меня сделали, — сказал он. — Вы мне даете еще немного времени, а время мне всего дороже и нужней, оно мне друг и враг, я всегда с ним воевал, и отблагодарить вас я, видно, могу только одним способом. Будь по-вашему... — Он запнулся. — А когда я кончу работу? Что тогда?

— Вернешься в больницу, Том, в тысяча девятьсот тридцать восьмой год.

— Иначе нельзя?

— Мы не можем изменить Время. Мы взяли тебя только на пять минут. И вернем тебя на больничную койку через пять минут после того, как ты ее оставил. Таким образом, мы ничего не нарушим. Все это уже история. Тем, что ты живешь сейчас с нами, в будущем, ты нам не повредишь. Но если ты откажешься вернуться, ты повредишь прошлому, а значит, и будущему, многое перевернется, будет хаос.

— Два месяца, — сказал Томас Вулф.

— Два месяца.

— А ракета на Марс летит через час?

— Да.

— Мне нужны бумага и карандаши.

— Вот они.

— Надо собираться. До свидания, мистер Филд.

— Счастливо, Том.

Шесть часов. Заходит солнце. Небо алеет, как вино. В просторном доме тишина. Жарко, но старика знобит, и вот наконец появляется профессор Боултон.

— Ну как, Боултон? Как он себя чувствовал, как держался на космодроме? Да говорите же!

Профессор улыбается.

— Он просто чудище — такой великан, ни один скафандр ему не впору, пришлось спешно делать новый. Жаль, вы не видели, что это было: все-то он обошел, все ощупал, принимает, как большой пес, говорит без умолку, глаза круглые, ненасытные. И от всего приходит в восторг — прямо как мальчишка!

— Дай-то Бог, дай Бог! Боултон, а вы правда продержите его тут два месяца?

Профессор нахмурился.

— Вы же знаете, он не принадлежит нашему времени. Если энергия здесь хоть на миг ослабнет, Вулфа разом притянет обратно в прошлое, как бумажный мячик на резинке. Поверьте, мы всячески стараемся его удержать.

— Это необходимо, поймите! Нельзя, чтобы он вернулся, не докончив книгу! Вы должны...

— Смотрите! — прервал Боултон.

В небо взмыла серебряная ракета.

— Это он? — спросил старик.

— Да, — сказал профессор. — Это Вулф летит на Марс.

— Bravo, Том! — завопил старик, потрясая кулаками над головой. —

Задай им жару!

Ракета утонула в вышине, они проводили ее глазами.

К полуночи до них дошли первые страницы.

Генри Уильям Филд сидел у себя в библиотеке. Перед ним на столе гудел аппарат. Аппарат повторял слова, написанные далеко по ту сторону Луны. Он выводил их черным карандашом, в точности воспроизводя торопливые каракули Тома Вулфа, нацарапанные за миллион миль отсюда. Насилу дождавшись, чтобы на стол легла стопка бумажных листов, старик схватил их и принялся читать, а Боултон и слуги стояли и слушали. Он читал о Пространстве и Времени, и о полете, о большом человеке в большом пути, о долгой полночи и о холоде космоса, и о том, как изголодавшийся человек с жадностью поглощает все это и требует еще и еще. Он читал, и каждое слово полно было горения, и грома, и тайны.

Космос — как осень, писал Томас Вулф. И говорил о пустынном мраке, об одиночестве, о том, как мал затерянный в Космосе человек. Говорил о вечной, непроходящей осени. И еще — о межпланетном корабле, о том, как пахнет металл и какой он на ощупь, и о чувстве высокой судьбы, о неистовом восторге, с каким наконец-то отрываешься от Земли, оставляешь позади все земные задачи и печали и стремишься к задаче куда более трудной, к печали куда более горькой. Да, это были прекрасные страницы, и они говорили то, что непременно надо было сказать о Вселенной и о человеке и о его крохотных ракетах, затерянных в космосе.

Старик читал, пока не охрип, за ним читал Боултон, потом остальные — до глубокой ночи, когда аппарат перестал писать и все поняли, что Том уже в постели, там, в ракете, летящей на Марс... наверно, он еще не спит, нет, еще долго он не уснет, так и будет лежать без сна, словно мальчишка в канун открытия цирка: ему все не верится, что уже воздвигнут огромный, черный, весь в драгоценных камнях балаган, и представление начинается, и десять миллиардов сверкающих акробатов качаются на туго натянутых проволоках, на незримых трапециях Пространства.

— Ну вот! — выдохнул старик, бережно откладывая последние страницы первой главы. — Что вы об этом скажете, Боултон?

— Это хорошо.

— Черта с два хорошо! — заорал Филд. — Это великолепно! Прочтите еще раз, сядьте и прочтите еще раз, черт вас побори!

Так оно и шло, день за днем, по десять часов кряду.

На полу росла гряда желтоватой исписанной бумаги — за неделю она стала огромной, за две недели — неправдоподобной, к концу месяца — совершенно немислимой.

— Вы только послушайте! — кричал Филд и читал вслух. — А это?! А вот еще глава, Боултон, а вот повесть, она только что передана, называется «Космическая война», целая повесть о том, каково это — воевать в космосе. Он говорил с разными людьми, спрашивал солдат, офицеров, ветеранов Пространства. И обо всем написал. А вот еще глава, называется «Долгая полночь», а эта — о том, как негры заселили Марс, а вот очерк — портрет марсианина, ему просто цены нет!

Боултон откашлялся.

— Мистер Филд...

— После, после, не мешайте.

— Дурные новости, сэр.

Филд вскинул седую голову.

— Что такое? Что-нибудь с Элементом Времени?

— Передайте Вулфу, пускай поторопится, — мягко сказал Боултон. — Вероятно, на этой неделе связь с Прошлым оборвется.

— Я дам вам еще миллион долларов, только поддерживайте ее.

— Дело не в деньгах, мистер Филд. Сейчас все зависит от самой обыкновенной физики. Я сделаю все, что в моих силах. Но вы его предупредите на всякий случай.

Старик съёжился в кресле, стал совсем крохотный.

— Неужели вы сейчас отнимете его у меня? Он так великолепно работает! Видели бы вы, какие эскизы он передал только час назад — рассказы, наброски. Вот, вот — это про космические течения, а это — о метеоритах. А вот начало повести под названием «Пушинка и пламя»...

— Что поделаешь...

— Но если мы сейчас его лишимся, может быть, вы сумеете доставить его сюда еще раз?

— Неумеренное вмешательство в Прошное слишком опасно.

Старик будто окаменел.

— Тогда вот что. Устройте так, чтобы Вулф не тратил ни минуты на канитель с карандашом и бумагой — пускай печатает на машинке либо диктует, словом, позаботьтесь о какой-нибудь механизации. Непременно!

Аппарат стрекотал без устали — за полночь, и потом до рассвета, и весь день напролет. Старик Филд провел бессонную ночь; едва он смежит веки, аппарат вновь оживает — и он встрепенется, и снова космические

просторы, и странствия, и необъятность бытия хлынут к нему, преображенные мыслью другого человека.

«...бескрайние звездные луга космоса...»

Аппарат запнулся, дрогнул.

— Давай, Том! Покажи им!

Старик застыл в ожидании.

Зазвонил телефон.

Голос Боултона:

— Мы больше не можем поддерживать связь, мистер Филд. Еще минута — и контакт Времени сойдет на нет.

— Сделайте что-нибудь!

— Не могу.

Телетайп дрогнул. словно околдованный, похолодев от ужаса, старик Филд следил, как складываются черные строчки:

«...марсианские города — изумительные, неправдоподобные, точно камни, снесенные с горных вершин какой-то стремительной невероятной лавиной и застывшие наконец сверкающими россыпями...»

— Том! — вскрикнул старик.

— Все, — прозвучал в телефонной трубке голос Боултона.

Телетайп помедлил, отстучал еще слово и умолк.

— Том!!! — отчаянно закричал Филд.

Он стал трясти телетайп.

— Бесплезно, — сказал голос в трубке. — Он исчез. Я отключаю Машину Времени.

— Нет! Погодите!

— Но...

— Слышали, что я сказал? Погодите выключать! Может быть, он еще здесь.

— Его больше нет. Это бесполезно, энергия уходит впустую.

— Пускай уходит!

Филд швырнул трубку.

И повернулся к телетайпу, к незаконченной фразе.

— Ну же, Том, не могут они вот так от тебя отделаться, не поддавайся, мальчик, ну же, продолжай! Докажи им, Том, ты же молодчина, ты больше, чем Время и Пространство и все эти проклятые механизмы, у тебя такая силища, у тебя железная воля. Том, докажи им всем, не давай отправить тебя обратно!

Щелкнула клавиша телетайпа.

— Том, это ты?! — вне себя забормотал старик. — Ты еще можешь писать? Пиши, Том, не сдавайся, пока ты не опустил рук, тебя не могут отослать обратно, не могут!!!

— "В", — стукнула машина.

— Еще, Том, еще!

— "Дыхании", — отстучала она.

— Ну, ну?!

— "Марса", — напечатала машина и остановилась. Короткая тишина. Щелчок. И машина начала сызнова, с новой строчки:

«В дыхании Марса ощущаешь запах корицы и холодных пряных ветров, тех ветров, что вздымают летучую пыль, и омывают нетленные кости, и приносят пыльцу давным-давно отцветших цветов...»

— Том, ты еще жив!

Вместо ответа аппарат еще десять часов кряду взрывался лихорадочными приступами и отстучал шесть глав «Бегства от демонов».

— Сегодня уже полтора месяца, Боултон, целых полтора месяца, как Том полетел на Марс и на астероиды. Смотрите, вот рукописи. Десять тысяч слов в день, он не дает себе передышки, не знаю, когда он спит, успевает ли поесть, да это мне все равно, и ему тоже, ему одно важно — дописать, он ведь знает, что время не ждет.

— Непостижимо, — сказал Боултон. — Наши реле не выдержали, энергия упала. Мы изготовили для главного канала новые реле, которые обеспечивают надежность Элемента Времени, но ведь на это ушло три дня — и все-таки Вулф продержался! Видно, это зависит еще и от его личности, тут действует что-то такое, чего мы не предусмотрели. Здесь, в нашем времени, Вулф живет — и, оказывается, Прошлому не так-то легко его вернуть. Время не так податливо, как мы думали. Мы пользовались неправильным сравнением. Это не резинка. Это больше похоже на диффузию — взаимопроникновение жидких слоев. Прошлое как бы просачивается в Настоящее... Но все равно придется отослать его назад, мы не можем оставить его здесь: в Прошлом образуется пустота, все сместится и спутается. В сущности, Вулфа сейчас удерживает у нас только одно — он сам, его страсть, его работа. Дописав книгу, он ускользнет из нашего времени так же естественно, как выливается вода из стакана.

— Мне плевать, что, как и почему, — возразил Филд. — Я знаю одно:

Том заканчивает свою книгу! У него все тот же талант и вдохновение и есть что-то еще, что-то новое, он ищет ценностей, которые превыше Пространства и Времени. Он написал психологический этюд о женщине, которая остается на Земле, когда отважные космонавты устремляются в Неизвестность, — это прекрасно написано, правдиво и тонко; Том назвал свой этюд «День ракеты», он описал всего лишь один день самой обыкновенной провинциалки, она живет у себя в доме, как жили ее прабабки — ведет хозяйство, растит детей... невиданный расцвет науки, грохот космических ракет, а ее жизнь почти такая же, как была у женщин в каменном веке. Том правдиво, тщательно и проникновенно описал ее порывы и разочарования. Или вот еще рукопись, называется «Индейцы». Тут он пишет о марсианах: они — индейцы космоса, их вытеснили и уничтожили, как в старину индейские племена — чероков, ирокезов, черноногих. Выпейте, Боултон, выпейте!

На исходе второго месяца Том Вулф возвратился на Землю.

Он вернулся в пламени, как в пламени улетал, шагами исполина он пересек космос и вступил в дом Генри Уильяма Филда, в библиотеку, где на полу громоздились кипы желтой бумаги, исчерканной карандашом либо покрытой строчками машинописи; груды эти предстояло разделить на шесть частей, они составляли шедевр, созданный с невероятной быстротой, нечеловечески упорным трудом, в постоянном сознании неумолимо уходящих минут.

Том Вулф возвратился на Землю, он стоял в библиотеке Филда и смотрел на громады, рожденные его сердцем и его рукой.

— Хочешь все это прочесть, Том? — спросил старик.

Но он покачал массивной головой, широкой ладонью откинул назад гриву темных волос.

— Нет, — сказал он. — Боюсь начинать. Если начну, захочу взять все это с собой. А мне ведь нельзя это забрать домой, правда?

— Нельзя, Том.

— А очень хочется.

— Ничего не поделаешь, нельзя. В тот год ты не написал нового романа. Что написано здесь, должно здесь и остаться, что написано там, должно остаться там. Ничего нельзя изменить.

— Понимаю, — с тяжелым вздохом Вулф опустил в кресло. — Устал я. Ужасно устал. Нелегко это было. Но и здорово! Который же сегодня день?

— Шестидесятый.

— Последний?

Старик кивнул, и долгие минуты оба молчали.

— Назад, в тысяча девятьсот тридцать восьмой, на кладбище, под камень, — сказал Том Вулф, закрыв глаза. — Не хочется мне. Лучше бы я про это не знал, страшно знать такое...

Голос его замер, он уткнулся лицом в широкие ладони, да так и застыл.

Дверь открылась. Вошел Боултон со склянкой в руках и остановился за креслом Тома Вулфа.

— Что это у вас? — спросил старик Филд.

— Давно уничтоженный вирус, — ответил Боултон. — Пневмония. Очень древний и очень свирепый недуг. Когда мистер Вулф прибыл к нам, мне, разумеется, пришлось его вылечить, чтобы он мог справиться со своей работой; при нашей современной технике это было проще простого. Культуру микроба я сохранил. Теперь, когда мистер Вулф возвращается, надо будет заново привить ему пневмонию.

— А если не привить?

Том Вулф поднял голову.

— Если не привить, в тысяча девятьсот тридцать восьмом году он выздоровеет.

Том Вулф встал.

— То есть как? Выздоровею, стану на ноги — там, у себя, — буду здоров и натяну могильщикам нос?

— Совершенно верно.

Том Вулф уставился на склянку, рука его судорожно дернулась.

— Ну, а если я уничтожу этот ваш вирус и не дамся вам?

— Этого никак нельзя.

— Ну... а если?

— Вы все разрушите.

— Что — все?

— Связь вещей, ход событий, жизнь, всю систему того, что есть и что было, что мы не вправе изменить. Вы не можете все это нарушить. Безусловно одно: вы должны умереть, и я обязан об этом позаботиться.

Вулф поглядел на дверь.

— А если я убегу и вернусь без вашей помощи?

— Машина Времени у нас под контролем. Вам не выйти из этого дома. Я вынужден буду силой вернуть вас сюда и сделать прививку. Я предвидел, что под конец осложнений не миновать, и сейчас внизу наготове пять человек. Стоит мне крикнуть... сами видите, это бесполезно. Ну вот, так-то лучше.

Вулф отступил, обернулся, поглядел на старика, в окно, обвел взглядом просторную комнату.

— Простите меня. Очень не хочется умирать. Ох, как не хочется!

Старик подошел, стиснул его руку.

— А ты смотри на это так: тебе удалось небывалое — выиграть у жизни два месяца сверх срока, и ты написал еще одну книгу — последнюю, новую книгу! Подумай об этом — и тебе станет легче.

— Спасибо вам за это, — серьезно сказал Томас Вулф. — Спасибо вам обоим. Я готов. — Он засучил рукав. — Давайте вашу прививку.

И пока Боултон делал свое дело, Вулф свободной рукой взял карандаш и на первом листе первой части рукописи вывел две строчки, потом вновь заговорил.

— В одной моей старой книге есть такое место, — он нахмурился, вспоминая: — «...о скитаньях вечных и о Земле... Кто владеет Землей? И для чего нам Земля? Чтобы скитаться по ней? Для того ли нам Земля, чтобы не знать на ней покоя? Всякий, кому нужна Земля, обретет ее, останется на ней, успокоится на малом клочке и пребудет в тесном уголке ее вовеки...»

Вулф минуту помолчал.

— Вот она, моя последняя книга, — сказал он потом и на чистом желтом листе огромными черными буквами, с силой нажимая карандашом, вывел:

ТОМАС ВУЛФ О СКИТАНЬЯХ ВЕЧНЫХ И О ЗЕМЛЕ

Он схватил кипу исписанных листов, на миг прижал к груди.

— Хотел бы я забрать ее с собой. Точно расстаешься с родным сыном!

Отложил рукопись, хлопнул по ней ладонью, наскоро пожал руку Филда и зашагал к двери; Боултон двинулся за ним. На пороге Вулф остановился, озаренный предвечерним солнцем, огромный, величественный.

— Прощайте! — крикнул он. — Прощайте!

Хлопнула дверь. Том Вулф исчез.

Наконец его нашли, он брел по больничному коридору.

— Мистер Вулф!

— Да?

— Ну и напугали вы нас, мистер Вулф, мы уж думали, вы исчезли.

— Исчез?

— Где вы пропадали?

— Где? Где пропал? — Его вели полуночными коридорами, он покорно шел. — Ого, если б я и сказал вам, где... все равно вы не поверите.

— Вот и ваша кровать, напрасно вы встали.

И он опустился на белое смертное ложе, от которого исходило слабое чистое веяние уготованного ему конца, близкого конца, пахнущего больницей; он едва коснулся этого ложа — и оно поглотило его, окутало больничным запахом и холодной крахмальной белизной.

— Марс, Марс, — шептал исполин в тишине ночи. — Моя лучшая, самая лучшая, подлинно прекрасная книга, она еще будет написана, будет напечатана, в иной год, через три столетия...

— Вы слишком возбуждены.

— Вы думаете? — пробормотал Томас Вулф. — Так это был сон? Может быть... Хороший сон...

Его дыхание оборвалось. Томас Вулф был мертв.

Идут годы, на могиле Тома Вулфа опять и опять появляются цветы. И казалось бы, что тут странного, ведь немало народу приходит ему поклониться. Но эти цветы появляются каждую ночь. Будто с неба падают. Огромные, цвета осенней луны, они пламенеют, искрятся прохладными удлиненными лепестками, они словно белое и голубое пламя. А едва подует предрассветный ветер, они осыпаются серебряным дождем, брызжут белые искры и тают в воздухе. Прошло уже много, много лет с того дня, как умер Том Вулф, а цветы появляются вновь и вновь...

Секрет мудрости

The Better Part of Wisdom 1976 год

Переводчик: О.Акимова

Комната была похожа на большой теплый очаг, где светло и уютно от незримого пламени. Сам камин уже почти потух, в нем были лишь тлеющие огоньки на влажных поленьях и немного торфа, от которого остались только дым да несколько лениво поблескивавших оранжевыми глазками угольков. Комнату медленно наполняли, потом сходили на нет, потом вновь наполняли звуки музыки. В дальнем углу, освещая по-летнему желтые стены, горела одинокая лампа с лимонным абажуром. Безупречно отполированный паркет блестел, как темная речная вода, в которой плавали коврики, ярким оперением напоминавшие диких птиц Южной Америки, жгуче-голубых, белых и ярко-зеленых, как джунгли. Белые фарфоровые вазы, до краев наполненные безмятежным пламенем свежесрезанных оранжерейных цветов, были расставлены по комнате на четырех маленьких столиках. А со стены над камином глядел портрет серьезного юноши с глазами того же цвета, что каминные изразцы, ярко-синими, исполненными живости и интеллигентной ранимости.

Если бы кто-то потихоньку вошел в эту комнату, он, пожалуй, и не заметил бы, что здесь есть два человека — так тихо и неподвижно сидели они.

Один сидел, откинувшись на спинку белоснежного дивана, закрыв глаза. Другой лежал на этом диване, положив голову на колени первому. Глаза его тоже были закрыты, он слушал. За окнами шуршал дождь. Музыка смолкла.

И тут же за дверью раздалось тихое поскребывание.

Оба удивленно переглянулись, словно говоря: люди, как известно, не скребутся, люди стучатся.

Тот, что лежал на диване, вскочил, подбежал к двери и окликнул:

— Есть там кто?

— А то как же! — отозвался стариковский голос с легким ирландским акцентом.

— Дедушка!

Широко распахнув дверь, молодой человек втащил невысокого кругленького старичка в натопленную комнату.

— Том, мой мальчик, Том, как я рад тебя видеть!

Они сжали друг друга медвежьей хваткой, похлопывая по плечам. Потом старик заметил, что в комнате есть кто-то еще, и отступил.

Том круто повернулся, указывая на другого молодого человека:

— Дедушка, это Фрэнк. Фрэнк, это дедушка, то есть... тьфу ты, черт...

Старик разрядил минутное замешательство: быстрыми шажками подбежал к Фрэнку, схватил его за руку и потянул. Тот встал и теперь, словно гора, возвышался над незванным ночным гостем.

— Значит, ты Фрэнк? — крикнул ему ввысь старик.

— Да, сэр, — отозвался с вышины Фрэнк.

— Я пять минут стоял под дверью... — сказал дед.

— Пять минут? — тревожно воскликнули оба молодых человека.

— ...раздумывая, стучать или не стучать. Понимаешь, услышал музыку и в конце концов сказал себе: черт побери, если он там с девчонкой, либо пускай выкидывает ее в окошко под дождь, либо пусть показывает деду, какая она есть красотка. Черт, сказал я, постучал и... — он опустил на пол свой по трепанный саквояж, — никакой девчонки тут нет, как я погляжу... или вы, черти, ее в чулан *запихнули*, а?

— Никакой девчонки тут нет, дедушка, — Том обвел руками комнату.

— Однако... — Дед оглядел натертый до блеска пол, белые коврики, яркие цветы, бдительные взгляды с портретов на стенах. — Вы что ж, значит, *на время* у нее квартирку одолжили?

— На время?

— Я говорю, у этой комнаты такой вид, сразу чувствуется женская рука. Прямо как на рекламе круизных пароходов в витринах туристических контор, я на такие полжизни любовался.

— Ну, мы... — начал было Фрэнк.

— Знаешь, дедушка, — откашлявшись, сказал Том, — мы сами тут все устроили. Сделали ремонт.

— Сделали ремонт? — У старика челюсть отвисла. Его глаза изумленно обводили комнату. — Вы *вдвоем* все это сотворили? Ну, дела!

Он потрогал сине-белую керамическую пепельницу и нагнулся, чтобы погладить яркий, как какаду, коврик.

— И кто же из вас что делал? — спросил он вдруг, пытливо прищурив один глаз и посмотрев на них.

Том вспыхнул и запинаясь произнес:

— Ну, мы...

— А, нет-нет, молчи! — вскричал старик, поднимая руку. — Что ж это я, только с порога и сразу давай вынюхивать, как глупый пес, а лисы-то

никакой и нету. Закрой эту чертову дверь. Лучше спроси меня, куда я собрался и что задумал, давай-ка спроси. Кстати, пока мы не отвлеклись, не пробегал ли тут один Зверь в вашей картинной галерее?

— Есть тут такой Зверь!

Том захлопнул дверь, вытряхнул деда из его теплого пальто, принес три стакана и бутылку ирландского виски; старик нежно погладил ее, как младенца.

— Так-то лучше. За что выпьем?

— Как за что? За тебя, дедушка!

— Нет-нет.

Старик посмотрел на Тома, потом на его друга Фрэнка.

— Бог ты мой, — вздохнул он, — до чего ж вы оба молодые, аж душу ломит. Давайте-ка выпьем за молодые сердца, за румяные щеки, за то, что вся жизнь у вас впереди и где-то там счастье только и ждет — приходи, бери. Верно я говорю?

— Верно! — хором сказали оба и выпили.

И пока они пили, все трое весело, а может, опасливо присматривались друг к другу. И молодые увидели в румянном и веселом лице старика, пускай морщинистом, со следами превратностей жизни, отражение лица самого Тома, проглядывающее сквозь годы. Особенно в голубых глазах старика была заметна та же искра острого ума, которая светилась в глазах портрета на стене — в глазах, которые останутся молодыми, пока не закроются под тяжестью погребальных монет. И в уголках стариковских губ была та же улыбка, которая то и дело вспыхивала на лице Тома, а руки старика были на удивление так же быстры и проворны, как руки Тома, словно у обоих — и у старика, и у юноши — руки жили какой-то своей, самостоятельной жизнью и наобум творили всякие шалости.

Так они пили, склонялись друг к дружке, улыбались, снова пили, и каждый отражался в другом, как в зеркале, и оба наслаждались тем, что в эту дождливую ночь встретились древний старик и зеленый юнец с похожими глазами, руками и темпераментом, и еще хороший виски.

— Ах, Том, Том, любо-дорого на тебя посмотреть! — говорил дед. — Скучно было без тебя в Дублине эти четыре года. Но, черт возьми, теперь я помираю. Нет, не спрашивай, отчего да почему. Доктор мне сказал, в душу его так, и эта новость для меня прямо как обухом по голове. И я так решил: чем родне раскошелиться на дорогу, чтоб попрощаться со старой клячей, совершу-ка я сам прощальное турне, пожму всем руки, выпью с каждым. Так что нынче я здесь, а завтра покачу за Лондон, увидаю Люси, а потом в Глазго, увидаю Дика. Погощу у каждого денек, не больше, чтобы не быть

ни кому в тягость. Ну что ты на меня рот раскрыл? Я не за жалостью приехал. Мне уже восемьдесят, пора и поминки закатить, как полагается, деньги на это у меня отложены, так что о деньгах ни слова. Я еду со всеми повидаться, убедиться, что все здоровы и веселы, так что могу спокойно откинуть коньки и помереть с легким сердцем, если выйдет. Я...

— Дедушка! — воскликнул вдруг Том и, схватив его за плечи, крепко обнял; внука душили слезы.

— Ну-ну, полно, малыш, спасибо, — сказал старик. — Мне достаточно того, что я вижу в твоём взгляде. — Он мягко отстранил внука от себя. — Расскажи-ка мне про Лондон, про твою работу, про этот дом. Ты тоже рассказывай, Фрэнк. Друг Тома для меня все равно что родня! Все рассказывай, Том!

— Простите. — Фрэнк кинулся к двери. — Вам обоим есть о чем поговорить. А мне тут надо купить кое-что...

— Пстой!

Фрэнк остановился.

Лишь теперь старик по-настоящему рассмотрел портрет над камином, подошел ближе, протянул руку и, прищурившись, прочитал подпись внизу.

— Фрэнк Дэвис. Это ты, мальчик? Это *ты* нарисовал?

— Да, сэр, — ответил Фрэнк, стоя у двери.

— И давно?

— Кажется, года три назад. Да, три.

Старик медленно покачал головой, как будто эта подробность добавила что-то к той огромной головоломке, над которой он непрестанно размышлял.

— А знаешь, Том, на кого это похоже?

— Да, дедушка. На тебя. Много-много лет назад.

— А, так ты тоже заметил? Бог мой, точно. Это же я в свой восемнадцатый день рождения, когда вся Ирландия, и все ее зеленые луга, и нежные девушки были у меня еще впереди, а не позади. Это же я, точно я. Бог свидетель, я был хорош собой, и ты, Том, тоже. А ты, Фрэнк, Бог свидетель, ты просто чародей. Ты отличный художник, мальчик.

— Делаю, что могу. — Фрэнк потихоньку вернулся на середину комнаты. — Делаю, что *знаю*.

— А Тома ты *знаешь* до кончиков волос, до кончиков ресниц. — Старик обернулся с улыбкой. — Ну, Том, каково тебе глядеть на свет моими глазами? Чувствуешь, что ты герой, что мир лежит перед тобой, как рыбный ряд на дублинском базаре?

Том рассмеялся. Дед тоже. А за ними и Фрэнк.

— Еще по стаканчику. — Старик налил всем виски. — А потом мы позволим тебе тактично улизнуть, Фрэнк. Только обязательно возвращайся. Мне надо с тобой потолковать.

— О чем? — спросил Фрэнк.

— О Великих Тайнах. О Жизни, о Времени, о Бытии. А по-твоему, о чем же еще, Фрэнк?

— Этого довольно, дедушка... — сказал Фрэнк и запнулся, с удивлением услышав сорвавшееся с языка слово. — Я хотел сказать, мистер Келли...

— И дедушки довольно.

— Мне надо бежать. — Фрэнк залпом допил свой виски. — Созвонимся, Том.

Дверь захлопнулась. Фрэнк ушел.

— Ты, разумеется, переночуешь у меня, дедушка? — Том подхватил саквояж. — Фрэнк не вернется. Ты ляжешь на его кровати.

Том уже застилал одну из двух кушеток у дальней стены.

— Спать еще рано. Так что давай, дедушка, еще немного выпьем и поговорим.

Но старик, пораженный, молча разглядывал картины, развешанные по стенам.

— Здорово нарисовано.

— Это все Фрэнк.

— И лампа тоже красивая.

— Ее сделал Фрэнк.

— А коврик на полу?..

— Фрэнк.

— Бог мой, — шептал старик, — ну и трудяга этот Фрэнк!

Он медленно шаркал по комнате, как в музее.

— Да тут просто яблоку негде упасть от шедевров, — говорил он. — В Дублине ты ни на что такое не сподобился бы.

— Поживешь вдали от дома — многому научишься, — смущенно сказал Том.

Старик закрыл глаза и допил свой стакан. — Тебе нехорошо, дедушка?

— Меня скрутит среди ночи, — ответил старик. — Я, может, даже вскочу с постели и заорю как полоумный. А сейчас ничего, только в животе крутит да в затылке побаливает. Давай потолкуем, малыш.

И они толковали и пили до полуночи, а потом Том уложил деда и лег сам, и они еще долго не могли уснуть.

Около двух часов ночи старик внезапно проснулся.

Он огляделся вокруг, всматриваясь в темноту, пытаясь понять, где он находится, потом разглядел картины, мягкие кресла, лампу и коврики, сделанные Фрэнком, и сел на кровати. Он сжал кулаки. Затем поднялся, наспех оделся и, шатаясь, бросился к двери, словно боясь опоздать, пока не случилось что-то ужасное.

Хлопнула дверь, Том резко открыл глаза.

Где-то в темноте ночи слышался голос: кто-то звал, кричал, бросал вызов стихиям, во все горло выкрикивал проклятия, богохульствовал, и под конец послышался град неистовых ударов, будто кто-то колошматил стену или какого-то врага.

Спустя долгое время дед, волоча ноги, промокший до нитки, вернулся в дом.

Качаясь, что-то бормоча и шепча, старик содрал с себя мокрую одежду перед потухшим камином, потом бросил на тлеющие угли газету: она вспыхнула, мимолетно озарив лицо, на котором ярость постепенно сменялась оцепенением. Старик отыскал брошенный Томом халат и надел его. Когда старик протянул свои руки с кровавыми прожилками к меркнувшему пламени, Том крепко зажмурился.

— Черт, черт, черт! Вот досада!

Дед налил себе виски и залпом выпил. Он, прищурившись, посмотрел на Тома, потом на картины по стенам, опять поглядел на Тома, на цветы в вазах, а затем снова выпил. Спустя долгое время Том сделал вид, что проснулся.

— Третий час ночи. Тебе надо отдохнуть, дедушка.

— Отдохну, когда кончу пить. И думать!

— О чем думать, дед?

— Сейчас, — сказал старик, сидя в полумраке комнаты, держа обеими руками стакан, пока в камине догорали последние призрачные огоньки, — я вспомнил твою милую бабушку в июне тысяча девятьсот второго. И как родился твой отец, и как это было здорово, и как потом родился ты, и как это было здорово. И как твой отец умер, когда ты был совсем крохой, и как тяжело пришлось твоей матери, и как она тряслась над тобой, может даже слишком, в те голодные и холодные времена в суровом Дублине. А я все время был на работе, в поле, и мы виделись с тобой только раз в месяц. Люди рождаются, люди умирают. Вот какие мысли крутятся в стариковской голове по ночам. Я вспоминал, как ты родился, Том, это был счастливый день. А теперь вот ты какой стал. Так-то.

Старик замолчал и допил виски.

— Дедушка, — наконец произнес Том, почти как ребенок, который

украдкой пробирается в дом, ожидая наказания и прощения за еще не названный грех, — я вызываю у тебя беспокойство?

— Нет, — сказал старик и добавил: — Только как ты будешь жить, как люди будут к тебе относиться, хорошо или худо, — *вот* что мне покоя не дает.

Старик сидел неподвижно. Юноша лежал, глядя на него во все глаза, и наконец сказал, словно угадав его мысли:

— Я счастлив, дедушка.

Старик наклонился к нему.

— Правда?

— Как никогда в жизни.

— Да? — В полутьме старик взгляделся в лицо юноши. — Да, вижу. Но надолго ли твое счастье, а, Том?

— А разве бывает вечное счастье, дедушка? Все на свете проходит, разве не так?

— Замолчи! У нас с твоей бабушкой ничего не прошло!

— Нет, но у вас ведь не все время было одинаково? Первые годы — одно, потом уже по-другому.

Старик прикрыл рот рукой, потом закрыл глаза, потирая лицо.

— Да, твоя правда. У каждого из нас по две, нет, по три, даже по четыре жизни. И все они проходят, это верно. Но *память* о них остается. И из всех прожитых тобой четырех, пяти или двенадцати жизней одна — особенная. Помню, однажды...

Старик вдруг осекся.

— Что однажды, дед? — спросил юноша.

Взгляд старика был устремлен куда-то в даль ушедших лет. Теперь он обращался уже не к этой комнате, и не к Тому, и вообще ни к кому. Казалось, он разговаривает даже не с самим собой.

— О, это было давным-давно. Когда я в первый раз вошел в эту комнату сегодня, мне почему-то сразу вспомнилось. Я как будто снова бежал по берегу Голуэя, как в ту достопамятную неделю...

— В какую неделю, когда?

— На ту неделю, летом, пришелся мой двенадцатый день рождения, подумать только! Это было еще при королеве Виктории, мы жили тогда в торфяной халупе неподалеку от Голуэя, и я бродил по берегу, собирал всякую выброшенную морем всячину, и день был такой погожий, что даже грустно, потому что знаешь: это ненадолго.

И вот в один из таких погожих деньков как-то после полудня по дороге, что идет вдоль берега, прикатил фургон, набитый чернявыми

цыганами, которые разбили лагерь у моря.

Там были отец, мать, девочка и еще этот парнишка, который тут же побежал один вдоль берега, наверное, тоже в поисках компании, потому что я сам слонялся там без дела и был рад новому человеку.

И вот он подбегает ко мне. Никогда не забуду, как я увидел его тогда в первый раз, буду помнить до самой могилы. Он...

Эх, слов не хватает! Стой, все не так. Надо еще открутить назад.

В Дублин приехал цирк. Пошел я поглядеть: там показывали дурачков, карликов, маленьких жутких уродцев, жирных женщин и тощих как скелеты мужчин. А перед последним экспонатом собралась настоящая толпа; ну, думаю, там, наверное, самое страшилище и есть. Стал я протискиваться, чтоб посмотреть на жуть невиданную. И что же я вижу? Вся эта толпа собралась поглазеть всего-то на маленькую девчурку лет шести: такая светленькая, хорошенькая, щечки нежные, глазки голубые, волосики золотые, сама тихая такая, что посреди всего этого анатомического театра привлекала всеобщее внимание. Ее красота кричала без слов, сводя на нет весь спектакль. Весь народ прямо-таки тянулся к ней, ища исцеления. Потому что в этом болезненном зверинце она была единственным милым и славным доктором, который возвращал нас к жизни.

Значит вот, та девочка в цирке была таким же неожиданным чудом, как и этот паренек, скакавший по песчаному берегу, словно жеребенок.

Он был не черный, как его родители.

У него были золотые кудряшки, в которых играли солнечные блики. При ярком свете его тело было словно из бронзы отлито, а что не из бронзы, то из меди. Невероятно, но казалось, будто этот двенадцатилетний, как и я, мальчишка только-только родился на свет — такой он был свежий и новенький. У него были блестящие карие глаза, как у зверька, который долго бежал, унося ноги от погони, по всем побережьям мира.

Он остановился, и первое, что я от него услышал, был его смех. Он радовался жизни и возвещал об этом своим смехом. Наверное, я тоже засмеялся, потому что его радость была заразительна. Он протянул мне свою смуглую руку. Я заколебался. Тогда он нетерпеливо схватил мою ладонь.

Господи, сколько лет прошло, а я помню, что мы тогда сказали друг другу. «Правда, смешно?» — сказал он.

Я не стал спрашивать, что смешно. Я знал. Он сказал, что его зовут Джо. Я сказал, что меня зовут Тим. И вот мы стоим на пляже, двое мальчишек, а меж нами — огромный мир, как одна большая, добрая,

великолепная шутка.

Он посмотрел на меня своими огромными, круглыми, медно-карими глазами и от души расхохотался, а я подумал: э, да он жевал сено! Его дыхание пахло травой. И вдруг у меня закружилась голова. Этот запах меня оглушил. Бог мой, думал я, шатаюсь, да я пьян, но отчего?" Мне доводилось тайком хлебнуть отцовского виски, но тут-то с чего пьянеть? Я был пьян этим полднем, этим солнцем, у меня кружилась голова — и отчего? Оттого, что этот незнакомый паренек жевал сладкие стебли? Нет, не может быть!

Тогда Джо посмотрел на меня в упор и сказал: «У нас мало времени».

«Мало времени?» — переспросил я.

«Ну да, — ответил Джо, — чтобы дружить. Мы ведь с тобой друзья?»

От его дыхания на меня пахнуло свежескошенными лугами.

Господи, хотелось мне крикнуть, ну конечно да! И чуть не упал, будто он дал мне дружеского пинка. Но мой рот только открылся и снова закрылся, а я спросил: «А почему у нас так мало времени?»

«А потому, — сказал Джо, — что мы с родителями пробудем здесь всего шесть дней, от силы неделю, а потом поедем дальше по всей Ирландии. И я больше никогда тебя не увижу, Тим. Поэтому нам надо очень многое успеть за эти несколько дней».

«Шесть дней? Так это почти что ничего!» — возмутился я, и мне почему-то стало вдруг так грустно, так пусто на этом берегу. Наше знакомство только началось, а я уже оплакивал его конец.

«День тут, неделю там, месяц еще где-нибудь, — сказал Джо. — Мне приходится жить очень быстро, Тим. У меня не бывает друзей надолго. Только те, кого я помню. Поэтому, куда бы я ни приехал, я говорю своим новым друзьям: скорей, давай сделаем то, сделаем это, натворим побольше дел, длинный список, и тогда ты будешь вспоминать меня, когда я уеду, а я — тебя, и будем говорить: вот это был друг! Так что начнем. Догоняй!»

Джо осалил меня и кинулся бежать.

Я бежал за ним и смеялся: ну не глупо ли нестись сломя голову за каким-то мальчишкой, которого я и знал-то всего пять минут? Мы пробежали, наверное, целую милю по длинному летнему пляжу, пока он не дал себя догнать. Я уже думал поколотить его за то, что он заставил меня мчаться так далеко просто так, неизвестно зачем, черт знает зачем! Но когда мы повалились на землю и я прижал его за обе лопатки, он только дохнул разок мне в лицо своим дыханьем, и я отскочил, тряхнув головой, и сел, тупо глядя на него, как будто сунул мокрые руки в электрическую розетку. А он рассмеялся, увидев, как я молниеносно отпрянул и сижу в полном недоумении.

"Ого, Тим, — сказал он, — мы с тобой *подружимся*".

Ты знаешь, какое унылое, холодное ненастье стоит месяцами у нас в Ирландии? Так вот, вся эта неделя, когда мне исполнилось двенадцать, все эти семь дней, про которые Джо сказал, что они будут последними, каждый день стояла чудесная летняя погода. Мы бродили по берегу, и больше ничего, мы просто были на берегу, строили замки из песка или взбирались на холмы и играли в войну среди курганов. Мы отыскивали старинную круглую башню и с криками носились по ней вверх и вниз. Но чаще всего мы просто гуляли, обнявшись за плечи, как сиамские близнецы, которых не разделили ни нож, ни молния. Я вдыхал, он выдыхал. Я старался дышать ему в лад. Мы говорили и говорили до поздней ночи, сидя на песке, пока родители не приходили искать своих детей, нашедших то, чего им самим было не понять. Когда он заманивал меня к себе, я ложился подле него, или он подле меня, и мы болтали и смеялись, ей-богу, смеялись до самой зари. А потом опять на волю и хохочем, пока не повалимся на землю без сил. И вот мы лежим, развеселые, зажмурив глаза, вцепившись друг в дружку до трясушки, и смех наш разносится повсюду, как серебристые форели, играющие в салочки. Ей-богу, я купался в его смехе, а он — в моем, пока совсем не утомимся, как будто это любовь нас измучила и вымотала до нитки. Сидим, высунув языки, как щенки в жаркий день, высмеявшись до отказа, сонные от нашей дружбы. И всю неделю дни стояли голубые и золотые, ни облачка, ни дождевки, и от ветра пахло яблоками... нет, не от ветра, а лишь от вольного дыхания того парнишки.

Долгие годы спустя мне подумалось: может ли старик еще раз окунуться в тот летний родник, омыться буйной струей дыхания, которое исходило из его ноздрей и рта, почему бы не сбросить коросту лет, не помолодеть, как может тело устоять перед таким соблазном?

Но того смеха больше нет, и того паренька больше нет — он стал взрослым и затерялся где-то в большом мире, и вот я две жизни спустя впервые говорю об этом. А кому было рассказывать? С той недели, когда мне исполнилось двенадцать и я получил в подарок его дружбу, и до сей поры некому мне было рассказать про тот берег и лето и про то, как мы вдвоем бродили, сплетя наши руки и жизни, и жизнь казалась совершенной, как буква "О" — огромный круг погожих дней и веселой болтовни, и мы нисколько не сомневались тогда, что будем жить вечно, никогда не умрем и останемся друзьями навсегда.

А потом неделя кончилась, и он уехал.

Он был мудр не по годам. Не стал прощаться. Неожиданно их повозка исчезла.

Я бегал по берегу и звал. Я увидел вдали скрывающуюся за гребнем холма повозку. И тут во мне заговорила мудрость друга. Не догоняй. Отпусти. Теперь можешь плакать, сказала мне моя мудрость. И я заплакал.

Я плакал три дня, а на четвертый затих. Много месяцев я не ходил на берег. И за все годы, что прошли с тех пор, я ни разу не испытал ничего подобного. Я прожил хорошую жизнь, у меня была хорошая жена, хорошие дети и ты, малыш Том, и ты тоже. Но не сойти мне с этого места, если я лгу: никогда больше я не был в таком неистовом, безумном, диком отчаянии. Никогда я так не пьянел даже от вина. Никогда я не рыдал так безутешно, как тогда. Почему, Том? Почему я все это рассказываю и что это было? Зачем возвращаюсь в те далекие невинные времена, когда я был еще одинок и ничего не знал? Как же получается: его я помню, а все другое ускользает из памяти? Отчего, прости господи, я, бывает, не могу вспомнить лицо твоей бабушки, а его лицо на морском берегу так и стоит у меня перед глазами? Почему мне снова и снова видится, как мы с ним валимся на землю и земля принимает в свое лоно буйных жеребят, ошалевших от обилия сладкой травы и нескончаемой череды светлых дней?

Старик умолк. Потом добавил:

— Говорят, секрет мудрости в том, что осталось несказанным. Больше я ничего не скажу. Даже не знаю, зачем я рассказал все это.

— Зато я знаю, — произнес Том, лежа во тьме.

— Правда? — спросил старик. — Ладно, расскажешь мне. Когда-нибудь.

— Да, — отозвался Том, — когда-нибудь.

Они послушали, как стучит за окнами дождь.

— Ты счастлив, Том?

— Вы меня уже спрашивали, сэр.

— Я спрашиваю еще раз. Ты счастлив?

— Да.

Молчание.

— Так значит, у тебя сейчас лето на морском берегу, Том? Те самые волшебные семь дней? И ты пьян?

Том долго не отвечал, а потом сказал лишь одно слово:

— Дедушка, — и кивнул всего один раз.

Старик откинулся в кресле. Он мог бы сказать: это пройдет. Он мог бы сказать: это ненадолго. Он многое мог бы сказать. Но вместо этого он сказал:

— Том?

— Да, сэр?

— О черт! — вскричал вдруг старик. — Господи всемогущий! Боже! Дьявол!

Тут он умолк и задышал ровнее.

— Ну вот. Сумасшедшая ночь. Не мог я напоследок не завопить. Просто не мог, малыш.

Наконец они уснули под барабанную дробь дождя.

С первыми лучами солнца старик тихо и осторожно оделся, взял свой саквояж и, наклонившись к спящему юноше, ладонью коснулся его щеки.

— Прощай, Том, — шепнул он.

Спускаясь по сумрачной лестнице вниз, к непрерывному стуку дождя, он вдруг увидел друга Тома, который сидел в ожидании на нижней ступеньке.

— Фрэнк! Ты что, всю ночь здесь сидишь?

— Нет-нет, мистер Келли, — поспешно ответил Фрэнк. — Я ночевал у приятеля.

Старик повернулся к темной лестнице и посмотрел вверх, как будто мог разглядеть отсюда комнату и спящего в тепле Тома.

— Гха!..

Звук, похожий на звериное рычание, вырвался было из его гортани, но затих. Он неловко переступил с ноги на ногу и опять поглядел на вспыхнувшее зарей лицо молодого человека, того самого, что нарисовал портрет, висящий над камином в комнате наверху.

— Кончилась эта проклятая ночь, — произнес старик. — Так что, если ты немного посторонишься...

— Сэр.

Старик шагнул на одну ступеньку вниз и вдруг взорвался:

— Послушай! Если ты когда-нибудь хоть чем-нибудь обидишь Тома, клянусь Богом, я согну тебя в бараний рог! Понял?!

— Не тревожьтесь, — сказал Фрэнк, протянув ему руку.

Старик посмотрел на нее, словно никогда не видел протянутой для пожатия руки. И вздохнул.

— Эх, черт возьми, Фрэнк, друг Тома, ты такой молодой, что глазам больно смотреть на тебя. Прочь с дороги!

Они пожали друг другу руки.

— Ого, ну и хватка, — с удивлением сказал старик.

И он исчез, словно смытый несметными струями дождя.

Молодой человек затворил за собой дверь наверху, постоял немного,

глядя на спящего, наконец подошел и, словно ведомый каким-то чутьем, коснулся ладонью его щеки точно в том месте, которого не более пяти минут назад на прощание коснулась рука старика. Он тронул эту полетнему теплую щеку.

Том улыбнулся во сне той самой улыбкой, какой улыбался отец его отца, и сквозь сон позвал старика по имени.

Он позвал его дважды.

И снова спокойно уснул.

Душка Адольф

Darling Adolf 1976 год

Переводчик: О.Акимова

Они ждали его у выхода. Он сидел, потягивая пиво, в маленьком баварском кафе с видом на горы, причем сидел там с полудня, а было уже полтретьего, обед затянулся, пиво — рекой, и по тому, как он держал голову, смеялся и поднимал очередную кружку с шапкой воздушной, как весенний ветерок, пены, было видно, что сегодня он просто в ударе, и двое, сидевшие с ним за одним столиком, старались от него не отставать, но все равно он их обскакал.

Время от времени ветер доносил их голоса, и тогда кучка людей, толпившихся на автомобильной стоянке, подавалась вперед, прислушиваясь. Что он сказал? А теперь что?

— Сказал просто, что все хорошо: снимают.

— Что? Кого?

— Дурак, фильм, фильм снимают.

— А это с ним кто, режиссер?

— Да. А второй, хмурый, — это продюсер.

— Не похож на продюсера.

— Еще бы! Он себе нос переделал.

— А сам? Правда, совсем как настоящий?

— До кончиков волос.

И все опять подались вперед, чтобы посмотреть на этих троих: того, что был не похож на продюсера, застенчивого режиссера, который непрестанно поглядывал на толпу и сутуло втягивал голову в плечи, закрывая глаза, и сидящего между ними человека в военной форме со свастикой на рукаве, чья красивая форменная фуражка лежала на столе рядом с едой, почти нетронутой, потому что человек этот говорил... нет, ораторствовал.

— Вылитый фюрер!

— Боже мой, как будто оказался в том времени. Прямо не верится, что сейчас семьдесят третий. Будто снова в тридцать четвертом, когда я увидел его в первый раз.

— Где?

— На митинге в Нюрнберге, на стадионе. Осень, м-да, мне тринадцать

лет, и я член «Гитлерюгенда», стою среди ста тысяч солдат и юношей на этом огромном поле, вечер, факелы еще не зажгли. Столько оркестров, столько флагов, столько горячих сердец, да-да, поверьте, я слышал, как колотятся сто тысяч сердец, мы все были влюблены в него, он спустился к нам прямо с неба. Он был послан богами, мы знали, и время ожиданий прошло, отныне мы могли *действовать*, с ним для нас не было ничего невозможного.

— Интересно, как чувствует себя этот актер в его роли?

— Тс-с-с, он тебя слышит. Смотри, машет рукой. Помаши ему тоже.

— Помолчите, — вмешался еще кто-то. — Они опять о чем-то говорят.

Я хочу послушать...

Толпа замолкла. Мужчины и женщины прислушались к ласковому весеннему ветру, доносившему слова из-за столика в кафе.

У юной официантки, подававшей пиво, зарозовели щеки и разгорелись глаза.

— Еще пива! — крикнул человек с усиками, похожими на зубную щетку, и волосами, зачесанными на левую бровь.

— Спасибо, не надо, — сказал режиссер.

— Нет-нет, — замотал головой продюсер.

— Еще пива! Отличный денек, — настаивал Адольф. — Тост за наш фильм, за нас, за меня. Выпьем!

Остальные двое взяли за кружки.

— За фильм, — сказал продюсер.

— За душку Адольфа, — вяло проговорил режиссер.

Человек в форме удивленно застыл.

— Я совсем не считаю себя... — он запнулся, — его таким уж душкой.

— Он был настоящий душка, и ты тоже прелесть. — Режиссер залпом выпил пиво. — Не возражаете, если я напьюсь?

— Напиваться не положено, — сказал фюрер.

— Где это написано в сценарии?

Продюсер толкнул режиссера ногой под столом.

— Как думаете, сколько недель нам еще снимать? — спросил продюсер весьма учтиво.

— Думаю, мы закончим снимать, — сказал режиссер, большими глотками отпивая пиво, — где-то на смерти Гинденбурга или когда дирижабль «Гинденбург», объятый пламенем, падает в Лейкхерсте, штат Нью-Джерси,^[47] — все равно.

Адольф Гитлер склонился над своей тарелкой и молча атаковал мясо с картофелем.

Продюсер тяжело вздохнул. Режиссер, толкаемый в бок, попытался успокоить страсти:

— А потом пройдет еще три недели, и мы на своем «Титанике» поплывем домой с готовым шедевром, там столкнемся с еврейскими критиками и, храбро распевая «Deutschland Uber Alles», пойдём ко дну.

Неожиданно все трое жадно накинулись на еду, молча вгрызаясь, кусая и пережевывая, а весенний ветерок по-прежнему веял, и на улице по-прежнему ожидала толпа.

Наконец фюрер перестал есть, глотнул еще пива и, откинувшись на спинку стула, провел по усикам мизинцем.

— В такой день ничто не может вывести меня из себя. Вчерашние эпизоды просто превосходны. А какой кастинг! Геринг просто неподражаем. А Геббельс? Совершенство! — Солнце ушло, перестав слепить глаза фюрера. — Так вот. Так вот, вчера вечером я как раз думал: вот я в Баварии, чистокровный ариец...

Оба его собеседника слегка передернулись, но промолчали.

— ...делаю фильм, — продолжал Гитлер, тихо посмеиваясь, — вместе с евреем из Нью-Йорка и евреем из Голливуда. Забавно.

— Лично мне не смешно, — необдуманно сказал режиссер.

Продюсер бросил на него взгляд, в котором ясно читалось: фильм еще не закончен. Осторожней.

— И я подумал, а неплохо бы... — тут фюрер остановился, чтобы сделать большой глоток, — ...устроить еще один... э-э-э... митинг в Нюрнберге, а?

— Ты имеешь в виду, для съемок, конечно?

Режиссер в ожидании уставился на Гитлера. Тот внимательно изучал текстуру пены в своей кружке.

— Господи, — сказал продюсер, — да ты знаешь, сколько это будет стоить, чтобы воспроизвести митинг в Нюрнберге? Сколько это стоило тогда Гитлеру, Марк?

Он подмигнул режиссеру, и тот сказал:

— Кучу денег. Но у него, разумеется, было множество бесплатных статистов.

— Разумеется! Армия, Гитлерюгенд.

— Да-да, конечно, — сказал Гитлер. — Но подумайте, какая это будет реклама на весь мир! Поедёмте в Нюрнберг, а, снимем мой самолет, а, и как я спускаюсь с неба? Я только что слышал, как люди, вон там, говорили: Нюрнберг, самолет, факелы. Они помнят. И я помню. На том стадионе я держал факел. Боже, как это было красиво! И вот сейчас, сейчас мне ровно

столько же лет, сколько было Гитлеру, когда он был на пике.

— Да не был он никогда на пике, — сказал режиссер. — Разве что на вертеле.

Гитлер поставил кружку на стол. Щеки его побагровели. Усилием воли он заставил губы растянуться в улыбке и изменил цвет лица.

— Полагаю, это шутка?

— Шутка, — согласился продюсер, голосом чревовещателя внушая другу ответ.

— Я думал, — продолжал Гитлер, снова поднимая глаза к небесам, будто заново переносясь в тот далекий год, — а что, если снять это в следующем месяце, при хорошей погоде? Представляете, сколько туристов приедет посмотреть на съемки фильма!

— Да уж. Даже Борман, наверное, прилетит прямо из Аргентины.

Продюсер метнул в режиссера еще один испепеляющий взгляд.

Гитлер откашлялся и нехотя добавил:

— Что до расходов, если вы дадите за неделю до съемок маленькое объявление в нюрнбергской прессе — причем заметьте, только одно! — вы получите целую армию статистов, готовых работать за пятьдесят центов в день, даже за двадцать пять, да нет, бесплатно!

Фюрер залпом опорожнил кружку и заказал другую. Официантка бросилась наливать. Гитлер пытливо посмотрел на двух своих приятелей.

— Знаешь, — сказал режиссер, выпрямляясь на стуле, и в глазах его зажегся недобрый огонь; он оскалился, подавшись вперед, — есть в тебе какая-то идиотская привлекательность, какое-то убийственное остроумие, какое-то ублюбочное изящество. Из тебя то и дело вываливается какая-нибудь сенсационная мерзость, которая переливается и воняет на солнце. Арчи, ты только послушай, что он говорит. Фюрер только что совершил грандиозное испражнение. Тащите сюда астрологов! Вспарывайте голубей, вытаскивайте из них кишки. Зачитайте мне списки актеров.

Режиссер вскочил на ноги и начал расхаживать взад-вперед.

— Одно объявление в газете — и на тебе: все сундуки в Нюрнберге открываются настежь! Старые военные мундиры обтягивают толстые животы! Старые свастики красуются на дряблых плечах! Старые фуражки с черепами-орлами вспархивают на жирные макушки!

— Я не стану сидеть здесь и слушать... — вскричал Гитлер.

Он хотел было подняться, но продюсер удержал его за руку, а режиссер, словно нож в сердце, ткнул ему в грудь свой указательный палец:

— Сядь.

Лицо режиссера нависло всего в двух дюймах от носа Гитлера. Гитлер медленно опустился на стул, по его щекам струился пот.

— Бог мой, да ты просто *гений*, — продолжал режиссер. — Господи, да ведь этот народ *действительно* туда повалит. Не молодежь, нет, но старики. Весь Гитлерюгенд, твои ровесники, эти дряблые мешки с потрохами, будут выкрикивать «Зиг хайль!», вскидывать руку, жечь факелы на закате, маршировать кругами по стадиону и рыдать от счастья. — Режиссер вдруг повернулся к продюсеру. — Говорю тебе, Арч, у этого Гитлера мозги куриные, но на сей раз он попал в точку! Если мы не втиснем в нашу картину эпизод с нюрнбергским митингом, я ухожу. Я серьезно. Просто встану и уйду: пусть вон тогда Адольф тут всем заправляет и сам режиссирует всю эту треклятую затею! Я закончил выступление.

Он сел.

И продюсер, и фюрер, похоже, находились в состоянии шока.

— Закажи мне еще пива, черт побери, — гаркнул режиссер.

Гитлер с шумом вдохнул воздух, швырнул на стол нож с вилкой и резко отодвинул стул:

— Я не стану сидеть за одним столом с таким, как ты!

— Ах ты, сукин сын, шавка лизоблюдная, — сказал режиссер. — Сейчас я буду держать кружку, а ты станешь лакать из нее как миленький. На!

Режиссер схватил кружку с пивом и сунул прямо под нос фюреру. Толпа на улице испустила вздох и едва не хлынула вперед. Гитлер закатил глаза, ибо режиссер схватил его за грудки и рванул к кружке.

— Лакай! Жри немецкие отбросы! Жри, ничтожество!

— Мальчики, мальчики, — вмешался продюсер.

— Тоже мне — мальчики! Знаешь, Арчибальд, о чем мечтает, сидя здесь, этот говносос, этот нацистский ночной горшок? Сегодня Европа, завтра — весь мир!

— Не надо, не надо, Марк!

— Не надо, не надо, — повторял Гитлер, глядя на кулак, сжимающий ткань его мундира. — Пуговицы, пуговицы...

— ...болтаются, как винтики у тебя в голове, слизняк. Арч, погляди-ка, с него просто градом льет! Погляди на этот жирный пот у него на лбу, на эти вонючие подмышки. Он плавает в своем поту, потому что я угадал его мысли! Завтра — весь мир! Давай доснимаем этот фильм с ним в главной роли. Через месяц он спустится из-под облаков на землю. Гремят оркестры. Горят факелы. Пригласим Лени Рифеншталь^[48]: пусть покажет, как она

снимала тот митинг в тридцать четвертом. Личный режиссер Гитлера. Она использовала пятьдесят кинокамер — пятьдесят! — чтобы заснять все это немецкое ничтожество, выстроенное рядами и изрыгающее потоки лжи, и Гитлера, затянутого в скрипящую кожу, вместе с Герингом, опьяненным собственными завываниями, и Геббельсом, ковыляющим, как хромая макака, — трех суперпедрил истории, изгаляющихся в сумерках перед целым стадионом. Давайте устроим все заново, поставим во главе этого ублюдка; а знаешь, что сейчас шевелится в этом сером умишке, в этих рыбьих глазках?

— Марк, Марк, — шипел сквозь зубы продюсер, закрывая глаза. — Сядь. Люди смотрят.

— Пусть смотрят! А ты открой глаза! Ты тоже смотри на меня! Я давно уже сам закрываю глаза, чтоб не видеть тебя, мерзость! А теперь прошу минуту внимания. Вот тебе!

Он выплеснул пиво в лицо Гитлеру, тот широко открыл глаза и тут же снова закатил их, а по щекам его разлился апоплексический румянец.

Толпа снаружи ахнула.

Услышав это, режиссер бросил на нее ехидный взгляд.

— Забавно, честное слово. Они не знают, приходить на помощь или не надо, настоящий ты или нет, и я тоже не знаю. Завтра ты, болтливый ублюдок, и впрямь возмечтаешь стать фюрером.

Он снова плеснул пива ему в лицо.

Продюсер, отвернувшись на своем стуле, лихорадочно стряхивал с галстука несуществующие хлебные крошки.

— Марк, ради бога...

— Нет, серьезно, Арчибалд. Этот парень воображает, что, если он напялит на себя грошовый мундир да за хорошие деньги будет с месяц корчить из себя Гитлера и если мы действительно соберем народ на этот митинг в Нюрнберге, великий боже, сама История повернется вспять; Время, о Время, поверни вспять свой бег, верни мне хоть на миг те дни, когда я был тупоголовым наци, поджаривающим евреев на костре! Ты только представь, Арч, как эта вшивота вышагивает к микрофонам и начинает вопить, а толпа вопит в ответ, и он в самом деле пытается встать у руля, как будто жив еще Рузвельт и Черчилль еще не лежит в могиле, и снова все будет поставлено на кон: орел или решка, но на сей раз будет только орел, потому что теперь они не остановятся у Ла-Манша, а пойдут дальше, пусть даже на этом они потеряют миллион немецких мальчишек, они растопчут Англию, растопчут Америку — разве не эта мысль крутится в твоей убогой арийской черепушке, Адольф?

Гитлер давился и шипел. Язык его вывалился наружу. Наконец, рванувшись, он высвободился и взорвался:

— Да! Да, чтоб тебя черти побрали! Побрали, зажарили и сожгли! Ты посмел поднять руку на фюрера! Митинг! Да! Он должен быть в фильме! Мы должны устроить этот митинг снова! Самолет! Как он садится! Длинные проезды по улицам. Белокурые девушки. Очаровательные белокурые мальчики. Стадион. Лени Рифеншталь! Из всех сундуков, со всех чердаков во тьму взмывают тучи черных повязок, они летят в атаку, сражаются и побеждают. Да, да, я, фюрер, буду стоять на митинге и диктовать условия! Я... я...

Он уже вскочил на ноги.

Толпа на автомобильной стоянке кричала.

Гитлер повернулся к ним и выбросил руку вперед в нацистском приветствии.

Режиссер, аккуратно прицелившись, ударил кулаком прямо в нос немца.

И тут же в кафе, визжа, крича, толкаясь, пихаясь и падая, ворвалась толпа.

На следующий день в четыре они поехали в больницу.

Старый продюсер вздыхал, сгорбившись, закрывая рукой глаза:

— Зачем, зачем, зачем мы едем в больницу? Навестить это... чудовище?

Режиссер кивнул.

Старик издал стон.

— Безумный мир. Сумасшедшие люди. Никогда не видел, чтобы так кусались, пинали, били. Эта толпа чуть не прикончила тебя.

Режиссер облизал распухшие губы и осторожно потрогал пальцем наполовину заплывший левый глаз.

— Я в порядке. Главное, я взгрел этого Адольфа, о, как я его взгрел. А теперь... — Его спокойный взгляд уставился вперед. — Пожалуй, я еду в больницу, что бы покончить с этим делом.

— Покончить, покончить? — Старик с ужасом по смотрел на него.

— Покончить. — Режиссер медленно повернул машину за угол. — Вспомни двадцатые, Арч, когда в Гитлера стреляли на улице, но всегда промахивались, когда его били, но не забили до смерти, или когда он вышел из пивной за десять минут до взрыва бомбы, или когда в сорок четвертом в комнате для совещаний взорвался портфель с бомбой, а он уцелел. Он всегда был словно заколдованный. Каждый раз кирпич падал мимо. Так

вот, Арчи, больше никакого колдовства, никаких чудесных спасений. Я еду в эту больницу, и когда этот недоделанный статист выйдет оттуда и его встретит ликующая толпа фрицев, я сделаю из него сопрано на всю жизнь, будь уверен. И не пытайся остановить меня, Арч.

— Да кто тебя останавливает? Двинь ему по яйцам и за меня тоже.

Они остановились перед больницей и тут же увидели, как вниз по лестнице с криком несется один из ассистентов — растрепанный, с безумными глазами.

— Черт, — произнес режиссер. — Ставлю сорок против одного, что нам опять не повезло. Спорим, этот парень сейчас скажет...

— Похищен! Исчез! — кричал ассистент. — Адольфа увезли!

— Сукин сын.

Они обошли кругом пустую больничную койку; даже пощупали.

В углу стояла медсестра, в отчаянии заламывая руки. Ассистент бессвязно лепетал:

— Их было трое, трое мужчин.

— Замолчи. — От одного взгляда на белые простыни у режиссера наступила снежная слепота. Заставили силой или сам пошел?

— Не знаю, не могу сказать, да, он все время толкал речи, пока они уводили его с собой.

— Толкал речи? — вскричал продюсер, хлопнув себя по лысине. — Господи, мало того что в ресторане с нас взыщут за поломанные столы, да еще Гитлер, возможно, взыщет с нас за...

— Обожди, — режиссер подошел к ассистенту и пристально посмотрел на него. — Ты говоришь, их было трое?

— Трое, да, трое, трое, точно трое.

В голове режиссера вспыхнула маленькая сорокаваттная лампочка.

— У одного из них квадратное лицо, мощный подбородок, мохнатые брови?

— Откуда вы... да!

— Другой такой маленький, тощий, как обезьянка?

— Да!

— А третий такой большой, я имею в виду жирный, обрюзгший?

— Откуда вы знаете?

Продюсер удивленно моргал, глядя на них.

— Что тут происходит? Что за...

— Дурак дурака видит издали. Хитрец хитреца — тоже. Пойдем, Арч.

— Куда?

Старик все глядел на пустую кровать, словно ждал, что Адольф вот-вот снова материализуется.

— В машину, быстро!

Выйдя на улицу, режиссер достал с заднего сиденья машины справочник актеров немецкого кино. Он пролистал имена характерных актеров.

— Вот.

Продюсер посмотрел. В его голове загорелась та же сорокаваттная лампочка.

Режиссер пролистнул еще несколько страниц.

— И вот. И наконец, вот.

Они стояли на холодном ветру возле больницы, и порывы ветра переворачивали страницы, пока они читали подписи к фотографиям.

— Геббельс, — прошептал старик.

— Актер по имени Руди Штайль.

— Геринг.

— Свиной окорок по имени Грофе.

— Гесс.

— Фриц Дингле.

Старик захлопнул книгу и закричал в пустоту:

— Сукин сын!

— Ори громче — будет смешнее, Арч. Смешнее и громче.

— Ты хочешь сказать, что прямо сейчас где-то в городе трое безработных тупиц актеров прячут Адольфа, держат его, может быть, ради выкупа? И что, мы будем платить?

— Мы хотим закончить фильм, Арч?

— Боже мой, я не знаю, столько денег уже потрачено, столько времени и... — Старик содрогнулся и закатил глаза. — А что, если... ну, в смысле... что, если им не выкуп нужен?

Режиссер кивнул и улыбнулся:

— Ты хочешь сказать, а что, если это начало Четвертого рейха?

— Вся немецкая шелуха сама упаковалась бы по кулямкам и заявила о себе, если б они только знали, что...

— ...что Штайль, Грофе и Дингле, они же Геббельс, Геринг и Гесс, снова на коне вместе со своим тупицей Адольфом?

— Безумие, кошмар, ужас! Такого не может быть!

— Никто никогда не думал, что можно перекрыть Суэцкий канал. Никто никогда не думал, что можно высадиться на Луну. Никто.

— Что же нам делать? Ждать невыносимо. Придумай же что-нибудь,

Марк, придумай, придумай!

— Я думаю.

— Ну и...

На сей раз лицо режиссера озарилось светом стоваттной лампочки. Он втянул в себя побольше воздуха и разразился ослиным гоготом.

— Я помогу им все организовать и выступить, Арч! Я гений! Пожми мне руку!

Он схватил руку продюсера и начал ее трясти, плача от смеха так, что по щекам его бежали слезы.

— Ты что, Марк, на их стороне? Ты хочешь помочь им создать Четвертый рейх?

Старик недоверчиво отступил.

— Не бей меня, лучше помоги. Припомни, Арч, припомни. Что наш душка Адольф говорил за обедом, и забудь о расходах! Ну что, что?

Старик вдохнул, задержал воздух в легких, а затем с шумом выдохнул, и лицо его наконец озарилось мгновенной вспышкой.

— Нюрнберг? — спросил он.

— Нюрнберг! А какой сейчас месяц, Арч?

— Октябрь!

— Октябрь! Сорок лет назад в октябре состоялся тот большой нюрнбергский митинг. И в эту пятницу, Арч, будет как раз годовщина. Мы тиснем объявление в международное издание «Вэрайети»: МИТИНГ В НЮРНБЕРГЕ. ФАКЕЛЫ. ОРКЕСТРЫ. ФЛАГИ. Господи, да он не сможет устоять. Он перестреляет своих похитителей, лишь бы попасть туда и сыграть величайшую роль в своей жизни!

— Марк, но мы не можем позволить себе...

— Пятисот сорока восьми баксов? За объявление плюс факелы, плюс пластинка с записью полного военного оркестра? Черт побери, Арч, дай-ка мне телефон.

Старик вытащил телефон с переднего сиденья своего лимузина.

— Сукин сын, — прошептал он.

— Точно, — осклабился режиссер и завладел трубкой.

— Сукин сын.

Солнце опускалось за трибуны нюрнбергского стадиона. Небо вдоль западного горизонта окрасилось в кровавые тона. Через полчаса, когда совсем стемнеет, уже будет не разглядеть ни маленького помоста в центре арены, ни темных флагов со свастиками, водруженных на временные шесты, расставленные так, чтобы получилась дорожка через весь стадион.

Слышался шум собирающейся толпы, но стадион был пуст. Где-то вдалеке били барабаны оркестра, но никакого оркестра не было.

Сидя в первом ряду на восточной стороне стадиона, режиссер ждал, держа руки на звукооператорском пульте. Он прождал два часа и уже начал ощущать усталость и глупость своего положения. Он слышал, как старик говорит ему:

— Поехали домой. Это же бред. Он не придет.

И собственный голос:

— Придет. Не может не прийти.

Хотя сам уже в это не верил.

У него на коленях лежали наготове пластинки. Время от времени он проверял то одну, то другую, спокойно ставя ее на проигрыватель, и тогда из рупоров громкоговорителей, установленных по обоим концам арены, доносился ропот толпы, звуки оркестра, но не в полную силу — нет, это будет позже, — а тихо-тихо. И опять он сидел в ожидании.

Солнце опустилось ниже. Кровавый закат облагрил облака. Режиссер старался этого не замечать. Ему не нравились эти грубые намеки природы.

Наконец старый продюсер слегка пошевелился и оглянулся по сторонам.

— Так вот, значит, это место. Такое, каким оно было в тридцать четвертом.

— Да. Точно таким.

— Я помню по фильмам. Да-да, Гитлер стоял... что? Вон там?

— Точно, там.

— А вон там — ребята и мужчины, а здесь — девушки и пятьдесят кинокамер.

— Пятьдесят, я считал — пятьдесят. Господи, как жаль, что меня не было среди всех этих факелов, флагов, людей, кинокамер.

— Марк, Марк, ты это что, серьезно?

— Да, Арч, я серьезно! Я бы подбежал к душке Адольфу и сделал бы с ним то же, что с этой свиньей, этим жалким актеришкой. Дал бы ему в нос, потом в зубы и еще по *яйцам!* Камеры готовы, Лени? Мотор! Трах! Камера! Бац! Это за Иззи. Это за Айка. Камеры работают, Лени? Отлично. *Zot!* В проявку!

Они стояли, глядя на пустой стадион, где, как призраки, метались по огромному бетонному полю обрывки газет, подгоняемые ветром.

Вдруг оба так и ахнули.

Вдалеке, на самой вершине трибуны, показалась маленькая фигурка.

Режиссер встрепенулся, привскочил с места, но усилием воли заставил

себя сесть.

Казалось, далекий человечек с трудом шагает сквозь прощальные лучи уходящего дня. Словно раненая птица, он заваливался на бок, прижимая руку к ребрам.

Фигурка остановилась в нерешительности.

— Ну, давай же, — прошептал режиссер.

Человечек повернулся, будто собравшись уйти.

— Нет, Адольф! — прошипел режиссер.

Одна его рука сама собой рванулась к записи звуковых эффектов, а другая — к музыке.

Тихо заиграл военный оркестр.

Послышались ропот и движение «толпы».

Стоящий наверху Адольф застыл на месте.

Музыка заиграла громче. Режиссер нажал на какую-то кнопку. Гул толпы стал слышней.

Адольф обернулся и, прищурившись, взгляделся в полутемный стадион. Наверное, он разглядел флаги. А потом и факелы. И наконец, ожидающую его сцену с микрофонами — с двумя десятками микрофонов! И только один — настоящий.

Оркестр уже гремел во всю мощь.

Адольф сделал шаг вперед.

Толпа неистовствовала.

«Боже, — подумал режиссер, глядя на свои руки, то крепко сжимавшиеся в кулаки, то совершенно самостоятельно крутившие ручки настройки. — Боже, что я с ним сделаю, когда он сюда спустится? Что я с ним сделаю?»

И вдруг, словно безумное наваждение, мелькнула мысль: «Чушь. Ты же режиссер. А он — это он. И это — тот самый Нюрнберг. Так что же?..»

Адольф спустился еще на ступеньку вниз. Его рука медленно поднялась и замерла в нацистском приветствии.

Толпа бесновалась.

После этого Адольф уже не останавливался. Несмотря на хромоту, он старался шагать величественно, но на самом деле с трудом ковылял, преодолевая сотни ступеней, пока не оказался на арене стадиона. Тут он поправил форменную фуражку, отряхнул мундир, вновь поприветствовал рукой ревушую пустоту и хромя зашагал вперед, преодолевая двести ярдов безлюдной арены, отделявшие его от сцены.

Шум толпы нарастал. Оркестр вторил ей оглушительным сердцебиением труб и барабанов.

Душка Адольф прошел в двадцати футах от нижней трибуны, где сидел режиссер, манипулировавший звуковой аппаратурой. Режиссер пригнулся. Но в этом уже не было нужды. Крики «Зиг хайль!» и бравурные фанфары неодолимо влекли фюрера к сцене, где его ожидала сама судьба. Теперь он шагал подтянуто, и хотя мундир на нем был помят, повязка со свастикой порвана, усики, словно траченные молью, торчали клочками, а волосы были взъерошены, это был тот самый, старый Вождь, это был он.

Продюсер вдруг выпрямился на месте и присмотрелся. Затем что-то зашептал и показал рукой.

Вдали, на вершине трибун, показались еще трое.

«Господи, — подумал режиссер, — а вот и вся команда. Те самые, что похитили Адольфа».

Кустистые брови, толстяк и хромая макака.

«Боже! — Режиссер заморгал от удивления. — Геббельс. Геринг. Гесс. Трое распоясавшихся актеришек. Трое недоделанных похитителей пришли поглазеть на...»

Адольфа Гитлера, взбирающегося на невысокий помост, к бутафорским микрофонам, прятавшим один настоящий, под реющим пламенем факелов, которые расцветали и рдели, капали смолой и чадили на холодном октябрьском ветру, а над ними во все четыре стороны поднимали свои бутоны громкоговорители.

Адольф высоко задрал подбородок. Это было то, что нужно. Толпа совсем обезумела. Вернее, рука режиссера, чувствуя потребность момента, как безумная вывела звук на полную мощность, так что все вокруг разлеталось в щепки, разрывалось и разметалось неустанно повторяющимися «Зиг хайль, зиг хайль, зиг хайль!»

Наверху, у ограды трибуны, три фигурки вскинули руки, приветствуя своего фюрера.

Адольф опустил подбородок. Шум толпы постепенно затих. Только слышно было, как потрескивают факелы.

Адольф начал речь.

Он вопил, завывал, выкрикивал, брызгал слюной, хрипел, заламывал руки, стучал кулаком по трибуне, потрясал им в воздухе, закрывал глаза и визжал, как испорченный мегафон, наверное, минут десять, двадцать или даже тридцать, пока солнце садилось за горизонт; трое на вершине трибуны смотрели и слушали, а продюсер с режиссером ждали и наблюдали. Он кричал что-то про весь мир, вопил что-то о Германии, визжал что-то о себе, проклинал одно, хулил другое, восхвалял третье, пока в конце концов не начал снова и снова повторять одни и те же слова, как

будто внутри него кончилась пластинка и игла застряла в бороздке у «яблока», шипя и икая, икая и шипя, и вот наступила тишина, в которой слышалось лишь его тяжелое дыхание, вдруг прервавшееся рыдающим всхлипом; он стоял, уронив голову на грудь, а остальные, не смея взглянуть на него, изучали свои ботинки, небо или смотрели, как ветер разносит по полю пыль и песок. Реяли флаги. Единственный уцелевший факел качался на ветру, то выпрямляясь, то вновь наклоняясь, и тихо потрескивал, будто разговаривал с самим собой.

Наконец Адольф поднял голову, чтобы закончить речь.

— А теперь я должен сказать о них.

Он кивнул в сторону верхних трибун, где на фоне неба вырисовывались три стоящие фигуры.

— Они психи. Я тоже псих. Но я, по крайней мере, знаю, что я псих. Я говорил им: сумасшедшие, вы сумасшедшие. Вы чокнутые. Но ныне мое собственное безумие, мое сумасшествие, в общем, оно истоцилось само собой. Я устал... И что теперь? Я возвращаю вам этот мир. Сегодня какое-то короткое время он был моим. Но теперь вы должны стать его хозяевами и править лучше, чем я. Я отдаю этот мир каждому из вас, но вы должны поклясться, что каждый возьмет себе лишь часть и будет над нею властвовать. Вот. Владейте.

Он вскинул здоровую руку к пустым трибунам, словно на его ладони лежал весь мир и он выпускал его на волю.

Толпа загомонила, зашевелилась, но криков не было.

Флаги тихо шептали на ветру. Языки пламени стелились по воздуху и дымили.

Адольф надавил пальцами на глазные веки, словно ослепленный внезапной головной болью. Не глядя ни на режиссера, ни на продюсера, он тихо спросил:

— Пора уходить?

Режиссер кивнул.

Адольф хромяя спустился со сцены и подошел туда, где сидели продюсер и режиссер, один старый, другой помоложе.

— Давай, если хочешь, побей меня еще разок.

Режиссер сидел и смотрел на него. Наконец он отрицательно покачал головой.

— Мы закончим этот фильм? — спросил Адольф.

Режиссер взглянул на продюсера. Тот пожал плечами и не нашел что ответить.

— Что ж, — сказал актер. — Во всяком случае, безумие кончилось,

лихорадка прошла. А я все-таки произнес свою нюрнбергскую речь. Господи, ты только посмотри на этих идиотов вверху. Идиоты! — крикнул он вдруг, обращаясь к трибунам. Потом опять повернулся к режиссеру. — Представляете? Они хотели получить за меня выкуп. Я сказал им, что они дураки. И сейчас я скажу им это еще раз. Мне пришлось от них удрать. Я просто не мог больше выносить их дурацкую болтовню. Я должен был прийти сюда и в последний раз на свой лад стать для самого себя шутком. Что ж...

Он заковылял по безлюдной арене и на ходу, обернувшись, негромко сказал:

— Я подожду в машине. Если хотите, я готов сняться в финальных сценах. Если нет, значит, нет, и точка.

Режиссер и продюсер подождали, пока Адольф забрался на вершину трибуны. До них доносились обрывки ругательств, которыми он поливал тех троих — кустистые брови, толстяка и уродливую макаку, — обзывая их последними словами и размахивая руками. Те трое попятились от него и вскоре скрылись из виду.

Адольф стоял один наверху, на холодном октябрьском ветру.

Режиссер напоследок еще раз усилил для него громкость. Толпа послушно грянула последнее «Зиг хайль».

Адольф поднял здоровую руку, но уже не в нацистском приветствии, а в каком-то знакомом, легком, полунебрежном англо-американском взмахе. И тоже скрылся из виду.

Вместе с ним скрылись и последние солнечные лучи. Небо уже не было больше кровавым. Ветер носил по арене стадиона пыль и страницы объявлений из какой-то немецкой газеты.

— Сукин сын, — пробормотал старик. — Давай-ка отсюда выбираться.

Они оставили горящие факелы и развевающиеся флаги и лишь выключили звуковую аппаратуру.

— Жаль, что я не принес пластинку с «Янки Дудль», мы бы под нее сейчас ушли, — сказал режиссер.

— Зачем пластинка? Сами насвистим. Почему нет?

— Верно!

Он взял старика под локоть, и они стали в темноте подниматься по лестнице, но лишь на половине пути у них достало духу попытаться свистеть.

И вдруг им стало так смешно, что они не смогли закончить мотив.

Чудеса Джейми

The Miracles of Jamie 1946 год

Переводчик: О.Акимова

Джейми Уинтерс сотворил свое первое чудо как-то поутру. Второе, третье и прочие чудеса последовали в тот же день. Однако первое чудо все равно было самым важным.

Желание всегда было одним и тем же: «Сделай так, чтобы мама поправилась. Пусть ее щеки снова порозовеют. Сделай так, чтобы она больше не болела».

Это из-за маминой болезни он тогда впервые подумал, что сам может творить чудеса. И это из-за нее он продолжал упражняться и совершенствоваться в чудесах, чтобы мама чувствовала себя хорошо и чтобы жизнь сама прыгала сквозь его обруч, как в цирке.

Это был не первый день, когда он творил чудеса. Он делал их и раньше, но всегда как-то неуверенно: то неправильно загадывал желание, то мама с папой вмешивались, то другие дети из его седьмого класса слишком шумели. В общем, они все портили.

Но за последний месяц он почувствовал, что волшебная сила захлестывает его прохладной волной уверенности; он купался в ней, нежился в ней, выходя потом из-под этого душа весь усыпанный каплями лучезарной воды и неся над своей темноволосой головой чудесный ореол.

Пять дней назад он взял с полки семейную Библию с настоящими цветными картинками, где Иисус изображен еще мальчиком, сравнил со своим отражением в зеркале в ванной комнате и... ахнул. Он был потрясен. Это было *то самое* лицо.

И разве теперь маме не становилось лучше с каждым днем? Ну, вот!

Итак, в понедельник утром, вслед за первым, домашним чудом Джейми сотворил еще одно уже в школе. Ему хотелось маршировать впереди всего класса на параде в честь арizonского Дня штата. И директор школы, разумеется, выбрал на эту роль именно его. Джейми был в восторге. Девочки почтительно смотрели на него и украдкой толкали своими нежными, тонкими локотками, особенно одна по имени Ингрид, чьи золотистые волосы, шурша, коснулись лица Джейми, когда все помчались из раздевалки на улицу.

Джейми Уинтерс так гордо держал голову, так аккуратно наклонялся к

хромированному фонтанчику, чтобы напиться, так четко поворачивал сверкающий кранчик, так точно — с такой божественной безупречностью и неукротимостью.

Джейми знал: рассказывать друзьям бесполезно. Засмеют. В конце концов, за то, что Иисус рассказал о себе, на Голгофе его прибили к кресту, пронзив гвоздями ладони и щиколотки. Теперь же разумней будет подождать. По крайней мере пока ему не исполнится шестнадцать и у него не вырастет борода, раз и навсегда явив потрясающее доказательство того, кто он есть на самом деле!

Шестнадцать лет — немного рановато для бороды, но Джейми чувствовал, что сможет, сделав над собой усилие, заставить ее отрасти, если придет время и если будет в том необходимость.

Дети высыпали из школы в солнечный весенний зной. Вдали виднелись горы, у подножия холмов расстилались зеленые кактусовые долины, а над головой простиралось огромное, ясное, синее небо Аризоны. Дети облачились в бумажные шляпы и красно-синие офицерские походные портупеи из гофрированной бумаги. На ветру распахнулись полотнища флагов; все с криками стали строиться по группам, радуясь, что на денек вырвались из классов.

Джейми стоял во главе колонны, полный спокойствия и уверенности. Кто-то что-то сказал за его спиной, и Джейми понял по голосу, что это говорит малыш Хаф.

— Надеюсь, мы выиграем приз, — озабоченно произнес Хаф.

Джейми обернулся к нему:

— Обязательно выиграем. Я точно знаю, что вы играем. Гарантирую!
Заметано!

Хаф был поражен такой непреклонной уверенностью.

— Ты так думаешь?

— Я знаю! Предоставь это мне!

— Что ты имеешь в виду, Джейми?

— Ничего. Просто смотри и увидишь, вот и все. Просто смотри!

— Итак, дети! — хлопнул в ладоши мистер Палмборг, школьный директор, и его очки сверкнули на солнце. Немедленно воцарилась тишина. — Итак, дети, — произнес он, кивнув, — вспомните, как надо маршировать и чему мы учили вас вчера. Вспомните, как надо поворачиваться, чтобы свернуть за угол, вспомните те движения, которые мы разучили. Вспомнили?

— Да! — хором ответили все.

На этом директор завершил свое краткое выступление, парад начался,

и Джейми зашагал впереди, ведя за собой сотни своих послушных апостолов.

Ноги сгибались и выпрямлялись в коленях, под их шагами текла улица. Золотистое солнце ласково грело лицо Джейми, а он, в свою очередь, приказывал ему светить на небе весь день, чтобы все прошло безупречно.

Когда парад вышел на Главную улицу и духовые школьного оркестра начали отбивать ритм сердец, а барабаны — отстукивать костяную дробь, Джейми загадал, чтобы они сыграли «Звездно-полосатый флаг».

Но они заиграли «Колумбия, жемчужина океана», и Джейми мгновенно подумал: ну конечно, я это и имел в виду — «Колумбия...», а не «Звездно-полосатый флаг», — и был удовлетворен, что его желание исполнилось.

Вдоль улицы выстроились толпы народа, как это бывало в февральские дни аризонского родео. Люди обливались потом в тесноте, выстроившись в пять рядов на целую милю; ритм шагов гулким эхом отражался от двухэтажных фасадов. Иногда в высоких окнах компании «Морбла» или магазина «Дж. Г. Пенни» на миг проскальзывали зеркальные отражения марширующих полков. Каждый шаг, словно удар кнутом, впечатывался в пыльный асфальт резко и четко, и оркестровая музыка заставляла быстрее пульсировать кровь в чудесных венах Джейми.

Он сосредоточился, яростно нахмутив брови. Сделай так, чтобы мы победили, подумал он. Сделай так, чтобы все шагали безупречно четко: подбородок вверх, плечи развернуты, колени вверх, вниз и снова высоко вверх, солнечные блики на загорелых девчоночьих коленках словно крохотные круглые личики — вверх, вниз. Четко, четко, четко. Безупречность мощной волной выплескивалась из Джейми, накрывая и окутывая своей защитной аурой весь его отряд. Шагал он, и с ним шагала Америка. Когда его ладони, резко качнувшись, ударялись о бока, то же делали и их руки, завершая круг. И когда его ноги ступали на асфальт, то же делали и их ноги, послушно подражая ему.

Когда они подошли к смотровой трибуне, Джейми дал сигнал: они замкнули колонны в кольца, соединили их в яркие гирлянды, а затем выстроились в прежние колонны — и все это не переставая шагать в том же направлении, без всякой неразберихи.

«Ух, вот это четкость!» — ликовал про себя Джейми.

Было жарко. Священный пот выступил на лбу Джейми, и мир вокруг устало обмяк. Утомленные барабаны замолкли, а дети разбрелись кто куда. Облизывая рожок с мороженым, Джейми с облегчением подумал, что все

кончилось.

Вдруг прибежал мистер Палмборг, весь распаренный и взмыленный.

— Дети, дети, я должен сделать важное объявление! — закричал он.

Джейми посмотрел на малыша Хафа, который стоял рядом, тоже держа в руке мороженое. Дети радостно завизжали, но мистер Палмборг, словно фокусник, хлопнул в ладоши, и весь шум улетучился, как воздушный шарик.

— Мы выиграли соревнование! Наша школа маршировала лучше всех остальных школ!

Посреди криков, шума, прыжков и поздравительных похлопываний по плечам Джейми лишь спокойно кивнул вверх рожка с мороженым, взглянул на малыша Хафа и сказал:

— Видишь? А я что говорил? Отныне уверуй в меня!

И продолжил лизать свое мороженое, ощущая внутри безбрежный золотой покой.

Джейми не стал сразу рассказывать друзьям, почему они выиграли строевой конкурс. Он давно заметил в них склонность относиться ко всему с недоверием и высмеивать любого, кто скажет, что их заслуги не так велики, как им казалось, и что их дарование имеет другой источник.

Нет, Джейми было достаточно самому наслаждаться своими малыми и большими победами; он получал удовольствие от своей маленькой тайны, от всего, что происходило вокруг. Например, отличная оценка по арифметике или выигранный баскетбольный матч были для него достаточной наградой. От его чудес всегда оставался побочный продукт, который удовлетворял его — пока еще небольшие — запросы.

Он стал обращать внимание на светловолосую девочку Ингрид со спокойными серо-голубыми глазами. Она же, в свою очередь, благосклонно принимала его ухаживания, и он был уверен в прочности и глубине своих способностей.

Помимо Ингрид были и другие приятные вещи. Удивительно легко у него завязалась дружба со многими мальчишками. Впрочем, был один случай, требовавший некоторого размышления и осторожности. Этого мальчика звали Каннингем. Он был большой, толстый и лысый, потому что после какой-то болезни ему пришлось обрить голову. Ребята звали его Бильярд; он же отплачивал им пинком по голени, затем валил наземь и, усевшись верхом, быстро обрабатывал их зубы своими кулаками.

Именно на этом Бильярде Каннингеме Джейми надеялся испытать всю мощь своей духовной власти. Шагая домой через пустырь по ухабистым

тропинкам, Джейми часто воображал, как он поднимает Бильярда за левую ногу и с размаху шарахает им, как хлыстом, оземь, чтобы тот потерял сознание. Папа однажды сделал такое с гремучей змеей. Конечно, Бильярд был слишком тяжел для подобного ловкого трюка. Кроме того, такой удар мог ему повредить, а Джейми совсем не хотелось убивать его или что-нибудь в этом роде, он просто хотел хорошенько взгреть его, преподать запоминающийся урок.

Но когда он нахально подходил к Бильярду, Джейми вдруг чувствовал, как холодеют ноги, и решал дать себе еще пару деньков на размышление. Не было нужды торопить события, поэтому он отпускал Бильярда. «Боже ты мой, а ведь Бильярд ни сном ни духом, как ему повезло», — ворчал тогда про себя Джейми.

Однажды во вторник Джейми провожал Ингрид домой, неся ее книги. Она жила в коттеджике недалеко от предгорий Санта-Каталины. Они шагали вместе в молчаливом блаженстве, слова им были не нужны. Джейми с Ингрид даже подержались немного за руки.

Обогнув заросли колючей опунции, они нос к носу столкнулись с Бильярдом Каннингемом.

Он стоял посреди тропинки, широко расставив свои большие ноги, уперев в бока свои пухлые кулаки и глядя оценивающим взглядом на Ингрид. Они остановились как вкопанные. Бильярд сказал:

— Я понесу твои книги, Ингрид. Давай.

Он протянул руку, чтобы забрать их у Джейми.

Джейми отступил на шаг назад.

— Нет, не понесешь, — сказал он.

— Нет, понесу, — возразил Бильярд.

— Фиг ты понесешь, — сказал Джейми.

— А вот и понесу, — воскликнул Бильярд и, вырвав у него книги, швырнул их в дорожную пыль.

Ингрид вскрикнула, а затем предложила:

— Послушайте, вы оба можете нести мои книги. Попролам. И все устроится.

Бильярд отрицательно покачал головой.

— Или все, или ничего, — злобно процедил он.

Джейми бросил на него такой же злобный взгляд.

— Тогда ничего! — крикнул он.

Он призвал к себе все свои силы, согнав их, словно грозовые тучи; в каждом кулаке трещали сердитые молнии. Ну и что с того, что Бильярд на четыре дюйма выше и на несколько дюймов шире в плечах? В Джейми

проснулась гневная ярость; он мог отправить Бильярда в нокаут одним точным ударом — ну, может, двумя.

Теперь не место колебаниям и страхам; огромная ярость сделала Джейми нечувствительным к подобным вещам. Он размахнулся и ударил Бильярда прямо в челюсть.

— Джейми! — вскрикнула Ингрид.

Единственным чудом после этого было то, что Джейми выбрался из драки живым.

Отец всыпал английскую соль в миску с горячей водой, энергично перемешал и сказал:

— О чем ты себе думаешь, черт тебя дери. Мать больная, а ты являешься домой с такими фингалами.

Загорелая рука отца энергично помешивала раствор. Его глаза прятались в лучистых морщинах, усы поредели и начали сесть, волосы тоже.

— Я думал, мама уже не так больна, как раньше, — сказал Джейми.

— Женщины не любят болтать об этом, — сухо сказал отец.

Он намочил полотенце в горячем растворе английской соли и отжал его. Придерживая разбитый нос Джейми, он осторожно промокнул его полотенцем. Джейми захныкал.

— Сиди смирно, — сказал отец. — Как, по-твоему, я залечу твою рану, если ты не будешь сидеть спокойно, черт подери?

— Что там случилось? — слышался из спальни голос мамы, в самом деле усталый и слабый.

— Ничего, — отозвался отец, снова выжимая полотенце. — Не волнуйся. Просто Джейми упал и разбил губу, вот и все.

— О Джейми, — произнесла мама.

— Все в порядке, ма, — сказал Джейми.

Теплое полотенце помогло уладить дело. Джейми старался не думать о драке. Это были невеселые мысли. Он помнил, как Бильярд молотил его руками, потом пригвоздил к земле, а потом, в упоении крича, месил кулаками, а Ингрид, плача настоящими слезами, с воплями кидала Бильярду в спину свои книги.

А потом Джейми, покачиваясь и горько рыдая, пошел домой один.

— О папа, — произнес Джейми. — Оно не сработало. — Он имел в виду чудо, которое должно было совершиться с Бильярдом. — Оно не сработало.

— Что не сработало? — спросил отец, смазывая синяки.

— Ничего. Ничего.

Джейми облизал распухшую губу и начал постепенно успокаиваться. В конце концов, нельзя же всегда и во всем побеждать. Даже Господь совершал ошибки. Значит — Джейми вдруг улыбнулся, — да, точно, он ведь и сам хотел проиграть в этой драке! Ну конечно. Разве Ингрид не будет любить его еще больше за то, что он дрался и проиграл ради нее?

Точно. Вот и ответ. Это было просто чудо наоборот, вот и все!

— Джейми! — позвала мать.

Он пошел к ней.

С помощью всяческих средств, включая английские соли и небывалое возрождение веры, которое он почувствовал в себе, потому что теперь Ингрид стала любить его еще больше, чем прежде, Джейми без особых огорчений дожид до конца недели.

Он провожал Ингрид до дома, но Бильярд отныне его не беспокоил. После школы Бильярд играл в бейсбол, привлекавший его больше, нежели Ингрид, — этот неожиданный интерес к спорту, по мнению Джейми, был косвенным образом внушен Бильярду не без его, Джейми, телепатического участия.

В четверг маме стало явно хуже. Она выглядела совсем бледной, ее била дрожь и изнуряющий кашель. Отец казался испуганным. Джейми стал меньше времени уделять чудесам, которые он творил в школе, и все больше и больше думал о том, чтобы исцелить маму.

В пятницу вечером, шагая в одиночестве от дома Ингрид, Джейми смотрел, как, мерно раскачиваясь, проплывают мимо телеграфные столбы. Он подумал: «Если я дойду до следующего телеграфного столба раньше, чем меня догонит вон та машина, мама поправится».

Джейми зашагал неторопливо, не оглядываясь назад, но напряженно прислушиваясь и чувствуя, что его ноги готовы вот-вот побежать, чтобы желание исполнилось.

Телеграфный столб был уже близко. Машина тоже приближалась.

Джейми осторожно оглянулся и присвистнул: машина ехала слишком быстро!

Джейми прыжком обогнал столб, и как раз вовремя: машина с ревом пронеслась мимо.

Получилось. Мама снова поправится.

Он прошел еще немного.

«Не думай о ней. Не думай о всяких там желаниях и прочих глупостях», — говорил он себе. Но это было так заманчиво, как горячий

пирог на подоконнике. Он не мог не потрогать его. Он не мог просто так пройти мимо, нет. Он посмотрел на дорогу впереди и позади себя.

— Спорим, что доберусь до ворот ранчо Шеболда раньше, чем меня догонит еще одна машина, причем буду шагать не спеша, — заявил он небесам. И тогда мама поправится совсем скоро.

В этот момент из-за пригорка позади него предательски-неумолимо выскочил автомобиль и с ревом помчался вперед.

Джейми пошел быстрее, затем побежал.

«Спорим, я доберусь до ворот Шеболда, спорим, я доберусь...»

Колени вверх-вниз, вверх-вниз.

И тут он споткнулся.

Он упал в канаву, его книги вспорхнули, как засушенные белые птицы. Когда он поднялся, облизывая пересохшие губы, то увидел, что не добежал до ворот каких-то двадцать ярдов.

Машина промчалась мимо, скрылась в огромном облаке пыли.

— Я беру свое желание назад, беру назад! — закричал Джейми. — Я беру свои слова назад, я не это имел в виду.

Застонав от ужаса, он со всех ног бросился к дому. Это все из-за него, все из-за него!

Перед домом стояла машина доктора.

Через окно Джейми увидел, что мама выглядит еще хуже. Доктор закрыл свой черный чемоданчик и долго смотрел на папу своими маленькими черными глазками, в которых теперь был какой-то странный блеск.

Джейми побежал прочь, к пустырю, чтобы побыть там одному. Он не плакал. Он был словно парализован, шагал как робот, ненавидя самого себя, то проваливаясь в сухое русло ручья, то натыкаясь на колючие ветви диких груш и беспрестанно спотыкаясь.

Несколько часов спустя, с первыми звездами, он вернулся домой и застал папу, стоящего у постели мамы, и мама молчала — просто лежала молча, тихая, как только что выпавший снег. Отец стоял, сжав зубы, щурясь, ссутулившись и опустив голову.

Джейми остановился у изножья кровати и во все глаза смотрел на маму, мысленно приказывая ей:

«Поправляйся, поправляйся, ма, поправляйся, все будет хорошо, я уверен, с тобой все будет в порядке, я приказываю, ты выздоровеешь, ты будешь чувствовать себя отлично, ты просто сейчас встанешь и пойдешь танцевать по комнате, ты нужна нам, папе и мне, нам будет плохо без тебя, поправляйся, ма, поправляйся, ма. Поправляйся!»

Неистовая энергия беззвучным потоком хлынула из него, обволакивая, обнимая маму, сражаясь с ее болезнью, заботливо лаская ее душу. Джейми чувствовал величие своей горячей силы.

Она поправится. Она не может не поправиться! Ну конечно, глупо было бы думать иначе. Мама просто не предназначена, чтобы умереть.

Вдруг отец пошевелился. Дернулся вперед с судорожным вздохом. Он схватил мамины запястья и сжал их так сильно, что, казалось, едва не сломал. Прильнув к ее груди, он прислушался к биению ее, сердца, и у Джейми вырвался безмолвный, отчаянный крик.

«Ма, не надо. Не надо, ма, о мама, пожалуйста, не сдавайся!»

Отец поднялся, шатаясь.

Мама была мертва.

В иерихонских трубах сознания Джейми в последнем приливе чудодейственной силы кричала одна лишь мысль: «Да, она мертва, ну и ладно, ну и пусть, ну и что с того, что мертва? Верни ее снова к жизни, да, оживи ее, Лазарь, иди вон! Лазарь, Лазарь, иди вон из могилы, Лазарь, иди вон!»

Должно быть, Джейми бормотал это вслух, потому что отец обернулся, пристально посмотрел на него глазами, в которых застыл древний, неизбывный ужас, и врезал ему прямо по зубам, чтобы он замолчал.

Джейми уткнулся носом в кровать, прикусив холодные простыни, и стены иерихонские обрушились на него.

Неделю спустя Джейми вернулся в школу. Он больше не расхаживал по школьному двору с прежней самоуверенностью, не склонялся высокомерно к фонтанчику и не получал за контрольные больше, чем семьдесят пять баллов из ста.

Дети удивлялись, что же с ним произошло. Он больше не был таким, как прежде.

Им было невдомек, что Джейми перестал играть свою роль. Он не мог сказать им об этом. Они так и не узнали, что потеряли.

Октябрьская игра

The October Game 1948 год

Переводчик: О.Акимова

Он положил револьвер обратно в ящик стола и запер его.

Нет, не так. Так Луиза не будет мучиться. Она умрет, все кончится, и никаких мучений. Для него же было чрезвычайно важно, чтобы ее смерть была прежде всего долгой. Долгой и изощренной. Как продлить ее мучения? И главное, как это осуществить? М-да.

Стоя перед зеркалом в спальне, мужчина аккуратно застегнул запонки на манжетах. Он достаточно долго стоял, слушая, как внизу, за стенами этого уютного двухэтажного дома, по улице носятся дети; эти дети — шуршат, словно мыши, словно опавшие листья.

По детскому шуму можно было определить, какой сегодня день. По их крикам можно было понять, что сегодня за вечер. Узнать, что год клонится к закату. Октябрь. Последний день октября с его масками-черепами, выдолбленными тыквами и запахом свечного воска.

Нет. Все зашло слишком далеко. Октябрь не принес улучшения. Если не стало еще хуже. Он поправил черный галстук-бабочку. «Если бы сейчас была весна, — медленно, спокойно, равнодушно кивнул он своему отражению в зеркале, — возможно, еще был бы шанс». Но сегодня весь мир рассыпается в прах. Нет больше зелени весны, ее свежести, ее надежд.

В гостиной послышался негромкий топот ног. «Это Мэрион, — сказал он себе. — Моя малышка. Восемь молчаливых годков. Без единого слова. Только сияющие серые глаза и любопытный маленький ротик». Дочь весь вечер бегала из дома на улицу и обратно, примеряя разные маски и советуясь с ним, какая из них самая ужасная и страшная. В конце концов они оба остановились на маске скелета. Она была «страшенная»! И перепугает всех «до смерти»!

Он снова поймал в зеркале свой долгий взгляд, полный раздумий и сомнений. Он никогда не любил октябрь. С тех самых пор, когда много лет назад впервые лег на осенние листья перед домом бабушки, и услышал шум ветра, и увидел голые деревья. И почему-то заплакал. Каждый год к нему возвращалась часть этой тоски. И всегда исчезала с весной.

Но сегодня все было иначе. Он чувствовал, что эта осень придет и будет длиться миллионы лет.

Весны не будет.

Весь вечер он тихо плакал. Но ни следа этих слез не было заметно на его лице. Они запрятались где-то глубоко внутри и лились, лились беспрестанно.

Суетливый дом был наполнен густым приторным запахом сладостей. Луиза выложила на тарелки яблоки в новой кожуре из сахарной глазури; в больших чашах был свежеприготовленный пунш, над каждой дверью висели на нитках яблоки, из каждого морозного окна глядели треугольными глазами выдолбленные и продырявленные тыквы. В центре гостиной уже стоял бочонок с водой, а рядом лежал мешок с яблоками, приготовленными для макания. Не хватало лишь катализатора, ватаги ребятишек, чтобы яблоки начали плюхаться в воду, раскачиваться, как маятники, в запруженных проемах дверей, леденцы — таять, а комнаты — наполняться криками ужаса и восторга, что, впрочем, одно и то же.

Но пока в доме шли молчаливые приготовления. И кое-что еще.

Сегодня Луиза все время ухитрялась находиться в любой другой комнате, кроме той, где был он. Это был ее изощренный способ выразить: «Посмотри, Майк, как я занята! Я так занята, что, когда тыходишь в комнату, где нахожусь я, мне каждый раз нужно кое-что сделать в другой! Только посмотри, как я верчусь!»

Какое-то время он подыгрывал ей в этой отвратительной ребяческой игре. Когда она была на кухне, он приходил туда со словами: «Мне нужен стакан воды». Мгновение спустя, когда он стоял и пил воду, она, как хрустальная фея, колдовала над карамельным варевом, булькавшим, словно доисторический котел, на плите, и вдруг говорила: «О, мне же надо зажечь свечи в тыквах!» — и бросалась в гостиную зажигать улыбки в тыквенных головах. Он входил туда вслед за ней, говоря: «Мне нужна моя трубка». «Ах, сидр!» — восклицала она, убегая в столовую. «Я сам проверю сидр!» — говорил он. Но когда он попытался последовать за ней, она умчалась в ванную и закрыла за собой дверь.

Он постоял за дверью, улыбаясь странной, бесчувственной улыбкой, держа во рту остывшую трубку, а затем, устав от этой игры, из упрямства прождал еще пять минут. Из ванной не доносилось ни звука. И чтобы не доставлять ей лишней радости от сознания того, что он караулит ее у двери, он в раздражении вдруг резко повернулся и пошел наверх, весело насвистывая.

Поднявшись по лестнице, он остановился. Наконец он услышал, как открылась щеколда на двери в ванной, Луиза вышла, и жизнь на первом этаже пошла своим чередом, как в джунглях, когда опасность миновала и

антилопы возвращаются к водопою.

И теперь, когда он поправил галстук и надел черный пиджак, в гостиной прошелестели мышинные шажки. В дверях появилась Мэрион, вся разрисованная под скелет.

— Как я смотрюсь, папа?

— Отлично!

Из-под маски выглядывали белокурые волосы. Из глазниц черепа улыбались голубые глаза. Он вздохнул. Мэрион и Луиза, две молчаливые обличительницы его несостоятельной мужской силы, его темной власти. Какой такой алхимией должна была обладать Луиза, чтобы взять его темные волосы и темно-карие глаза брюнета и отбеливать, отбеливать, мыть и отбеливать ребенка в своей утробе все время до его рождения, чтобы потом родилась Мэрион — блондинка с голубыми глазами и румяными щеками? Иногда он подозревал, что Луиза зачала ребенка как идею, совершенно бесполой, безупречный замысел, слияние ее высокомерного разума и клетки. В укор ему она произвела на свет ребенка, созданного по ее собственному образу и подобию, и в довершение всего каким-то образом подговорила доктора, и он сказал, покачав головой: «Мне очень жаль, мистер Уайлдер, но у вашей жены больше не будет детей. Этот ребенок последний».

— А я хотел мальчика, — сказал Майк тогда, восемь лет назад.

Теперь он едва не наклонился, чтобы обнять Мэрион, одетую в костюм скелета. Его охватил необъяснимый порыв жалости к ней, ибо она никогда не знала отцовской любви, а лишь сокрушительную, властную любовь ее обделенной любовью матери. Но больше всего он жалел себя, жалел, что не сумел извлечь выгоды из тяжелых родов, не радовался дочери такой, какая она есть, пусть даже она совсем не темноволоса, и не мальчик, и не похожа на него. Где-то он допустил ошибку. Все остальное бы не изменилось, но он мог бы любить своего ребенка. А главное, Луиза вообще не хотела детей. Сама мысль о родах приводила ее в ужас. Он насильно сделал ей ребенка, и с той ночи весь год, до самых родовых мук Луиза жила в другой части дома. Она ожидала, что умрет, рожая нежеланного ребенка. Ей было так легко ненавидеть мужа, который так хотел сына, что обрек на смерть свою единственную жену.

Но... Луиза выжила. И с каким триумфом! В тот день, когда он пришел в больницу, ее глаза были холодны. "Я жива, — говорили они. — И у меня белокурая дочь! Ты только посмотри!" А когда он протянул руку, чтобы коснуться ее, мать отвернулась, чтобы тайно от него пошептать со своей новорожденной, розовой доченькой, — подальше от этого мрачного

насильника. Какая великолепная ирония! Его самолюбие того заслуживало.

Но теперь снова был октябрь. Были и другие октябри, и когда он думал о долгой зиме, год за годом его душа наполнялась ужасом при мысли о бесконечных месяцах, когда он сидит как закупоренный в доме из-за дурацких снегопадов, пойманный в одну ловушку вместе с женщиной и ребенком, которые его не любят, — и так целыми месяцами. За эти восемь лет случались и передышки. Весной и летом он уходил на прогулки, уезжал на пикники; это были отчаянные попытки решить отчаянную проблему человека, которого все ненавидят.

Но зимой все эти поездки, прогулки и пикники отпадали вместе с опавшими листьями. Жизнь оголялась, как дерево: плоды сорваны, жизненные соки утекли в землю. Да, они приглашали гостей, но зимой гостей трудно заманить из-за всяких метелей и прочего. Однажды у него хватило ума накопить денег на поездку во Флориду. Они уехали на юг. А он гулял на свободе.

Но теперь, с приближением восьмой зимы, он знал: все подходит к концу. Он просто не сможет дотянуть до весны. Внутри него была кислота, которая медленно, годами разъедала его ткани и кости, и вот сегодня она наконец доберется до заложенной внутри него взрывчатки, и все кончится!

Снизу раздался бешеный звон колокольчика. Луиза в гостиную пошла открывать. Мэрион, ни слова не говоря, помчалась вниз встречать первых гостей. Послышались радостные крики и приветствия.

Он подошел к лестнице.

Внизу Луиза принимала пальто. Она стояла — высокая, стройная, белокурая до белизны — и смеялась даже громче новоприбывших детей.

Он остановился в нерешительности. Что же это? Годы? Усталость от жизни? Когда все пошло не так? Уж конечно, не с рождением их единственного ребенка. Но это было символом их противоречий, как он полагал. Его ревности, его неудач в делах и всего прискорбного прочего. Почему же он просто не собрал чемодан и не уехал? Нет. Пока не причинит Луизе столько же боли, сколько она причинила ему. Тут уж никаких сомнений. Развод никак ее не заденет, а просто положит конец их беспомощной нерешительности. Если бы он считал, что развод может доставить ей хоть какое-то удовольствие, он, черт побери, назло не порвал бы с ней до конца жизни. Нет, он должен причинить ей боль. Может, как-нибудь изловчиться и отобрать у нее Мэрион через суд? Да. Точно. Это ранит ее больнее всего. Отобрать у нее Мэрион.

— Привет всем! — Он с широкой улыбкой начал спускаться по лестнице.

Луиза даже не подняла глаз.

— Здравствуйте, мистер Уайлдер!

Дети кричали и махали руками, пока он спускался вниз.

К десяти вечера в дверь перестали звонить, яблоки, подвешенные в дверях, были сорваны зубами, яблочный мусс начисто стерт с розовых детских щек, салфетки были в пятнах от карамели и сидра, и тогда он, муж, умело и весело взял инициативу в свои руки. Он выхватил вечеринку прямо из рук Луизы. Он обегал, болтая с каждым, всех двенадцать пришедших детей и двенадцать родителей, которые пришли в восторг от особого крепленого сидра, которым он их потчевал. Он организовал для детей всякие игры вроде: «приставь ослику хвост», «бутылочка», или «третий лишний», наблюдая за ними под взрывы дикого хохота. Потом погасили свет, и в мерцании горящих треугольных тыквенных глаз он прокричал: «Тихо! Все за мной!» — и на цыпочках повел всех к погребу.

Родители, стоявшие в стороне от этого костюмированного буйства, обменивались мнениями, одобрительно кивали остроумному мужу и беседовали со счастливой женой. Как здорово он умеет ладить с детьми, говорили они.

Дети визжащей толпой устремились за ним.

— Этот погреб! — кричал он. — Могила ведьмы!

Новый визг. Он притворился, будто дрожит.

— Оставь надежду всяк сюда входящий!

Родители тихо хихикнули.

Дети один за другим скатывались по спуску, который Майк соорудил из крышек стола, в темный погреб. Он шипел и кричал им вслед зловещую абракадабру. Темный дом с горящими тыквами наполнился громкими завываниями. Заговорили все сразу. Все, кроме Мэрион. За весь вечер она произнесла минимум слов и звуков; все было запрято внутри нее, вся ее радость и возбуждение. «Вот чертенок», — подумал он. С закрытым ртом и сияющими глазами она смотрела на свою собственную вечеринку, как на струящиеся вокруг ленты серпантина.

Теперь родители. Нехотя и посмеиваясь, они с криками соскальзывали вниз по короткому спуску, а маленькая Мэрион стояла рядом, как всегда, желая посмотреть до конца, быть последней. Луиза спустилась без всякой помощи. Он хотел ей помочь, но она съехала прежде, чем он успел наклониться.

Дом был пуст и тих при свечах.

Мэрион стояла у спуска в погреб.

— А теперь мы, — сказал он и взял ее на руки.

Они расселись в погребе большим кругом. От далекой громады печи веяло теплом. Вдоль каждой стены стояли длинные ряды стульев, двадцать визжащих детей сидели через одного между двенадцатью перешептывающимися родителями, в дальнем конце сидела Луиза, а на этом конце, рядом с лестницей, — Майк. Он взгляделся в темноту, но ничего не увидел. Все сидели, прижавшись к своим стульям, пойманные в темную ловушку. С этого момента все действие должно было разыгрываться в кромешной тьме, и он выступал в качестве Рассказчика. Слышалась детская беготня, пахло влажным цементом, а где-то там, под звездным октябрьским небом, завывал ветер.

— А теперь! — крикнул Майк в темноту подвала. — Тихо!

Все замерли.

В комнате царил кромешный мрак. Ни огонька, ни отсвета, ни отблеска глаз.

Скрип битой черепицы, железный лязг.

— Ведьма мертва, — провозгласил Майк.

— И-и-и-и-и-и-и-и-и! — заверещали дети.

— Ведьма мертва, она была убита, а вот нож, которым ее убили.

Майк выдал нож. Тот стал переходить из рук в руки под смешки, возгласы и замечания со стороны взрослых.

— Ведьма мертва, вот ее голова, — прошипел Майк, передавая соседу какой-то предмет.

— А я знаю, как играть в эту игру, — радостно закричал из темноты кто-то из детей. — Он берет из холодильника всякие куриные внутренности, пускает их по кругу и говорит: «Вот ее внутренности!» Потом достает глиняную голову и выдает за ее голову, а кость из супа — за ее руку. Потом берет стеклянный шарик и говорит: «Вот ее глаз!» Потом берет какие-нибудь зернышки и говорит: «Вот ее зубы!» Потом берет кулек со сливовым пудингом, дает вам и говорит: «Вот ее желудок!» Я знаю, как в это играют!

— Замолчи, ты все испортишь, — сказала какая-то девочка.

— Ведьмы смерть близка, вот ее рука, — продолжал Майк.

— И-и-и-и-и-и-и-и-и!

Предметы передавались и передавались по кругу, как горячие картофелины. Некоторые из детей визжали и ни за что не хотели к ним прикасаться. Другие вскакивали со стульев, выбегали на середину и стояли там, пока остальные передавали дальше скользкие предметы.

— Да это всего лишь куриные потроха, — смеясь, крикнул какой-то мальчик. — Элен, иди сюда!

Перебрасываемые из рук в руки, сопровождаемые тихими вскриками, предметы все дальше и дальше продвигались по кругу один за другим.

— Сердце под резец, и ведьме конец, — сказал Майк.

Шесть или семь предметов разом передавались под нервные смешки в дрожащей темноте.

— Мэрион, не бойся, — слышался голос Луизы, — это всего лишь игра.

Мэрион не ответила.

— Мэрион? — спросила Луиза. — Тебе страшно?

Мэрион молчала.

— С ней все в порядке, — сказал муж. — Ей не страшно.

И снова, и снова передаются из рук в руки предметы, снова вскрики, снова веселый смех.

Вокруг дома вздыхал осенний ветер. А он, Майк, стоял у выхода из темного подвала на раздаче, и все говорил.

— Мэрион? — снова позвала Луиза из дальнего конца погреба.

Но все разговаривали между собой.

— Мэрион? — громче позвала Луиза.

Все умолкли.

— Мэрион, ответь мне, тебе страшно?

Мэрион не отвечала.

А муж стоял там, у подножья лестницы.

— Мэрион, ты здесь? — звала Луиза.

Молчание. Тишина.

— Где Мэрион? — спросила Луиза.

— Она была здесь, — ответил какой-то мальчик.

— Может, она наверху?

— Мэрион!

Молчание. Все тихо.

— Мэрион, Мэрион! — закричала Луиза.

— Включите свет, — сказал кто-то из взрослых.

Предметы больше никто не передавал. Дети и взрослые сидели, держа в руках ведьмины потроха.

— Нет, — ахнула Луиза. В темноте слышался резкий скрип отодвинутого ею стула. — Нет. Не включайте свет, о, ради бога, ради бога, только не включайте, пожалуйста, пожалуйста, не включайте свет, не включайте! — пронзительно вопила Луиза.

Все в подвале оцепенели от этого страшного крика.

Никто не шелохнулся.

Все сидели в темном погребе, внезапно оборвав ход этой октябрьской игры; снаружи завывал ветер, колотясь о стены дома; наполнявшие погреб ароматы тыкв и яблок смешивались с запахом невидимых предметов, которые были в руках, и тут один мальчик крикнул: «Я посмотрю наверху!» — и с надеждой побежал наверх, промчался по всему дому, четырежды обежал его кругом, снова и снова крича: «Мэрион, Мэрион, Мэрион!» — и в конце концов медленно спустился по лестнице в наполненный тяжелым дыханием и ожиданием подвал и сказал в темноту:

— Я не смог ее найти.

А потом... какой-то болван зажег свет.

Пумперникель

The Pumpernickel 1951 год

Переводчик: О.Акимова

Мистер и миссис Уэллс, возвращаясь поздно вечером из кино, зашли в маленький неприметный магазинчик, совмещавший в себе закусочную и гастроном. Они сели за отгороженный столик, и миссис Уэллс заказала: «Пумперникель с запеченной ветчиной». Мистер Уэллс бросил взгляд на прилавок: там лежала буханка ржаного хлеба, пумперникеля.

— Да, — пробормотал он, — пумперникель... Озеро Дрюса...

Вечер, поздний час, пустой ресторан... теперь он узнал это сочетание. Все, что угодно, могло внезапно настроить его на волну воспоминаний. Запах осенних листьев или полуночный порыв ветра мог взволновать его, и ливень воспоминаний обрушивался вокруг. И вот в этот странный час после кино, в этом безлюдном месте он увидел буханку пумперникеля и, как и в тысячи других ночей, оказался заброшенным в прошлое.

— Озеро Дрюса, — повторил он.

— Что? — подняла на него глаза жена.

— Я чуть не забыл об этом, — пояснил мистер Уэллс. — В тысяча девятьсот десятом, когда мне было двадцать, я прибил буханку пумперникеля над зеркальным трюмо...

На твердой хрустящей корке этого хлеба парни из Дрюса вырезали свои имена: Том, Ник, Билл, Алек, Пол, Джек. Это был лучший пикник на свете! Их лица покрылись загаром, пока они тряслись по пыльным дорогам. Это были времена, когда дороги были действительно пыльными; за вашей машиной клубилось облако мелкой коричневой пудры. И добраться до озера было тогда вдвойне приятней, нежели годы спустя, когда вы приезжаете к воде чистенькими, без единого пятнышка, не помятыми.

— Это был последний раз, когда наша банда собралась вместе, — сказал мистер Уэллс.

Потом все разъехались по колледжам, обзавелись работой, женились. Вдруг ты оказываешься в окружении совершенно других людей. Но никогда в жизни тебе не будет уже так хорошо, так легко, как тогда.

— Интересно, — продолжал мистер Уэллс. — Мне кажется, что мы все тогда почему-то понимали: этот пикник будет последним. Такое

чувство пустоты впервые посещает тебя в тот день, когда ты заканчиваешь школу. Потом проходит немного времени, никто не исчезает немедленно, и ты расслабляешься. Но спустя год понимаешь, что старый мир изменился. И тебе хочется напоследок что-нибудь сделать, прежде чем ты потеряешь что-то еще. Пока вы еще друзья, приехали на лето домой из своих колледжей, пока вы не переступили черту женитьбы, вам непременно нужно совершить что-то вроде последней прогулки и купания в прохладном озере.

Мистер Уэллс вспомнил то необычайное летнее утро, когда они с Томом лежали под отцовским «фордом», вытянув вверх руки и подкручивая то там, то здесь, болтая о машинах, о женщинах и о будущем. Пока они работали, стало жарко. Наконец Том сказал:

— А не поехать ли нам на озеро Дрюса?

Вот так просто.

И все же сорок лет спустя ты помнишь каждую мелочь — как вы забирали по дороге остальных друзей и как вы все кричали под зелеными деревьями.

— Эй! — со смехом кричал Алек, стучая каждого по голове буханкой пумперникаля. — Это нам на потом, дополнительный бутерброд.

Ник уже приготовил сэндвичи, которые теперь лежали в корзине, — чесночные бутерброды; позднее, с возрастом, обзаведясь девушками, они ели их все реже и реже.

Затем, втиснувшись по трое на переднее и заднее сиденья, обняв друг друга за плечи, они покатали по знойным, запыленным проселкам, везя с собой в жестяном корыте кусок льда для охлаждения купленного по дороге пива.

Что такого особенного было в том дне, что и сорок лет спустя он встает перед глазами так объемно, так ясно и живо? Быть может, каждый из них пережил такой же опыт, как и он. За несколько дней до пикника он нашел фотографию своего отца, когда тот был моложе на двадцать пять лет, где он стоит в кругу своих друзей из колледжа. Эта фотография взволновала его, она заставила с особой силой осознать, как летят годы, как быстро поток времени уносит тебя все дальше от юности. Фотография, сделанная им теперь, через двадцать пять лет выглядела бы так же странно для его детей, как для него эта фотография отца — неправдоподобно молодого незнакомца из какого-то незнакомоего времени, которое никогда уже не вернется.

Может, все так и было на том прощальном пикнике — каждый знал, что через каких-нибудь несколько лет они будут переходить на другую

сторону улицы, чтобы не встречаться друг с другом или, встретившись, говорить: «Надо бы нам как-нибудь пообедать вместе!» — и больше не видеться. Какова бы ни была причина, мистер Уэллс по-прежнему ясно слышал тот плеск воды, когда они ныряли с причала под золотыми лучами солнца. А потом пили пиво с сэндвичами, сидя в тенистой сени деревьев.

Мы так и не съели тогда этот пумперникель, — подумал мистер Уэллс. — Забавно, будь мы тогда чуть более голодны, мы бы его разрезали и я никогда бы не вспомнил о нем, глядя на эту буханку на прилавке.

Лежа под деревьями, исполненные золотого покоя, навеянного пивом, жарой и душевной мужской компанией, они поклялись, что через десять лет встретятся в день нового, 1920-го года возле здания суда, чтобы посмотреть, что с ними стало. Беспечно болтая и перебивая друг друга, они вырезали на хлебном каравае свои имена.

— На обратном пути, — сказал мистер Уэллс, — мы распевали «Залив под луной».

Он вспомнил, как они гнали машину через сухую, жаркую ночь и вода капала с их мокрых плавок на тряский пол. Они ехали, выбирая многочисленные окольные пути — просто так, без всякой причины, что само по себе есть лучшая на свете причина.

— Доброй ночи.

— Пока.

— Прощай.

Потом около полуночи Уэллс поехал один домой спать.

На следующий день он прибил пумперникель к своему трюмо.

— Я чуть не заплакал, когда два года спустя моя мать выбросила его в мусоросжигатель, пока я был в колледже.

— А что произошло в тысяча девятьсот двадцатом? — спросила жена. — В Новый год?

— Ах, да, — сказал мистер Уэллс. — Я случайно, в полдень, проходил мимо здания суда. Шел снег. Я услышал бой часов. Боже, подумал я, мы же должны были встретиться здесь сегодня! Я подождал пять минут. Нет, не прямо перед зданием суда, нет. Я стоял на другой стороне улицы. — Он помолчал. — Никто не появился.

Он встал из-за стола и оплатил счет.

— И еще я возьму вот эту неразрезанную буханку, — добавил он.

Когда они с женой шли домой, он сказал:

— Мне пришла в голову безумная идея. Мне всегда хотелось знать, что случилось с каждым из нас.

— Ник по-прежнему в городе, в своем кафе.

— А как насчет остальных? — Лицо мистера Уэллса порозовело, он улыбался и размахивал руками. Они разъехались. Том, кажется, в Цинциннати. Он кинул быстрый взгляд на свою жену. — Просто так, пошлю ему этот хлеб!

— Но...

— Точно! — Он рассмеялся и зашагал быстрее, похлопывая ладонью по буханке. — Пусть он вырежет на нем свое имя и отправит дальше остальным, если знает их адреса. И в конце концов обратно ко мне со всеми именами!

— Но, — возразила она, беря его под руку, — это лишь опечалит тебя. Такие штуки вы проделывали так много лет назад, а теперь...

Он не слушал. "Почему днем такие идеи не приходят мне в голову? — думал он. — Почему они всегда приходят после захода солнца?"

Утром перво-наперво, — думал он, — ей богу, отправлю этот хлеб Тому, а потом остальным. И когда он вернется, у меня будет точно такой пумперникель, как тот, что сгорел в печи! Почему бы нет?"

— Посмотрим, — сказал он, когда жена открыла входную дверь ипустила его в духоту дома, гостеприимно встречающего их тишиной и теплой пустотой. — Посмотрим. Мы еще пели тогда «Греби, греби, гребец лихой», верно?

Утром он спустился в гостиную, на мгновение остановившись в ярких лучах солнца, — свежесбранный, с почищенными зубами. Все комнаты были залиты солнцем. Он с интересом взглянул на утренний стол.

Жена занималась приготовлением завтрака. Медленно и спокойно она нарезала вчерашний пумперникель.

Он уселся за стол в лучах теплого солнца и протянул руку к газете.

Она взяла ломтик свеженарезанного хлеба и поцеловала мужа в щеку. Он похлопал ее по руке.

— Тебе один или два тоста, дорогой? — нежно спросила она.

— Два, пожалуйста, — ответил он.

Далеко за полночь

Long After Midnight 1962 год

Переводчик: О.Акимова

«Скорая» подъехала к береговым скалам в неподходящий час. Любой час будет неподходящим, куда бы ни приехала «скорая», но этот в особенности, поскольку было уже далеко за полночь и никто не мог себе представить, что когда-нибудь снова наступит день: об этом свидетельствовало и море, набегавшее внизу на терявшийся во мраке берег, и холодный соленый ветер, дующий с Тихого океана, подтверждающий то же самое, и окутавший небо туман, погасивший звезды, выносил окончательный, неощутимый, но разрушительный приговор. Стихия застолбила это место навсегда, человек едва ли мог здесь удержаться, он вскоре уйдет. В этих условиях людям, собравшимся над обрывом, со всеми их машинами, включенными фарами и мигалками, было трудно ощущать реальность момента, ибо они оказались пойманными между закатом, о котором почти забыли, и рассветом, которого никто толком не ждал.

Небольшой груз, свисавший с дерева и поворачивавшийся на холодном соленом ветру, ни в коей мере не умалял этого чувства.

Небольшим грузом была девушка лет девятнадцати, не старше, в легком, полупрозрачном зеленом выходном платье — пальто и туфли затерялись где-то в холодной ночи; она принесла сюда, на скалы, веревку, нашла дерево, ветка которого нависла над обрывом, привязала к ней веревку, сделала петлю для шеи и отдала себя на волю ветра, раскачивающего теперь ее тело. Веревка с сухим жалобным скрипом терлась о ветку, пока не приехали полиция и «скорая», которые спустили девушку с неба и положили на землю.

Около полуночи раздался одинокий звонок, сообщавший о том, что им предстоит обнаружить здесь, на этом каменистом обрыве, а потом человек быстро повесил трубку и больше не звонил; и вот прошло несколько часов, и все, что можно было сделать, сделано, полиция закончила осмотр и уехала, и теперь здесь остались лишь «скорая» и люди, приехавшие на ней, чтобы погрузить свою молчаливую ношу и отвезти ее в морг.

Один из троих, оставшихся возле покрытого простыней тела, был Карлсон, который занимался всем этим уже тридцать лет, второй — Морено, который занимался этим лет десять, а третий — Латтинг, который

был новичком в этой работе и приступил к ней лишь несколько недель назад. Один из троих, Латтинг, стоял сейчас над обрывом, глядя на опустевшую ветвь дерева, держа в руках веревку, не в силах оторвать взгляд. Карлсон подошел к нему сзади. Услышав его шаги, Латтинг сказал:

— Какое место, какое ужасное место для смерти.

— Любое место покажется ужасным, если ты решил там сгнить, — отозвался Карлсон. — Пойдем, парень.

Латтинг не шевельнулся. Он протянул руку и прикоснулся к дереву. Карлсон что-то проворчал и покачал головой.

— Пойдем. Постарайся все это запомнить.

— А разве можно это забыть? — Латтинг резко обернулся и посмотрел в безучастное серое лицо старшего товарища. — Ты имеешь что-нибудь против?

— Ничего против. Когда-то я тоже был таким. Но со временем понимаешь, что лучше не вспоминать. Лучше ешь. Крепче спишь. Со временем научишься забывать.

— Я не хочу забывать, — возразил Латтинг. Господи боже, здесь всего каких-то несколько часов назад умер человек. Она заслуживает...

— *Заслуживала*, парень, — в прошедшем времени, а не в настоящем. Она заслуживала лучшей доли, но ей не досталось. А теперь она заслуживает достойных похорон. Это все, что мы можем для нее сделать. Поздно уже, да и холодно. Не мог бы ты рассказать нам все это в машине?

— Здесь могла бы быть твоя дочь.

— Этим меня не проймешь, парень. Она не моя дочь, вот что главное. И не твоя, хотя ты так говоришь, что можно подумать, будто твоя. Это девятнадцатилетняя девушка — ни имени, ни кошелька, ничего. Мне жаль, что она умерла. Пожалуйста, если это поможет.

— Поможет, если ты скажешь это как надо.

— Извини, а теперь берись за носилки.

Латтинг поднял свой конец носилок, но не тронулся с места, а все смотрел на лицо, накрытое простыней.

— Как ужасно быть такой молодой и решиться вот так просто покончить с собой.

— Иногда, — сказал Карлсон на другом конце носилок, — мне тоже становится невмоготу.

— Конечно, но ты ведь... — Латтинг запнулся.

— Давай скажи это: я ведь старый, да? Если человеку пятьдесят, шестьдесят, все в порядке — кому какое дело, плевать; а вот если девятнадцать, все поднимают крик. Ладно, парень, можешь не приходить

на мои похороны, и цветов не надо.

— Я совсем не хотел сказать... — начал Латтинг.

— Никто не хочет, но все говорят; к счастью, у меня слоновья шкура, ее не пробьешь. Шагай.

Они подошли с носилками к «скорой», и Морено распахнул дверцы пошире.

— Боже, — сказал Латтинг, — какая она легкая. Совсем невесомая.

— Вот она, неприглядная сторона жизни, смотрите, салаги, смотрите, ребятишки. — Карлсон залез в глубь фургона, и они задвинули носилки внутрь. От меня разит виски. Вы, молодые, думаете, что можете пить, как футболисты, и сохранить прежний вес. Черт, если так, она не весит и девяноста фунтов.

Латтинг положил веревку на пол.

— Интересно, где она ее раздобыла?

— Это ж не яд, — сказал Морено, — Кто угодно может купить веревку без всяких поводов. Похоже, это талевая веревка. Возможно, она была на пляжной вечеринке, разозлилась на своего парня, взяла это у него из машины, а потом выбрала местечко и...

Они бросили последний взгляд на дерево над обрывом, на опустевшую ветку, послушали шорох ветра в листве, затем Карлсон вышел, обогнул машину и сел на переднее сиденье рядом с Морено, а Латтинг залез назад и захлопнул дверцы.

Машина поехала вниз по сумеречному склону к берегу, где океан, будто карту за картой, выкладывает на темный песок грохочущие белые волны. Некоторое время они ехали молча, наблюдая, как впереди, словно призраки, пляшут отсветы их фар. Наконец Латтинг сказал:

— Лично я ищу себе другую работу.

Морено засмеялся.

— Да, парень, недолго же ты продержался. Готов был об заклад побиться, что ты не выдержишь. Но знаешь, что я тебе скажу: ты вернешься. Другой такой работы нет. Все остальные работы скучные. Конечно, порой от нее тошнит. Со мной тоже бывает. Я думаю: все, завязываю. И едва не уйду. Но потом втягиваюсь. И вот я снова здесь.

— Значит, ты можешь здесь оставаться, — сказал Латтинг. — Но я сыт по горло. Мое любопытство удовлетворено. За последние несколько недель я многое повидал, но это последняя капля. Меня тошнит от собственной тошноты. Или еще хуже: меня тошнит от того, что вам на все плевать.

— Кому плевать?

— Вам обоим!

Морено презрительно фыркнул.

— Прикури-ка нам парочку, Карли.

Карлсон зажег две сигареты и передал одну Морено, который затаился, моргая от дыма, ведя машину под оглушительный грохот моря.

— Если мы не кричим, не орем и не машем кулаками...

— Я не собираюсь махать кулаками, — перебил его Латтинг, сидя сзади и склонившись над спеленатым телом. — Я просто хочу поговорить по-человечески, хочу, чтобы вы посмотрели на все это иначе, а не как в мясной лавке. Если когда-нибудь я стану таким, как вы оба, равнодушным, ни о чем не беспокоящимся, толстокожим и черствым...

— Мы не черствые, — спокойно и вдумчиво возразил Карлсон, — мы привыкли.

— Привыкли, черт побери, а скоро, может, совсем омертвеете?

— Парень, не рассказывай нам, какими мы будем, если ты даже не знаешь, какие мы *есть*. Хреновый тот доктор, который прыгает в могилу вместе с каждым своим пациентом. Все доктора прошли через это, и никто из них не отказывает себе в возможности жить и наслаждаться жизнью. Вылезай из могилы, парень, оттуда ничего не увидишь.

В кузове воцарилось долгое молчание, и наконец Латтинг заговорил, обращаясь в основном к самому себе:

— Интересно, как долго она стояла там одна над обрывом — час, два? Забавно, наверное, было смотреть на костры внизу, зная, что скоро все это перестанет для тебя существовать. Я думаю, она была на танцах или на пляжной вечеринке и поссорилась со своим парнем. Завтра ее бой-френд придет в участок на опознание. Не хотелось бы мне быть на его месте. Что он почувствует...

— Ничего он не почувствует. Он даже не появится, — спокойно сказал Карлсон, расплющивая окурок в пепельнице. — Вероятно, это он нашел ее и позвонил, а потом убежал. Ставлю два против одного, что он не стоит ноготка на ее мизинце. Какой-нибудь грязный, прыщавый олух с вонью изо рта. Господи, ну почему эти девчонки никак не могут подождать до утра?

— Точно, — протянул Морено. — Утром все предстает в лучшем свете.

— Попробуй скажи это влюбленной девушке, — сказал Латтинг.

— Парень — дело другое, — продолжал Карлсон, закуривая следующую сигарету, — он просто напьется, а потом скажет: пропади оно все пропадом, ну не убивать же себя из-за женщины.

Некоторое время они ехали молча мимо темных прибрежных домиков, в которых лишь изредка мелькал одинокий свет — такой был поздний час.

— Может быть, — произнес Латтинг, — она ждала ребенка.

— Так тоже бывает.

— А потом ее парень убегает с другой, а эта просто берет у него веревку и идет к обрыву, — сказал Латтинг. — А теперь ответьте мне, это что, настоящая любовь?

— Это, — сказал Карлсон, прищурившись вглядываясь в темноту, — одна из разновидностей любви. Не буду говорить, какая именно.

— Точно, — подтвердил Морено, ведя машину. Тут я полностью с тобой согласен, парень. Я хочу сказать, приятно знать, что кто-то в этом мире умеет так любить.

Они опять задумались на некоторое время, пока машина, урча, пробиралась между молчаливых береговых скал и уже притихшего моря, и у двоих из них, возможно, мелькнула мысль о собственных женах, о домиках с участком, о спящих детишках и о том, как много лет назад они приезжали на пляж, откупоривали пиво, обнимались среди скал, а потом лежали на одеялах с гитарами, пели песни, и им казалось, что жизнь впереди бескрайняя, как океан, простиравшийся далеко за горизонт, а может, тогда они и вовсе об этом не думали. Глядя на затылки своих старших товарищей, Латтинг надеялся или скорее смутно пытался понять, помнят ли они свои первые поцелуи, соленый вкус на губах. Носились ли они хоть раз по песку, как взбесившиеся буйволы, крича от беспричинной радости и бросая вызов всему свету: попробуй усмири нас?

И по их молчанию Латтинг понял: да, этот разговор, эта ночь, этот ветер, обрыв, дерево и веревка помогли ему достучаться до их сердец; то, что случилось, их проняло. И сейчас они, наверное, думают о своих женах, спящих за много-много темных миль отсюда в теплых постелях, вдруг ставших невероятно недостижимыми, пока перед их мужьями — просоленная морем дорога в глухой смутный час, а на кушетке у задней дверцы машины — странный предмет и старый обрывок веревки.

— Завтра вечером ее парень пойдет на танцы с кем-нибудь другим, — сказал Латтинг. — От этой мысли у меня разрывается сердце.

— Я бы не задумываясь дал ему хорошего пинка, — отозвался Карлсон.

Латтинг приоткрыл простыню.

— Эти девушки — некоторые из них — носят такие потрясающие короткие стрижки. Кудряшками, но короткие. И слишком много макияжа. Слишком... — Он запнулся.

— Что ты сказал? — спросил Морено.

Латтинг еще немного приподнял простыню. И ничего не сказал. В

следующие мгновения слышался шорох простыни, открываемой то там, то здесь. Лицо Латтинга побледнело.

— Ого, — пробормотал он наконец. — Ого.

Морено интуитивно замедлил ход.

— Что там, парень?

— Я только что кое-что обнаружил, — сказал Латтинг. — У меня все время было такое чувство: на ней слишком много косметики, и эти волосы, и еще...

— Что?

— Боже мой, вот это да, — произнес Латтинг, едва шевеля губами, одной рукой ощупывая свое лицо, чтобы понять, какое на нем сейчас выражение. — Хотите, скажу вам кое-что забавное?

— Давай, рассмеши нас, — сказал Карлсон.

«Скорая» еще больше замедлила ход, когда Латтинг сказал:

— Это не женщина. То есть не девушка. В общем, я хочу сказать, она не женского пола. Понимаете?

Машина уже ползла еле-еле.

В открытое окно ворвался ветер, прилетевший со стороны едва забрезжившей над морем зари, двое людей на переднем сиденье повернулись и уставились на тело, лежащее на кушетке в глубине фургона.

— А теперь скажите кто-нибудь, — произнес Латтинг так тихо, что они едва могли уловить слова, стало ли нам от этого лучше? Или хуже?

Никто не ответил.

А волны одна за другой накатывали и обрушивались на равнодушный берег.

Сладкий дар

Have I Got a Chocolate Bar For You! 1973 год

Переводчик: О.Акимова

Все началось с запаха шоколада.

Однажды в июне, дождливым туманным вечером отец Мэлли дремал в своей исповедалине в ожидании кающихся.

Куда они все запропастились, недоумевал он. Где-то там, скрываясь за теплыми струями дождя, по перепутьям дорог неслись потоки греха. Так почему же сюда не стремятся потоки кающихся?

Отец Мэлли поерзал на стуле и прищурился.

Нынешние грешники так быстро передвигаются на своих автомобилях, что эта старая церковь кажется им чем-то духовно-расплывчатым. А он сам? Сошедший с выцветших старинных акварелей священник, запертый в четырех стенах.

«Подождем еще пять минут, и хватит», — подумал он не то чтобы с тревогой, но с каким-то тихим стыдом и отчаянием, от которого опускаются руки.

Из-за решетки соседней исповедалины послышался какой-то шорох.

Отец Мэлли быстро выпрямился на стуле.

Через решетку просочился запах шоколада.

«О господи, подумал святой отец, — какой-нибудь парнишка со своей маленькой корзинкой грехов, вывалит и уйдет. Ну, давай...»

Старый священник наклонился к решетке, за которой по-прежнему витал сладкий дух и откуда должны были последовать слова.

Но слов не было. Никакого «Отпусти мне, отец, ибо я согрешил...»

Только странный мышинный шорох, словно кто-то... жует!

Грешник в соседней исповедалине — Господи, зашей его рот — сидел и просто жрал шоколад!

— Нет! — прошептал священник сам себе.

Его желудок, получив информацию, заурчал, напоминая, что с самого утра в нем не было ни крошки. За какой-то грешок гордыни, которому он поддался сам уж не помнит когда, отец Мэлли пригвоздил себя на весь день к праведной диете, и вот на тебе!

Жевание по соседству продолжалось.

В желудке отца Мэлли раздалось грозное урчание. Он приблизился

вплотную к решетке, закрыл глаза и крикнул:

— Перестань!

Мышиная грызня прекратилась.

Шоколадный запах улетучился.

И молодой голос произнес:

— Из-за этого я и пришел, святой отец.

Священник приоткрыл один глаз и взгляделся в тень за загородкой.

— Из-за чего именно ты пришел?

— Из-за шоколада, святой отец.

— Из-за чего?

— Не сердитесь, святой отец.

— Сердитесь, черт, да кто тут сердится?

— Вы, святой отец. Судя по вашему голосу, я проклят и сожжен еще до того, как начну говорить.

Священник откинулся в скрипящее кожаное кресло, провел ладонью по лицу и встряхнулся.

— Да-да. День жаркий. Я сегодня не в форме. Да я вообще не слишком.

— Позже к вечеру будет прохладнее, святой отец. Вам станет лучше.

Старый священник пристально взгляделся в завесу.

— Кто здесь исповедуется и кто исповедует?

— Ну конечно же вы, святой отец.

— Ну так продолжай!

Голос поспешно выпалил:

— Вы почувствовали запах шоколада, святой отец?

Желудок священника чуть слышно ответил за него.

Оба прислушались к печальному звуку.

— Так вот, святой отец, скажу прямо, я был и остаюсь... шоколадным наркоманом.

В глазах священника вспыхнули забытые искры. Любопытство уступило место юмору и через смех вернулось снова к любопытству.

— И из-за этого ты пришел сегодня на исповедь?

— Да, сэр, то есть, святой отец.

— Ты пришел не из-за того, что возжелал сестру свою, или замыслил прелюбодеяние, или ведешь великую внутреннюю войну с онанизмом?

— Нет, святой отец, — сокрушенно ответил голос.

Священник нашел верный тон и сказал:

— Так-так, ничего страшного. Давай наконец к делу. По правде говоря, ты для меня большое облегчение. Я сыт по горло фланирующими самцами

и одинокими самками и всей этой дребеденью, которую они вычитывают из книг, а потом покупают водяные кровати, с головой ныряют в них с придушенными криками, когда эти кровати вдруг дают течь, и на этом все заканчивается. Продолжай. Ты меня заинтриговал, я весь внимание. Рассказывай дальше.

— Так вот, святой отец, вот уже десять или двенадцать лет моей жизни я ежедневно съедаю фунт или два шоколада. Я просто не могу бросить, святой отец. Он стал альфой и омегой моего существования.

— Наверное, ты ужасно страдаешь от прыщей, опухолей, карбункулов и угрей?

— Страдал. И страдаю.

— И все это не прибавляет стройности фигуре.

— Если бы я склонился, святой отец, я опрокинул бы исповедальню.

Стены вокруг них закрипели и затрещали, когда невидимая фигура зашевелилась в доказательство своих слов.

— Сиди как сидишь! — вскричал священник.

Треск прекратился.

Теперь священник окончательно проснулся и чувствовал себя превосходно. Давно уже он не ощущал в себе такой жизненной силы, так счастливо бьющегося пытливого сердца и молодой крови, добравшейся до самых отдаленных уголков его тканей и тела.

Жара спала.

Он почувствовал необычайную свежесть. Какое то радостное возбуждение пульсировало в его запястьях и подступало к горлу. Он склонился, почти как влюбленный, к решетке, в нетерпении ища живительных слов.

— О мальчик, ты не такой, как все.

— И несчастен, святой отец. Мне двадцать два года, я ощущаю себя обманутым, я ненавижу себя за обжорство и чувствую потребность что-то с этим сделать.

— А ты пробовал жевать подольше, а глотать пореже?

— О, каждый вечер я ложусь спать со словами: Господи, избавь меня от всех этих хрустящих плиток, молочно-шоколадных поцелуйчиков и «Херши». И каждое утро я пулей вылетаю из постели, бегу в магазин и покупаю сразу восемь батончиков «Нестле»! К обеду у меня уже диабетический шок.

— Ну, думаю, это скорее относится к медицине, а не к исповеди.

— Мой доктор даже орет на меня, святой отец.

— А то как же.

— Но я не слушаю, святой отец.

— А не мешало бы.

— Мать мне не в помощь, она сама толстая, как свинья, и помешана на сладостях.

— Надеюсь, ты не из тех, кто в таком возрасте живет с родителями?

— А куда деваться, святой отец, слоняюсь без дела.

— Боже, надо принять закон, чтобы запретить мальчикам болтаться в округлой тени своих матушек. А как отец твой терпит вас двоих?

— Кое-как.

— А он сколько весит?

— Он называет себя Ирвинг Толстый. Так он шутит из-за своего размера и веса, но это не настоящее его имя.

— И когда вы идете по дороге, то занимаете собой весь тротуар?

— Даже велосипед не проедет, святой отец.

— А вот Христос в пустыне, — пробормотал священник, — сорок дней голодал.

— Ужасная диета, святой отец.

— Если бы у меня на примете была подходящая пустыня, я бы выпер тебя туда пинком под зад.

— Дайте мне пинок под зад, святой отец. От папы с мамой помощи никакой, доктор и мои худосочные приятели хохочут надо мной, обжорство меня разорит или я сойду с ума. Вот уж никогда не думал, что приду с этим к вам. Простите, святой отец, непросто мне было сюда добраться. Если бы мои друзья, моя мама, мой папа, мой чокнутый доктор узнали, что я сейчас тут, с вами... о черт!

Послышался испуганный топот ног, шум несущегося на всех парах грузного тела.

— Постой!

Но толстяк уже вывалился из соседней исповедальни.

Топоча как слон, молодой человек убежал.

Остался лишь запах шоколада, который говорил обо всем без всяких слов.

Снова сгустился дневной зной, от которого старому священнику стало душно и тоскливо.

Ему пришлось выбраться из исповедальни, потому что он знал: если останется, то начнет потихоньку ругаться и придется бежать в какой-нибудь другой приход, чтобы получить отпущение уже своих грехов.

«О боже, я страдаю грехом раздражительности, — подумал он. — Сколько раз за *это* надо прочесть «Богородицу»?

Ну-ка прикинь, а сколько их надо прочесть за сотню тонн (плюс-минус тонна) шоколада?

Вернись!» — прокричал он мысленно, стоя в пустом приделе церкви.

«Нет, не вернется никогда, — подумал он. — Я перестарался».

И с этим тяжелым чувством он отправился домой принять прохладную ванну и растереться полотенцем до бесчувствия.

День прошел, два, неделя.

Изнуряющая жара вновь загнала старого священника в состояние потного оцепенения и кислотовато-мелочной неопределенности. Он дремал в кабинете или перебирал бумаги в еще неотделанной библиотеке, смотрел в окно на нестриженный газон и напоминал самому себе, что на днях неплохо бы по развлечься там с газонокосилкой. Но в основном он ловил себя на колкой раздражительности. Прелюбодеяние было чеканной монетой в этих краях, а мастурбация — его прислужницей. По крайней мере так явствовало из шепота, проникавшего сквозь решетку исповедальни долгими вечерами.

На пятнадцатый день июля он поймал себя на том, что вглядывается в лица мальчишек, лениво проезжавших мимо на велосипедах, набив рты шоколадками «Херши», которые они жадно жевали и проглатывали.

В ту ночь он проснулся с мыслью о шоколадках «Пауэр-хаус», «Бэби Рут», «Лав-нест» и «Кранч».

Он терпел это, сколько мог, потом встал, попытался читать книгу, отшвырнул ее прочь, прошелся взад-вперед в ночном полумраке церкви и наконец украдкой, что-то быстро бормоча себе под нос, подошел к алтарю и попросил Господа об одной из весьма необычных милостей.

На следующий день, после полудня, молодой любитель шоколада наконец-таки появился.

— Спасибо, Господи, — прошептал святой отец, услышав, как заскрипела под огромной тяжестью, словно просевший под неимоверным грузом корабль, другая половина исповедальни.

— Что? — переспросил шепотом молодой голос с другой стороны загородки.

— Прости, это я не тебе, — сказал священник.

Он закрыл глаза и втянул носом воздух.

Будто где-то широко распахнулись ворота шоколадной фабрики и ее сладкий аромат разлетелся по всюду, преображая весь мир.

Но вдруг случилось нечто невообразимое.

С уст отца Мэлли вдруг сорвались резкие слова:

— Тебе не следовало сюда приходить!

— Что? Что, святой отец?

— Поищи другое место! Я не могу тебе помочь. Здесь нужен специалист. Уходи, уходи.

Старый священник был ошеломлен, услышав, как его собственные тайные мысли так запросто слетают с уст. Что это — жара или долгие дни и недели, проведенные в ожидании этого шоколадного маньяка? Что? Что? Но его рот продолжал извергать:

— Здесь тебе никакой помощи не будет! Нет-нет. Иди-ка ты...

— В дурдом, вы хотите сказать? — прервал его на удивление спокойный голос, обдумывающий этот неожиданный взрыв.

— Да-да. Спаси нас Бог, к этим... как их... психиатрам.

Последнее слово звучало совсем уж неправдоподобно. Редко ему доводилось произносить его.

— О господи, святой отец, да что они в этом понимают? — сказал молодой человек.

«И в самом деле, — подумал отец Мэлли, ибо ему давно уже набили оскмину все эти шутовские разговоры, беседы об одном и том же и возмущенные крики. — Вот досада, почему бы мне не вывернуть наизнанку воротник и не купить себе фальшивую бороду!» — думал он, но продолжил уже спокойнее:

— Что они понимают, сын мой? Да ведь они говорят, будто знают все на свете.

— Точно так же, как когда-то говорила Церковь, святой отец?

Священник помолчал, потом сказал:

— Говорить и знать не одно и то же, — ответил старый священник спокойно, насколько ему позволяло бешено колотящееся сердце.

— А Церковь знает, да, святой отец?

— Если не она, то я знаю!

— Не заводитесь опять, святой отец, — молодой человек помолчал и вздохнул. — Я пришел не затем, чтобы обсуждать с вами, сколько ангелов могут станцевать на острие булавки. Может, я все-таки начну исповедоваться, святой отец?

— Давно пора! — Священник скрестил на груди руки, откинулся поудобнее, сладко прикрыл глаза и добавил: — Ну?

И голос на другой стороне, с его детской манерой речи и ребячьим дыханием, в котором улавливались оттенки завернутых в серебряную фольгу шоколадных поцелуев, аромат медовых сот, под впечатлением от недавних сладостей и совсем свежих воспоминаний о пиршествах «Кэдбери»,

начал описывать свою жизнь: как он встает по утрам, живет и ложится спать со швейцарскими восторгами и искушениями от пенсильванской фабрики «Херши», или как можно слизать шоколадную оболочку с батончика «Кларк», а карамельно-вафельное нутро приберечь для особых случаев и праздников. Или как душа его просит, язык требует, желудок принимает, а кровь поет под танцующий драйв «Пауэр-хаус», манящие обещания «Лав-нест», свободный полет «Баттерфингера», но главное во всем — это сладкое африканское причмокивание темного шоколада между зубами, окрашивающее десны, наполняющее благоуханием небо, так что во сне вы бормочете, шепчете, причмокиваете на языках Конго, Замбези и Чада.

Проходили дни, недели, и чем больше голос говорил и чем больше старый священник слушал, тем легче становился груз по ту сторону решетки. Отец Мэлли, даже не глядя, знал, что плоть, заключавшая в себе этот голос, таяла и убывала. Походка уже не была такой тяжелой. А исповедаля уже не скрипела в таком диком испуге, когда тело протискивалось в соседнюю дверь.

И хотя молодой голос и сам молодой человек были на месте, запах шоколада действительно начал сходить на нет и почти исчез.

Это было самое чудесное лето в жизни старого священника.

Однажды, много лет назад, когда он был еще совсем молодым, с ним произошло нечто весьма схожее по своей странности и необычности.

Одна девушка — судя по голосу, не старше шестнадцати лет — приходила пошептаться каждый день с начала летних каникул до тех пор, пока не настала пора снова идти в школу.

И все это долгое лето ее шепот и милый голосок настолько приводили его в трепет, насколько это вообще возможно для священника. Он выслушивал ее в ее июльском влечении, в ее августовском безумии, в ее сентябрьском крушении иллюзий, и когда в октябре она ушла навсегда в слезах, ему хотелось крикнуть: «Не уходи! Останься! Выходи за меня замуж!»

А другой голос шепнул: «Но ведь я лишь слуга невестам Христовым».

И он, тогдашний молодой священник, не выбежал на перепутья мира.

И вот теперь, когда ему под шестьдесят, юная душа внутри него вздохнула, зашевелилась, вспомнила, сравнила старое, потертое воспоминание с этой новой, в чем-то смешной и тем не менее в чем-то печальной встречей с потерянной душой, чья любовь была не знойной страстью к девушкам в донельзя соблазнительных купальниках, а нежной привязанностью к шоколадкам, которые тайком разворачиваешь и

незаметно поедаеть.

— Святой отец, — сказал голос однажды под вечер. — Это было прекрасное лето.

— Странно, что ты это говоришь, — отозвался священник. — Я сам сейчас думал об этом.

— Святой отец, мне нужно признаться вам в одной действительно ужасной вещи.

— Думаю, вряд ли что-то может меня потрясти.

— Святой отец, я не из вашей епархии.

— Ничего страшного.

— И еще, святой отец, простите меня, но я...

— Продолжай.

— Я даже не католик.

— Что?! — вскричал старик.

— Я даже не католик, святой отец. Это что, так ужасно?

— Ужасно?

— Я хочу сказать, я действительно очень сожалею. Если хотите, святой отец, я покрещусь, чтобы уладить это дело.

— Ты хочешь покреститься, болван? — орал старик. — Теперь уж поздно! Ты хоть знаешь, что ты наделал? Ты хоть знаешь, в какие бездны греха ты себя вверг? Ты отнимал у меня время, заставлял меня выслушивать тебя, доводил до белого каления, просил совета, хотя тебе нужен был психиатр, спорил с религией, критиковал Папу, если я правильно помню — а я помню! — отнял у меня три месяца, восемьдесят или девяносто дней, а теперь ты хочешь покреститься и «уладить это дело»?

— Если вы не против, святой отец.

— Против! Против! — завопил священник и впал в десятисекундную апоплексию.

Он уже готов был рывком распахнуть дверь, выбежать из исповедальни и выволочь греховодника на свет божий. Но тут...

— Все это было не напрасно, святой отец, — произнес голос из-за решетки.

Священник притих.

— Потому что, святой отец, да хранит вас Господь, вы помогли мне.

Священник окончательно застыл на месте.

— Да, святой отец, в самом деле, благослови вас Господи, вы так мне помогли, и я вам так признателен, — шептал голос. — Вы не спрашивали, но ведь вы догадались? Я сбросил вес. Вы не поверите, сколько я сбросил.

Восемьдесят, восемьдесят пять, девяносто фунтов. Благодаря вам, святой отец. Я завязал. Завязал с обжорством. Сделайте глубокий вдох. Вдохните.

Священник нехотя втянул в себя воздух.

— Что чувствуете?

— Ничего.

— Ничего, святой отец, ничего! Его нет. Этого запаха шоколада и самого шоколада тоже. Нет. Нет. Я свободен.

Старый священник сидел, не зная, что сказать, и в его глазах как-то по-особенному защипало.

— Вы совершили труд Христа, святой отец, да вы и сами, конечно, это знаете. Он ходил по миру и помогал людям. Вы тоже ходите по миру и помогаете людям. Когда я падал, вы протянули мне руку, святой отец, и спасли.

И тогда произошло самое невероятное.

Отец Мэлли почувствовал, как у него брызнули слезы. Они переполнили глаза. Они покатались по его щекам. Они собрались над его сжатыми губами, и он разжал их, и слезы стали капать с подбородка. Он не мог их остановить. Они лились и лились, о боже, словно весенний дождь после семи лет засухи, а он, преисполненный благодарности, танцевал один под этим дождем.

Он услышал какие-то звуки из соседней исповедальни и хотя не был в том уверен, но отчего-то по чувствовал, что тот, другой, тоже плачет.

Так они и сидели, пока грешный мир бешено мчался по перепутьям дорог, здесь, в этом пахнущем ладаном полумраке — два человека по разные стороны хрупкой ажурной перегородки, под вечер, на закате лета, и плакали.

Наконец они совсем успокоились, и голос с волнением спросил:

— Вы в порядке, святой отец?

Помолчав, священник ответил, закрыв глаза:

— Спасибо, все хорошо.

— Я могу что-нибудь сделать, святой отец?

— Ты уже все сделал, сын мой.

— По поводу... моего крещения, я имел в виду.

— Это не важно.

— Нет, важно. Я покрещусь. Хоть я и еврей.

Отец Мэлли полухохотнул, полухмыкнул:

— Что-что?

— Еврей, святой отец, но я ирландский еврей, если так лучше.

— О да! — расхохотался старый священник. — Так лучше, лучше!

— Что такого смешного, святой отец?

— Не знаю, но ужасно смешно, смешно!

И тут его охватил приступ такого хохота, что он даже заплакал, и эти потоки слез веселили его еще больше, пока все это не смешалось в едином буйстве. Вся церковь огласилась эхом очищающего смеха. Единственное, что он знал в тот момент, это то, что завтра он расскажет обо всем своему исповеднику, епископу Келли, и ему все простится. Церковь омывается и очищается не только слезами скорби, но и свежим ветром прощения себя и других, который Господь даровал лишь человеку и назвал смехом.

Еще долго не утихали их взаимные возгласы, ибо молодой человек перестал плакать и тоже включился в веселье, и церковь заходила ходуном от хохота этих двух людей, которые еще минуту назад печалились, а теперь смеялись от души. Никто больше не хлюпал носом. Радость билась о стены, как дикая птичка, что стремится вырваться на волю.

Наконец смех иссяк. Оба сидели, вытирая лица, невидимые друг для друга.

Затем, словно мир почувствовал, что пора сменить настроение и декорации, издали в двери церкви залетел ветер. Подхваченные им листья деревьев усыпали церковные приделы. Сумерки наполнились запахом осени. Лето и впрямь закончилось.

Отец Мэлли посмотрел сквозь решетку на дверь, увидел, как беснуется ветер, как срывает листья, унося их прочь, и вдруг, словно весной, ему захотелось улететь вместе с ними. Его душа требовала какого-то выхода, но этого выхода не было.

— Я ухожу, святой отец.

Старый священник выпрямился на стуле.

— Ты хочешь сказать, до следующего раза?

— Нет, я совсем ухожу, святой отец. Сегодня я пришел к вам в последний раз.

«Ты не можешь так поступить!» — мысленно вскричал священник и едва не произнес вслух.

Но вместо этого как можно спокойней спросил:

— Куда ты отправляешься, сын мой?

— О, по всему свету, святой отец. Всюду. Раньше я всегда боялся. Никогда нигде не бывал. Но теперь, когда я сбросил вес, я гляжу вперед. Надо побывать во многих местах, найти новую работу.

— И как долго тебя не будет, мальчик мой?

— Год, пять, может, десять лет. А вы еще будете здесь через десять лет, святой отец?

— Если Бог даст.

— Ладно, если буду проездом в Риме, куплю какую-нибудь маленькую вещицу и попрошу Папу освятить ее, а когда вернусь, приду сюда и подарю ее вам.

— Ты правда так сделаешь?

— Сделаю. Вы прощаете меня, святой отец?

— За что?

— За все.

— Мы уже простили друг друга, дорогой мальчик, а это лучшее, что люди могут сделать друг для друга.

Из-за перегородки послышалось шарканье ног.

— Ну, я пошел, святой отец. А правда, что «гуд-бай» означает «да пребудет с тобой Бог»?

— Именно это оно и означает.

— Ну, тогда гуд-бай, святой отец.

— И тебе тоже — гуд-бай во всех его первоначальных смыслах, мой мальчик.

И вот соседняя исповедальня вмиг опустела.

Молодой человек ушел.

Много лет спустя, когда отец Мэлли уже был очень стар и его постоянно клонило ко сну, его жизнь наполнилась еще одним, последним, событием. Однажды к вечеру, когда он дремал в исповедальне, слушая, как за стенами церкви шумит дождь, он почувствовал странный и в то же время знакомый запах и открыл глаза.

Из-за решетчатой перегородки нежно просачивался едва уловимый аромат шоколада.

Исповедальня скрипнула. Кто-то по ту сторону старался подобрать слова.

Старый священник подался вперед, сердце его учащенно забилося от удивления и замешательства.

— Да? — произнес он, приглашая к разговору.

— Спасибо, — наконец прошептал кто-то.

— Прошу прощения?..

— Когда-то давно, — продолжал шепот, — вы мне помогли. Меня долго не было. Я в городе всего на один день. Увидел церковь. Спасибо. Это все. Мой подарок в кружке для пожертвований. Спасибо.

Послышался топот убегающих ног.

Священник впервые в своей жизни выскочил из исповедальни.

— Пстой!

Но невидимка уже исчез. Высокий он был или маленький, толстый или худой — кто знает. Церковь была пуста.

В полумраке он подошел к кружке для пожертвований и помедлил, а потом запустил в нее руку. Там была большая плитка шоколада за восемьдесят девять центов.

Однажды, святой отец, услышал он давно забытый голос, я принесу вам подарок, освященный Папой.

Значит, это он, подарок? Старый священник вертел плитку в дрожащих руках. А почему бы нет? Что может быть лучше этого подарка?

Он увидел, как это было. В летний полдень у Кастель-Гандольфо пять тысяч туристов теснятся внизу, в пыли, потной толпой, а высоко над ними с балкона Папа изредка машет рукой, раздавая благословения, и вдруг среди этой суматохи, из этого моря рук и ладоней высоко поднимается одна смелая рука...

И в этой руке сверкает завернутая в серебряную фольгу плитка шоколада.

Старый священник покачал головой, совсем не удивляясь.

Он запер шоколад в особый ящик своего письменного стола и иногда, спустя годы, когда душный зной окутывал окна и отчаяние просачивалось в дверные щели, стоя позади алтаря, он доставал шоколадку и откусывал крохотный кусочек.

Конечно, то была не гостия, не тело Христово. Но то была жизнь. И она принадлежала ему. И в эти минуты, которые выпадали не часто, но и не так уж редко, когда он откусывал кусочек, тот был (спасибо тебе, Господи) ... так сладок.

notes

Примечания

Уильям Ф. Нолан (р. 1928) — американский редактор и писатель-фантаст, заслуженный активист фэндома; близкий друг Брэдбери, в 1975 г. выпустил подробную аннотированную библиографию его творчества.

Том Микс и Тони — Том Микс (1880-1940) — знаменитый актер вестернов, снявшийся в 1910-1929 гг. в трехстах коротко— и полнометражных фильмах; Тони — его умный конь.

...до парижского Левого берега... — Левый берег Сены —
артистическая, богемная часть Парижа.

Кеннет Тайнен (1925-1980) — влиятельнейший английский театральный критик, принадлежал к поколению «рассерженных молодых людей» (и ввел в оборот сам этот термин), активно пропагандировал драматургию абсурда и «эпический театр» Б. Брехта, явился связующим звеном между классическим театром и новым.

Теннесси Уильямс (Томас Ланье, 1911 — 1983) — знаменитый американский драматург, автор пьес «Стеклянный зверинец» (1945), «Трамвай «Желание» (1947), «Татуированная роза» (1951), «Кошка на раскаленной крыше» (1955), «Сладкоголосая птица юности» (1956), «Ночь игуаны» (1959) и др., романа «Римская весна миссис Стоун» (1950), нескольких сборников рассказов и стихов.

...то, что он [Хемингуэй] сказал Фицджеральду о богатых... — Однажды Скотт Фицджеральд сказал Хемингуэю: «Богатые не похожи на нас с вами», на что Хемингуэй ответил: «Правильно, у них денег больше». Впоследствии Хемингуэй воспроизвел этот диалог в повести «Снега Килиманджаро».

...как он дал пощечину Макс Истмену... в кабинете Чарли Скрибнера... — В начале 1930-х гг. писатель и троцкист Макс Истмен (1883-1969) резко критиковал Хемингуэя в печати — за «карикатурно-маскулинный имидж, скрывающий слабость и глубокую внутреннюю неуверенность». Случайно встретив Истмена у их общего издателя Чарльза Скрибнера, Хемингуэй дал волю рукам.

...этот попугай знал о Хэме, Томасе Вулфе и Шервуде Андерсоне больше, чем Гертруда Стайн. — Томас Вулф (1900-1938) — американский писатель, автор лирико-эпических романов «Взгляни на дом свой, ангел» (1929), «О времени и о реке» (1935), «Домой возврата нет» (1939). Шервуд Андерсон (1876-1941) — американский писатель, прославился сборником «Уайнсбург, Огайо» (1919). Гертруда Стайн (1874-1946) — знаменитая американская писательница-модернистка; большую часть жизни провела в Париже, где в 1920-е гг. покровительствовала молодому Хемингуэю. В качестве иллюстрации «разжижения» экспериментального приема, низведения его с элитарного на самый что ни на есть массовый уровень видный критик Лесли Фидлер выстраивал в своей работе «Любовь и смерть в американском романе» (1960) следующий ряд: Гертруда Стайн — Шервуд Андерсон — Эрнест Хемингуэй — Дэшил Хэммет — Микки Спиллейн.

Голуби с травы, увя. — Из написанного Гертрудой Стайн в 1929 г. либретто «Четверо святых в трех актах»; опера Вирджила Томсона была поставлена в 1934 г.

10

Очень эксцентричный (исп.).

Матерь Божья! (исп.)

12

Да, да! (исп.)

Девочка (исп.).

Кукла (исп.).

15

Что? (исп.)

Спасибо (исп.).

...в... *дэшил-хэмметовской манере*... — Дэшил Хэммет (1894-1961) — американский писатель, основоположник, наряду с Раймондом Чандлером, жанра «крутого» детектива, автор романов «Красная жатва» (1929), «Мальтийский сокол» (1930), «Стеклянный ключ» (1931) и др.

Ди Маджо, Джо(1914-1999) — знаменитый американский бейсболист, в 1954 г. был женат на Мэрилин Монро.

Бейб Рут(Джордж Герман Рут, 1895-1948) — знаменитый американский бейсболист. Прозвище Бейб («малыш») ироническое: Рут весил 98 кг при росте 188 см.

Норман Мейлер (р. 1923) — видный американский писатель, экспериментировавший с разными стилями, от жесткого натурализма с социальным подтекстом («Нагие и мертвые», 1948) до масштабной историко-мифологической фабуляции («Древние вечера», 1983); стоял у истоков литературного направления «новая журналистика».

Крипторхизм — аномалия развития плода, при которой к моменту рождения одно или оба яичка не опускаются из забрюшинного пространства в мошонку.

Фолкнер, Уильям (1897-1962) — знаменитый американский писатель, наиболее яркий представитель направления «южная готика», лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 г. Самые известные романы — «Сарторис» (1929), «Шум и ярость» (1929), «Когда я умирала» (1930), «Свет в августе» (1932), «Авессалом, Авессалом!» (1936).

Стейнбек, Джон (1902-1968) — американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1962 г. Самые известные романы — «Богу неведомому» (1933), «О мышах и людях» (1937), «Гроздь гнева» (1939), «К востоку от рая» (1952), «Зима тревоги нашей» (1961).

Эзра Паунд (1885-1972) — знаменитый поэт, основоположник и главный теоретик американского модернизма. В 1924-1945 гг. жил в Италии, сотрудничал с режимом Муссолини; как военный преступник доставлен в США и признан невменяемым, с 1958 г. — снова в Италии. Его главное сочинение — цикл «Песни» (*Cantos*, 1917-1968) — насыщено стилизациями под поэтов античности и европейского средневековья, древних Китая и Японии, а также цитатами из политических, художественных и философских деклараций, отражая бунт против «ростовщической» цивилизации и тягу к возрождению доренессансной духовной культуры.

...финальную сцену в «Призраке оперы», когда Лон Чейни... — «Призрак оперы» (1925) — фильм Руперта Джулиана, экранизация одноименного романа Гастона Перу (1910); главную роль исполнял Лон Чейни (1883-1930) — знаменитый характерный актер немого кинематографа США, прозванный «человеком с тысячью лиц».

Nevermore («Никогда впредь») — рефрен знаменитого стихотворения Эдгара По (1809-1849) «Ворон» (1845). В разных русских переводах (которых существует около тридцати) переводился по-разному, а, скажем, у З. Жаботинского и М. Зенкевича оставлен по-английски.

Джордж Бернард Шоу (1856-1950) — видный английский драматург, создатель драмы-дискуссии; в основе его художественного метода — парадокс как оружие против догматизма и предвзятости. Самые известные пьесы — «Профессия миссис Уоррен» (1893), «Цезарь и Клеопатра» (1907), «Пигмалион» (1913), «Дом, где разбиваются сердца» (1920), «Назад, к Мафусаилу» (1922), «Яблочная тележка» (1929).

Не в бровь, а в глаз! (фр.) Досл.: попадание (в фехтовании).

...мелвилловские *Белый кит*, *Призрачный фонтан*... — «Моби Дик, или Белый кит» (1851) — философский роман американского писателя Германа Мелвилла (1819-1891); «Призрачный фонтан» — название 51-й главы романа.

...мой язык выстроит для тебя Платонове государство, в котором ты можешь укрыться и жить. — В диалоге «Государство» Платон (428/427-348/347 до н. э.) излагает свою схему идеального общественного устройства: три сословия — правители-мудрецы, воины и чиновники, крестьяне и ремесленники. В философии Платона идеи — это вечные и неизменные умопостигаемые прообразы вещей, а вещи — лишь искаженное отражение идей.

Четвертое июля — День независимости, национальный праздник США.

Здесь и далее цитаты из Библии («Песнь песней»).

Динь-Дон — имитирующее звон колокольчика имя феи из повести-сказки Дж. М. Барри «Питер Пэн» (1904).

Эдит Уортон (1862-1937) — американская писательница, автор романа «Век невинности» (1920), проникнутого сожалением об утрате традиционных нравственных и эстетических ценностей. По художественной манере близка к отцу литературного модернизма Генри Джеймсу (1843-1916), с которым была хорошо знакома.

Да, сенъора, вполне ясно, да! (исп.)

Хорошо (исп.).

Площадь (исп., лат.—ам.).

Тамаль — мексиканское блюдо из толченой кукурузы с мясом и красным перцем.

Энчилада — мексиканский блинчик с острой мясной начинкой.

«Сизый голубь» (исп.).

41

Двадцать песо, сеньор (исп.).

«Ласточка» (исп.).

«Старики» (исп.).

«Зеленый Мичоакан» (исп.).

«Лунная луна» (исп.).

«*Большие надежды*» (1860-1861) — роман Ч. Диккенса.

Думаю, мы закончим снимать... где-то на смерти Гинденбурга или когда дирижабль «Гинденбург», объятый пламенем, падает в Лейкхерсте, штат Нью-Джерси... — Пауль фон Гинденбург (1847-1934) — генерал-фельдмаршал, в Первую мировую войну командующий немецкими войсками Восточного фронта, с 1925 г. президент Германии; 30 января 1933 г. передал власть национал-социалистам, поручив Гитлеру формирование правительства. В его честь был назван дирижабль «Гинденбург» — крупнейший в мире цеппелин (длина 245 м), в апреле 1936 г. начавший первые пассажирские авиаперевозки через северную Атлантику; 6 мая 1937 г., совершая одиннадцатый рейс из Германии, потерпел катастрофу при посадке в городе Лейкхерст (штат Нью-Джерси), что положило конец коммерческой эксплуатации дирижаблей. Фотография этой катастрофы воспроизведена на обложке альбома «Led Zeppelin I» (1969).

Лени Рифеншталь(1902-2003) — немецкий режиссер, автор двух самых знаменитых пропагандистских картин в истории документального кино — «Триумф воли» (1935) и «Олимпия» (1938).

А. Гузман